АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VI

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, *Н. А. Баскаков*, *Е. А. Бокарев*, *В. В. Виноградов* (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов*, *В. В. Иванов*, (и. о. зам. главного редактора), *Н. И. Конрад*, *В. Г. Орлова*, *Г. Д. Санжеев*, *Б. А. Серебренников*, *Н. И. Толстой*, *А. С. Чикобава*, *Н. Ю. Шведова*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

В. Г. ОРЛОВА

ТИПЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АФФРИКАТ КАК РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

1

Важнейшие различия между говорами русского языка были в основном установлены уже к началу XX в. в результате широкого изучения диалектных данных при подготовке «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе»[1]. Следующий период, на протяжении которого были собраны наиболее значительные диалектологические материалы, связан с развертыванием работы по изучению говоров методами лингвистической географии, именно — с подготовкой диалектологических атласов русского языка. Помимо материалов, представленных в диалектологических монографиях этого периода, за последнее время собраны по единой «Программе» данные о говорах более чем по 3500 населенным пунктам, позволяющие также уточнить общую характеристику диалектных различий русского языка как относящихся (кроме различий лексического порядка) преимущественно к фонетической стороне. В случае, когда те или иные различия характеризуют определенные группы форм и как бы относятся к области морфологии, они по существу связаны лишь с разным звучанием тех или иных формативов и принадлежат тем самым к числу фонетических явлений, приобретших в ходе своего развития морфологизованный характер.

В период подготовки диалектологических атласов значительно расширились также и наши сведения о самом составе диалектных различий; о многих из них достаточно полные сведения были получены впервые[2].

На протяжении последнего десятилетия, имеющего большое значение в развитии диалектологии русского языка, наши знания, естественно, развивались более вширь, чем вглубь, что связано с выполнением задач лингвистической географии, предполагающей преимущественно экстенсивное изучение диалектных различий языка в их территориальном распространении.

Созданные в прошлом работы, посвященные углубленному изучению внутренних закономерностей того или иного явления в его разновидностях, характерных для различных говоров русского языка, относятся преимущественно к первой четверти XX в. и основаны на материалах, собранных главным образом при подготовке «Опыта диалектологической карты». Таковы, например: работа Л. Л. Васильева, дающая представление об употреблении *о* и *уо* по говорам; посвященное звуку *ъ* и построенное на основе широкого использования диалектных данных в сочетании с показаниями памятников письменности исследование В. В. Виноградова;

[1] Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков, Опыт диалектологической карты русского языка в Европе, М., 1915.

[2] См., например: Р. И. Аванесов, Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2.

работа Н. Н. Дурново, представляющая классификацию типов яканья, работа И. Г. Голанова о диссимилятивном яканье, Д. К. Зеленина об ассимилятивном смягчении задненебных; труды С. П. Обнорского, особенно посвященные морфологическим различиям русского языка [1].

Причина того, что материалы, собиравшиеся при подготовке диалектологических атласов, еще не подвергались в достаточной степени обобщению с целью создания работ подобного типа, заключается не только в том, что эти материалы весьма значительны по объему, в связи с чем возникает ряд трудностей при их обобщении, но и в том, что на протяжении последнего десятилетия в центре внимания находилась разработка целого ряда общих вопросов, имеющих принципиальное значение при построении диалектологических исследований разного типа. Особенно интенсивно разрабатывались вопросы, связанные с определением основных принципов советской лингвистической географии. Однако в связи с тем, что изучение материала при подготовке его к картографированию не противопоставляется с точки зрения наших диалектологов его монографическому изучению, за указанный период оформлялся также ряд общих требований к монографическому изучению системы отдельных говоров или отдельных языковых явлений, изучаемых на материале разных говоров и имеющих по говорам различные соответствия.

Так, можно считать вполне определившимся принцип, согласно которому при изучении любого диалектного явления (как с целью его описания, так и при изучении его истории) должна быть в полной мере выяснена сфера его распространения в системе говора и закономерности такого распространения. Это достигается (по отношению к фонетическому явлению) путем исчерпывающего изучения всех возможных случаев и позиций, в которых данное явление могло бы быть представлено. На основе подобного изучения определяется характер явления как последовательно представленного во всех возможных случаях или, наоборот, ограниченного в своем распространении известным кругом фонетических позиций, морфологических категорий или определенным кругом лексики.

Весьма важным при изучении фонетических явлений оказывается также выявление тех своеобразных отношений и чередований в системе языка, которые установились между теми или иными звуками. Выполнение этого требования достижимо лишь в результате анализа значительного количества фактов употребления тех или иных элементов фонетической системы в процессе общения. При этом нередко выясняется, что отдельные говоры различаются не только наличием или отсутствием определенных единиц в системах отдельных говоров, не только по характеру их распространения в этих системах или по характеру представленных чередований, но

---

[1] См.: Н. Дурново, Диалектологические разыскания в области великорусских говоров, ч. I — Южновеликорусское наречие: вып. 1 — «Труды Моск. диалектол. комиссии», вып. 6, 1917; вып. 2 — там же, вып. 7, 1917 [обл.: 1918]; В. В. Виноградов, Исследования в области фонетики севернорусского наречия, вып. 1 — Очерки из истории звука *б* в севернорусском наречии, ИОРЯС, т. XXIV: кн. 1 — 1922, кн. 2 — 1923; С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, Л.: вып. 1—1927, вып. 2 — 1931; его же, Очерки по морфологии русского глагола, М., 1953; И. Г. Голанов, О диссимилятивном аканье, «Труды Моск. диалектол. комиссии», вып. 3, Варшава, 1914; его же, Несколько новых данных к вопросу о географическом распространении диссимилятивного аканья, Сб. ОРЯС, т. CI, № 3, 1928; Д. К. Зеленин, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации, СПб., 1913; Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI — XVII веков. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии («Сб. по русскому языку и словесности [АН СССР]», т. I, вып. 2), Л., 1929.

и по типу фонологических отношений, установившихся для этих единиц при их использовании.

Указанные требования к изучению диалектных явлений в описательном плане в равной мере выполняются как при монографическом изучении явления, так и при подготовке материала по тем или иным явлениям к картографированию в диалектологических атласах. При определении типа той или иной карты и системы построения знаков выясняют и характер явления со стороны его положения в системе языка. В свою очередь изучение какого-либо явления в отношении его территориального распространения, т. е. методами лингвистической географии, все чаще становится необходимым приемом исследования материала при его монографическом изучении. Характер территориального распространения, наличие каких-либо изоглосс имеют большое значение как при рассмотрении вопросов исторического характера, так и при разрешении вопросов, связанных с положением тех или иных фактов в системе языка.

В современных диалектологических исследованиях требует своего учета и тот факт, что носители любых говоров пользуются в настоящее время в какой-то степени наряду с исконной диалектной системой также и системой, характерной для нормализованного типа языка. Одни и те же стороны диалектной системы в устах разных представителей говора обычно оказываются поколебленными в неодинаковой степени, хотя наряду с этим в говоре нередко можно проследить и некоторый общий результат трансформации того или иного звена диалектной системы в целом под влиянием нормализованного типа языка. Что же касается случаев прямого использования значительными слоями говорящих каких-либо фактов, относящихся к нормализованному типу языка, то эти факты приходится как бы выносить за скобки в современных диалектологических исследованиях, поскольку они существуют в любом говоре на современном этапе его развития. Таким образом, типы того или иного диалектного явления в современном русском языке не могут быть намечены на одной плоскости: мы должны выделить наиболее архаический вид явления наряду с теми его разновидностями, которые являются в большей или меньшей степени устойчивым результатом трансформации этого архаического типа. При этом важно учитывать, что подобные новые по происхождению разновидности явлений в ряде случаев не перестают быть различительными признаками диалектов русского языка. Это объясняется тем, что формирование данных разновидностей протекает при определяющем значении закономерностей развития, присущих тем или иным группам говоров.

Изучение различных типов какого-либо явления может преследовать цель создания классификации говоров по тому или иному различительному признаку или подготовку материала к сравнению для построения в дальнейшем выводов исторического характера. И в том, и в другом случае оценка разновидностей явления по степени отхода от архаического состояния является неизбежной, так как эти разновидности остаются территориально локализованными, а взятые в сравнительном плане, помогают воссоздать историю явления, во всяком случае, на протяжении его существования в данном языке.

Указанные принципы монографического изучения диалектных явлений — как при установлении типов тех или других явлений, так и при выяснении истории их развития — далеко не чужды и тем более ранним работам подобного характера, которые упоминались выше. Намеченные, например, Н. Н. Дурново типы яканья даны им с учетом важнейших системных отношений для этого звена вокализма южновеликорусских говоров и с учетом того, что эти типы являются неравноценными с исторической точки зрения. Понимание роли географического момента приводило, например,

И. Г. Голанова или Д. К. Зеленина к картографированию соответствующих явлений и к использованию фактов территориального распространения при построении выводов.

В настоящее время оказывается возможным установить определенную необходимую связь между этими различными видами исследования и в ряде случаев рассматривать их как последовательные этапы анализа материала, особенно при таком монографическом изучении, которое предполагает органическое сочетание описательного и исторического аспектов исследования.

2

Первоначальной ступенью обобщения современных данных об употреблении аффрикат в говорах русского языка неизбежно является описательная характеристика этого употребления, не включающая еще понимания тех связей, которые имеются между отдельными типами и видами этого употребления по говорам. На первом этапе изучения вне поля зрения остаются и те процессы, которые возникают при сосуществовании разных типов и видов употребления аффрикат.

При описательном подходе к материалу выясняется, что различия в употреблении аффрикат касаются прежде всего того, имеется ли в отдельных группах говоров различение двух аффрикат, регулярно употребляемых в определенных группах лексики, исторически имевших, с одной стороны, аффрикату *ч'*, с другой, аффрикату *ц* (из *ц'*), или в них представлена одна аффриката. В случае употребления одной аффрикаты существенно установить, имеет ли место: а) наличие единственной аффрикаты как в сфере лексики, имевшей этимологическое *ч'*, так и в сфере лексики, имевшей *ц*; б) наличие единственной аффрикаты только в соответствии одной из этимологических аффрикат, в то время как в соответствии другой выступает звук фрикативного образования. Редки, но имеются в пределах русского языка такие говоры, для которых характерно полное отсутствие аффрикат, замененных фрикативными звуками в архаическом типе говора.

Различение аффрикат в тех народных говорах, где оно является единственным и исконным типом употребления этих звуков[1], чаще всего бывает представлено различением *ч'* (мягкой шипящей аффрикаты) и *ц* (твердой свистящей). Однако в ряде русских народных говоров наблюдается различение двух твердых аффрикат, отличающихся только шипящим или свистящим характером. Существует, как это особенно определенно выяснилось при собирании материалов для атласа, также и такой вид различения, при котором в соответствии *ч'* употребляется *ц'*, а в соответствии *ц*—*ц* твердое, т. е. различение двух свистящих аффрикат, противопоставленных по наличию или отсутствию палатализации (*ц'ай, ц'исто, доц'ка, ноц'*, но *курица, конца, конец*).

Факт употребления в говорах одной аффрикаты сам по себе еще не является достаточным для суждения о типе употребления рассматриваемых звуков. Необходимо различать, как уже указано выше, так называемое цоканье (результат совпадения аффрикат *ч'* и *ц*), с одной стороны, и употребление одной аффрикаты, возникшее в результате утраты затвора второй аффрикатой, изменившейся в связи с этим в соответствующий шипящий или свистящий звук, с другой.

При цоканье или неразличении *ч'* и *ц* единственная аффриката употребляется во всей сфере лексики, где прежде были две аффрикаты. Этой

[1] Выше уже говорилось, что наличие почти во всех современных говорах различения *ч'* и *ц*, свойственного нормализованному типу языка, как бы выносится нами при исследовании материала за скобки в тех случаях, когда наряду с этим различением имеется другой, диалектный тип употребления аффрикат.

единственной аффрикатой может быть мягкое *ц'* (мягкое цоканье — *ц'ай, ц'исто, доц'ка, ноц'*, как и *курец'а, конц'а, конец'*), твердое *ц* (твердое цоканье — *цай, цисто, доцка, ноц*, как и *курица, конца, конец*) и *ч* — преимущественно мягкое (чоканье — *ч'ай, ч'исто, доч'ка, ноч'*, как и *курич'а, конч'а, конеч'*).

В говорах, переживших утрату затвора одной из аффрикат, единственная аффриката употребляется только в той сфере лексики, где она была распространена этимологически, в то время как в сфере лексики, имевшей этимологически вторую аффрикату, находим звук, возникший в результате утраты затвора данной аффрикатой (ср.: *цена, цеп, курица, конца, конец*, но при этом *ш'ай, ш'исто, дош'ка, ношʼ* в одних говорах; *ч'ай, ч'исто, доч'ка, ноч'*, но при этом *куриса, конса, конес* — в других). Для говоров, переживших утрату затвора обеими аффрикатами, характерно отсутствие этого типа звуков вообще в традиционной системе консонантизма.

Перечисленные типы и виды употребления аффрикат (их различение и неразличение при употреблении одной аффрикаты или при отсутствии одной или обеих аффрикат вследствие утраты ими затвора) выделяются и выделялись в прошлом главным образом на основе сравнения показаний говоров и литературного языка с учетом наших представлений по истории этих звуков.

Однако непосредственное противопоставление говоров русского языка в зависимости от того, какой тип или вид употребления аффрикат они представляют, фактически оказывается невозможным, так как обычно мы сталкиваемся с сосуществованием по говорам нескольких типов или видов этого употребления. В связи с этим и приобретают особенно большое значение наблюдения над процессом общения, на основе которых можно сделать заключения о том, какую роль в системе консонантизма говоров и в развитии этой системы играют те или иные из сосуществующих типов и видов употребления аффрикат.

Немаловажную роль играет и изучение закономерностей территориального распространения интересующих нас явлений: смежными или перемежающимися на определенных территориях нередко оказываются генетически связанные между собой разновидности явления; архаические для той или иной группы говоров виды употребления аффрикат находим обычно на таких территориях, где было меньше собственно исторических предпосылок для нивелирующего воздействия нормализованного типа языка или для распространения вновь возникавших в ходе внутреннего развития новообразований. Наоборот, на территориях, население которых раньше попадало под нивелирующее воздействие нормализованного типа языка, нередко находим виды употребления аффрикат, почти полностью объясняемые в своем возникновении этим воздействием.

В связи со всем сказанным появляется возможность более глубоко и последовательно использовать при классификации русских народных говоров такой различительный признак, как употребление аффрикат; выявляется также и различная значимость тех или иных видов употребления аффрикат с исторической точки зрения.

3

Намеченные выше в пределах отдельных типов виды различения аффрикат оказываются неравноценными при решении вопросов, связанных с классификацией русских народных говоров. Р а з л и ч е н и е *ч'* и *ц* характерно, кроме нормализованного типа языка, также и для определен-

ных значительных групп говоров, как образующих самостоятельные массивы, так и имеющих более разбросанное распространение[1].

Это прежде всего говоры таких территорий в пределах распространения русского языка в Европе, как значительная (западная) часть Костромской области, большая часть Ярославской и Московской, Ивановская область, ряд районов Смоленской и Калужской областей, бóльшая часть Тульской, северная часть Горьковской области, наиболее восточные районы Курской и Орловской областей, восточные районы Брянской области, южные — Рязанской, территория Воронежской, Тамбовской, Пензенской областей.

Все эти говоры (см. прилагаемую схематическую карту) образуют сплошной массив, расположенный на территории центральных областей распространения русского языка в Европе, вытянутый в направлении с востока на юго-запад и юг, где этот массив расчленен на две неравные части вклинивающейся в него территорией говоров с утратой затвора в аффрикатах.

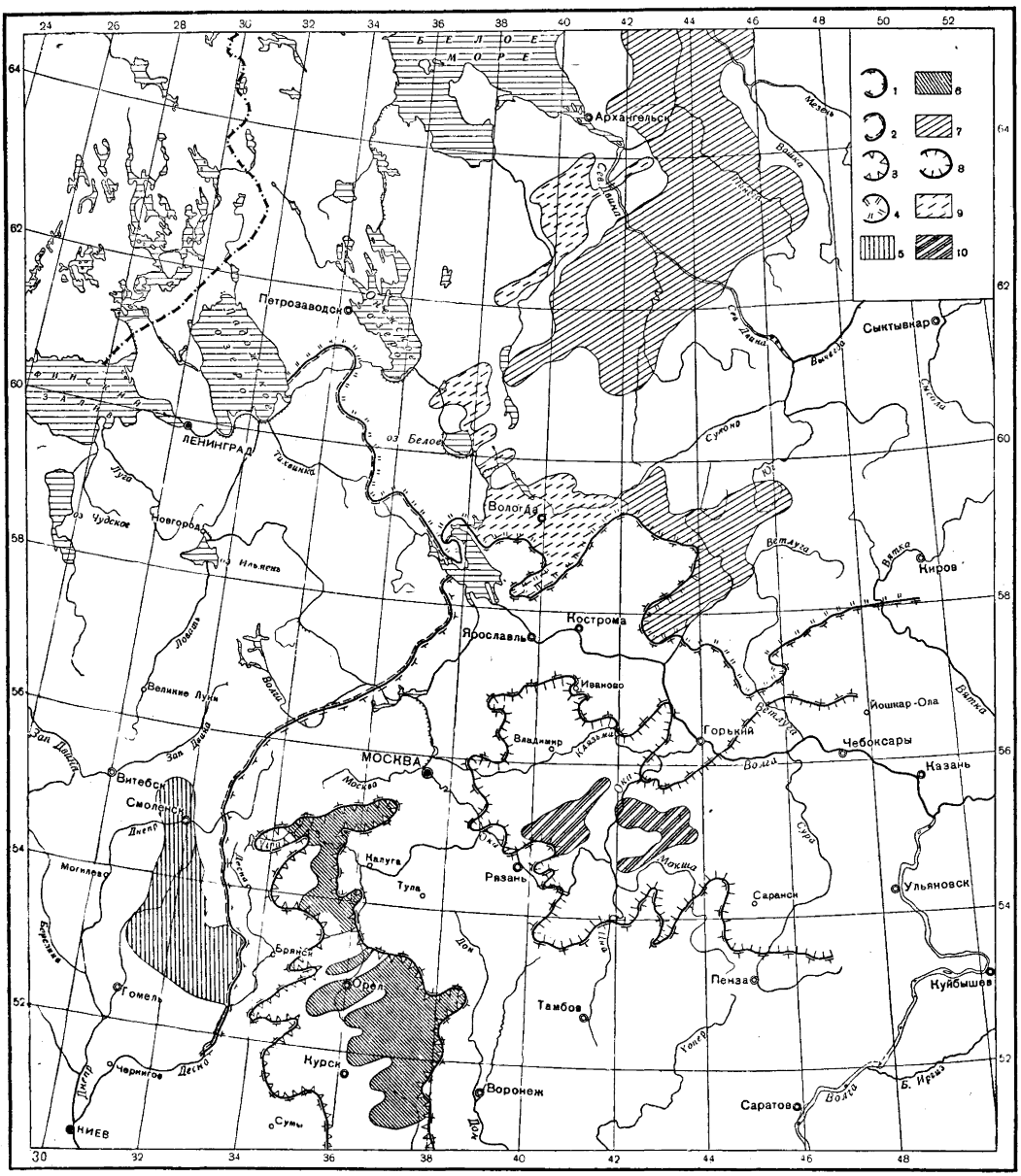
Кроме этого, говоры с несомненно исконным различением *ч'* и *ц*, не представляющие никаких следов цоканья в прошлом, находим на северо-востоке Европейской части СССР, где отдельные, хотя и значительные, острова подобных говоров вкраплены в общий массив цокающих говоров, имеющих здесь резкое количественное преобладание. (Ср. на прилагаемой карте наличие таких островов нецокающих говоров на территории Архангельской, Вологодской областей и Карело-Финской АССР, для которых в целом характерны цокающие говоры.) Наличие чересполосицы нецокающих и цокающих говоров при резком преобладании последних на северо-востоке Европейской части СССР хорошо согласуется с историей заселения этого края: заселение с запада из пределов Новгородской земли приводило к появлению на северо-востоке носителей цоканья, заселение с юга, из северной половины Ростово-Суздальской Руси,— к появлению носителей различения *ч'* и *ц*.

На западных, точнее северо-западных, территориях Европейской части СССР также встречается немало говоров, для которых различение *ч'* и *ц* является единственным и, видимо, исконным типом употребления аффрикат. Но здесь распространение говоров с различением *ч'* и *ц* не характеризуется какой-либо определенностью. Эти говоры встречаются разбросанно между преобладающими на данной территории говорами с другими типами употребления аффрикат. Носители говоров с исконным различением аффрикат, вероятнее всего, появились на северо-западе Европейской части СССР в связи с разного рода переселениями, в частности, из центральных областей Руси, интенсивно осуществлявшимися еще с XVI в.

Тот вид различения аффрикат, при котором твердыми являются и шипящая и свистящая аффрикаты, т. е. р а з л и ч е н и е *ч* и *ц* т в е р д ы х, занимает различное положение в системах консонантизма отдельных говоров, а также имеет не одинаковое по своему характеру территориальное распространение, что, несомненно, может свидетельствовать и о неодинаковом генезисе различения твердых *ч* и *ц*.

Так, на северо-западе Европейской части СССР на территории б. Новгородской и Смоленской земель или таких современных областей, как Ленинградская, Псковская, Новгородская, Калининская, Великолукская, имеется немало говоров, представляющих сосуществование твердого

[1] Здесь и в дальнейшем изложении автор статьи опирается на данные и материалы, картографированные и изученные им при подготовке монографии на тему «История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров». См. автореферат докторской диссертации, опубликованный Ин-том языкознания АН СССР (М., 1955).



1—Центральная группа говоров с различением *ч′* и *ц*. 4—Северо-восточные говоры. 7—Часть территории сев.-вост. говоров, на которой сохраняется наиболее непоколебленным мягкое цоканье. 9—Часть территории сев.-вост. говоров, на которой имеют наибольшее распространение говоры с исконным различением *ч′* и *ц*. 2 — Северо-западные и западные говоры. 5—Часть территории сев.-зап. говоров, на которой распространено различение твердых *ч* и *ц*, развившееся на основе различения *ч′* и *ц*. 8 — Юг-восточные говоры. 10 — Часть территории юго-вост. говоров, на которой сохраняется наиболее непоколебленным твердое цоканье. 3—Юго-западные говоры. 6—Часть территории юго-зап. говоров, на которой имеют наибольшее распространение говоры, представляющие утрату затвора обеими аффрикатами.

цоканья и различения *ч* и *ц* твердых. Заметим попутно, что степень сохранения твердого цоканья может быть при этом различной и чаще незначительной (иногда следы твердого цоканья могут выступать лишь при произношении причастных форм типа *ушоццы*). Отметим также, что и степень палатализации *ч* в подобных говорах может быть не одинаковой иногда даже в устах одного говорящего. Порою несколько смягченное *ч* в подобных говорах приближается по звучанию к мягкому *ч*, характерному для нормализованного типа языка.

В некоторых говорах северо-запада различение твердых *ч* и *ц* является единственным видом употребления аффрикат, поскольку следов твердого цоканья как такового в них не сохранилось, хотя различные ступени палатализации и тем самым ступени перехода к различению *ч'* и *ц* в этих говорах наличествуют. При этом подобные говоры не имеют самостоятельной территории распространения: они находятся в непосредственном соседстве с говорами, в той или иной степени сохраняющими твердое цоканье. По этим и некоторым другим (дополнительным) соображениям можно считать, что различение твердых *ч* и *ц*, видимо, является в говорах с твердым цоканьем в большинстве случаев определенным этапом перехода к употреблению *ч'* и *ц*.

Иными путями развивалось различение твердых *ч* и *ц* в юго-западных говорах русского языка, расположенных, например, на территории наиболее западных районов Смоленской и Брянской областей. Здесь данное явление имеет определенную изоглоссу своего распространения в говорах, не представляющих, в отличие от северо-западных, никаких следов былого неразличения аффрикат. Отвердение *ч* в этих говорах связано с тем общим фонетическим процессом отвердения обеих аффрикат, характерным также и для белорусского языка, который наметился в юго-западных языковых группах довольно рано и отражен по памятникам с XV в.[1] Для говоров, представляющих различение твердых *ч* и *ц* вне связи с явлениями, указывающими на цоканье в прошлом, не характерно то интенсивное развитие процессов известной (вначале неполной) палатализации *ч*, о которых говорилось выше; они сохраняют различение твердых *ч* и *ц* гораздо более последовательно.

В связи со всем сказанным при классификации говоров по употреблению аффрикат разное значение имеют такие два вида различения твердых *ч* и *ц*, один из которых выступает в говорах в качестве переходного звена при отходе от твердого цоканья, а другой является устойчивым звеном фонетических систем. Внешне тождественные виды употребления аффрикат, исторически сложившиеся разными путями и занимающие разное положение в системах соответствующих говоров, оказываются также в разной степени устойчивыми при переходе к различению *ч'* и *ц*.

Отдельные указания на то, что в русских народных говорах существует р а з л и ч е н и е *ц'* и *ц*, при котором мягкая свистящая аффриката употребляется в соответствии *ч'*, а твердая — в соответствии *ц* нормализованного типа языка (*ц'ай*, *ц'исто*, *доц'ка*, *ноц'*, но *курица*, *конца*, *конец*), встречались и ранее в нашей диалектологической литературе[2]. Но полную уверенность в том, что подобное различение существует как хотя бы относительно устойчивый факт фонетических систем ряда говоров, и понимание тех условий, в которых оно может быть представлено, дали

[1] См. Н. Д у р н о в о, Очерк истории русского языка, М.— Л., 1924, стр. 179.

[2] Ср., например: Н. Н. С о к о л о в, Отчет о поездке в Меленковский и Судогодский уезды Владимирской губ. летом 1907 г., «Труды Моск. диалектол. комиссии», вып. 1, Варшава, 1908; Д. В. Б у б р и х, Фонетические особенности говора с. Пустошей, ИОРЯС, т. XVIII (1913), кн. 4, 1914.

нам лишь материалы, собранные при подготовке диалектологических атласов русского языка. Эти материалы показали прежде всего, что во многих случаях подобное различение существует наряду с твердым цоканьем как основным типом употребления аффрикат, характерным обычно для носителей более архаического типа говора. Так, подобное различение отмечают в упоминавшихся цокающих говорах северо-запада, особенно в тех из них, в которых твердое цоканье последовательно сохранялось, видимо, до самого недавнего времени. Напомним, что в говорах, где твердое цоканье представлено реликтово, переходным к различению *ч'* и *ц* чаще является употребление *ч* и *ц* твердых.

В сосуществовании с твердым цоканьем подобное различение отмечают и в цокающих говорах востока и юго-востока Европейской части СССР, т. е. на территории таких областей, как Владимирская, Горьковская, Рязанская, а также в небольшой степени и таких, как Московская, Ивановская, Ярославская, где говоры с хорошо сохранившимся твердым цоканьем встречаются чаще и где переход к различению *ч'* и *ц* через употребление *ч* и *ц* твердых вообще отмечают редко. Важно также заметить, что наряду с *ц'* в соответствии *ч'* в подобных говорах фиксируют также и аффрикаты, являющиеся как бы промежуточными по своему характеру между свистящими и шипящими звуками и передаваемые обычно наблюдателями как *ц"*, *ц'ч'* или *ч'ч'*.

Таким образом, при наличии твердого цоканья в подобных говорах в соответствии *ч'* наряду с твердым *ц* отмечают *ц'*, *ц"*, *ц'ч'*, *ч'ч'*, в то время как в соответствии *ц* в них находим только *ц* твердое. Поскольку подобное употребление аффрикат обычно существует в говорах, наиболее долго сохранявших твердое цоканье, появление ряда смягченных звуков в соответствии только *ч'*, притом отмечаемое обычно в речи тех носителей говора, которые в наибольшей степени испытали влияние нормализованного типа языка, следует связывать с непосредственными попытками произношения мягкой шипящей аффрикаты, наличие которой также отмечают в ряде случаев в подобных говорах. О том же свидетельствуют и некоторые ранее опубликованные сообщения по говорам тех мест, где сейчас распространено различение *ц'* (*ц"*, *ц'ч'*, *ч'ч'*) и *ц*.

Так, например, А. А. Шахматов при описании говора дер. Лека Егорьевского уезда Рязанской губернии отметил начальную ступень перехода от твердого цоканья — как традиционного типа употребления аффрикат в этом говоре — к различению аффрикат в виде произношения *ц'* на месте *ч'*; эта ступень представлена «в говоре лиц, подражающих произношению городскому»[1].

Таким образом, возникновение различения *ц'* и *ц*, очевидно, относится к позднему периоду, когда отход от твердого цоканья совершался под более непосредственным влиянием нормализованного типа языка. Говоры, в которых в качестве переходного типа употребления аффрикат устанавливалось различение твердых *ч* и *ц*, видимо, совершали этот отход в другое, более раннее время, как об этом свидетельствует и тот факт, что твердое цоканье в подобных говорах является более поколебленным и нередко почти исчезнувшим.

Реже встречаются говоры, в которых различение *ц'* и *ц* отмечают при отсутствии твердого цоканья и где этот переходный вид употребления аффрикат является как бы стабилизовавшимся. Говоры, знающие это явление, не имеют самостоятельной территории распространения, они представляют собой вкрапления между говорами, сочетающими подобное раз-

[1] А. А. Шахматов, Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии, ИОРЯС, т. XVIII (1913), кн. 4, 1914, стр. 208.

личение с твердым цоканьем. Переходный и временный характер различения *ц'* и *ц* в говорах рассматриваемого типа доказывается и рядом свидетельств наблюдателей, показывающих, как наряду с этим различением и на его основе в конечном счете устанавливается различение *ч'* и *ц*.

4

При наличии одной аффрикаты в говорах, не различающих *ч'* и *ц*, существенно, какая именно аффриката выступает при неразличении.

М я г к о е ц о к а н ь е, при котором во всей сфере лексики, имевшей исторически в своем составе как *ц'*, так и *ч'*, употребляется палатальное *ц'*, распространено в настоящее время в говорах северо-востока Европейской части СССР, находящихся на территории Архангельской и Вологодской областей и Карело-Финской АССР, а также частично на территории ряда районов смежных областей: Костромской, Ярославской и некоторых других (см. карту).

Наиболее непоколебленным употребление одной мягкой свистящей аффрикаты (хотя бы и в речи определенных слоев говорящих — носителей традиционного типа говоров) представлено в глубинных районах Архангельской области, а также на территории Тотемского и Никольского районов Вологодской области и примыкающих к ним некоторых северных районов Костромской области. У наиболее типичных представителей говора мягкое цоканье выступает здесь в любой, в том числе и в недавно проникшей лексике независимо от того, в каких элементах морфологической структуры слова это *ц'* находится.

Наряду с тем, что в значительном количестве говоров северо-востока мягкое цоканье является единственным диалектным типом употребления аффрикат, в еще большем количестве говоров оно выступает как обязательный компонент фонетической системы того или иного говора в сосуществовании с другими диалектными типами этого употребления, а именно— с твердым цоканьем или чоканьем.

При этом необходимо подчеркнуть, что обратного положения не наблюдается: твердое цоканье и чоканье чрезвычайно редко встречаются на северо-восточной территории в качестве единственных диалектных типов употребления аффрикат, а те сравнительно немногочисленные говоры, где это имеет место, расположены на данной территории весьма разбросанно, в связи с чем соответствующие явления не имеют на северо-востоке определенной изоглоссы.

Особенно важны и интересны данные о характере распространения и о положении в фонетических системах отдельных говоров такого вида употребления аффрикат, как ч о к а н ь е (*ч'асто, ч'исто, ч'удо, плеч'о, ноч', доч'ка; улич'а, кол'ч'о, улич'у, ч'елый, отеч'*), по отношению к которому нередко исходили, а в ряде случаев исходят и до самого последнего времени из представления о том, что оно является разновидностью цоканья, которая и с генетической точки зрения, и по положению в системах современных говоров вполне тождественна другим его разновидностям и, в частности, мягкому цоканью[1].

При рассмотрении данного вопроса следует прежде всего учесть характер территориального распространения чоканья. Этот вид употребления аффрикат, чаще всего встречающийся по говорам в сосуществовании с мягким, иногда также и твердым цоканьем и лишь изредка являющийся единственным диалектным типом употребления аффрикат, обычно находим

[1] См., например, П. Я. Ч е р н ы х, Историческая грамматика русского языка, 2-е изд., М., 1954, стр. 142.

в говорах, носители которых сравнительно давно, иногда уже с конца XIX в., имели связи с городами (отхожие промыслы, работа на фабриках, заводах и т. п.). Наблюдатели нередко указывают на распространение чоканья именно в говорах, где представлено достаточно определенно выраженное расслоение говорящих, и в речи тех лиц, которые в наибольшей мере испытали на себе влияние городского языка. В «Опыте диалектологической карты» сделано даже известное обобщение таких, действительно неоднократно повторявшихся в разного рода сообщениях указаний: при описании говоров вологодско-вятской группы говорится, что «в части говоров мужчины произносят *ч*, а женщины — *ц* мягкое или средний звук между *ц* мягким и *ч* мягким» (см. стр. 15).

Необходимо также отметить, что в огромном количестве случаев наблюдатели специально подчеркивают как бы второстепенный характер чоканья по его положению в системе языка. Говорящие преимущественно произносят мягкую свистящую аффрикату *ц'*, но в речи тех представителей говора, которые испытывали на себе влияние языка нормализованного типа, отмечается наличие факультативных случаев употребления мягкой аффрикаты *ч'*, нередко в соответствии не только *ч'*, но и в соответствии *ц*. Особенно много таких указаний в материалах, относящихся к первой четверти XX в.

Имеет определенное значение и тот факт, что в говорах, устойчиво сохранявших мягкое цоканье до последнего времени, современные наблюдатели, также отмечая употребление аффрикаты *ч'*, с усвоения которой начинается отход от мягкого цоканья, не фиксируют случаев чоканья: в подобных говорах вновь усваиваемая аффриката употребляется только в соответствии *ч'*, т. е. «правильно» с точки зрения литературной нормы. Это обстоятельство должно найти свое объяснение в том, что овладение нормализованным типом языка основывается в настоящее время на систематическом и широком восприятии его устной формы.

Таким образом, возникновение чоканья в говорах с мягким цоканьем вероятнее всего имело место на начальных этапах влияния нормализованного типа языка, в ряде говоров сказывавшегося еще и в дореволюционное время, но не являвшегося тогда по большей части систематическим и непосредственным.

Вновь возникавший в говорах с мягким цоканьем вид употребления аффрикат — чоканье, по существу знаменующий собой в определенные эпохи существования говоров переход к различению *ч'* и *ц*, мог до известной степени стабилизоваться, что и наблюдается в ряде случаев. В небольшом количестве говоров, не образующих сколько-нибудь определенного массива на той или иной территории, наблюдается редко встречающийся путь развития в направлении к полному вытеснению мягкого цоканья чоканьем.

Стабилизация чоканья могла, видимо, оказаться возможной лишь там, где в силу тех или иных исторически складывавшихся условий влияние общенародной формы языка временно ослабевало, в то время как для основной массы говоров оно оставалось непрекращающимся и приводило в конце концов не только к полному овладению произношением аффрикаты *ч'*, но и к упорядоченному употреблению этой аффрикаты. После того как в говорах с мягким цоканьем налаживается употребление твердого *ц*, что всегда является здесь сравнительно поздним процессом, в них уже вполне определяется переход к различению двух аффрикат.

Т в е р д о е ц о к а н ь е, при котором одна твердая свистящая аффриката употребляется в словах, этимологически имевших как *ч'*, так и *ц* (*часто, чисто, чудо, плечо, ноч, доцка, улица, кол'цо, улицу, целый, отец*), является характерным для северо-западных областей (о составе данной

территории см. выше); в одних из этих говоров оно встречается в качестве единственного диалектного типа употребления аффрикат (что реже), в других — в сочетании с различением твердых *ч* и *ц* или с переходным различением *ц'* и *ц*. Выше была показана генетическая связь этих видов различения аффрикат с твердым цоканьем, что важно учитывать при определении территории распространения твердого цоканья в прошлом на северо-западе.

Твердое цоканье характерно и для цокающих говоров юго-восточных областей Европейской части СССР (о составе этой территории см. выше), где этот вид цоканья чаще сочетается с различением *ц'* и *ц* в качестве переходного вида употребления аффрикат.

Как на северо-западных, так и на юго-восточных территориях твердое цоканье сохраняется наиболее непоколебленным в тех говорах, которые дольше находились вне влияния нормализованного типа языка. На северо-западе это — ряд говоров Псковской области, наиболее западных районов Ленинградской и Новгородской областей, а также северо-западных районов Калининской области. На юго-востоке это — говоры Гусь-Хрустального и Курловского районов Владимирской области и Спас-Клепиковского, Тумского, Бельковского районов Рязанской области, т. е. говоры так называемой Мещеры — края, на протяжении долгого времени оторванного от городских центров и находившегося вне сферы влияния нормализованного типа языка.

Несомненно, что в прошлом территория распространения твердого цоканья на северо-западе и юго-востоке была значительно шире той, на которой мы находим в настоящее время сохранение данного вида употребления аффрикат в непоколебленном виде. В состав территории сплошного распространения твердого цоканья следует включать при изучении истории явления также и говоры тех областей, где в настоящее время распространены переходные виды употребления аффрикат (различение твердых *ч* и *ц* и различение *ц'* и *ц*) независимо от того, сочетаются ли эти переходные виды с твердым цоканьем как таковым.

Поскольку исторически, в свою очередь, употребление одной твердой свистящей аффрикаты сменило употребление одной мягкой свистящей аффрикаты, становится ясным, что говоры северо-запада имели в прошлом мягкое цоканье. Таким образом, говоры северо-запада и юго-востока вместе взятые отличаются от говоров северо-востока лишь тем, что такое новообразование, как отвердение *ц'*, было ими пережито раньше и раньше получило широкое распространение. Между тем и на северо-востоке также действовала и действует в ряде говоров тенденция к отвердению *ц'*, что сказывается в сосуществовании твердого и мягкого цоканья, причем характерно, что говоры с твердым цоканьем в качестве единственного диалектного типа употребления аффрикат не имеют здесь достаточно определенной территории своего распространения. В новгородских же (т. е. северо-западных) говорах твердое цоканье было широко распространено, видимо, еще до того, как здесь, начиная, может быть, уже с конца XVI — начала XVII в., стало развиваться сперва различение твердых *ч* и *ц*, а затем и различение *ч'* — *ц*. Об этом достаточно убедительно свидетельствует современное широкое распространение различения твердых *ч* — *ц* в этих говорах, многие из которых не сохраняют при этом твердого цоканья как такового.

Различия между северо-западными и северо-восточными говорами в отношении такого процесса, как отвердение *ц'*, вполне объяснимы. Интенсивное распространение местных языковых новообразований вообще более характерно, как и интенсивная нивелировка диалектных особенностей, для центральных говоров северо-запада (говоры центральных областей б. Новгородской земли), чем для говоров северо-востока, нахо-

дящихся на территориях, заселение которых происходило позднее. Здесь при гораздо меньшей плотности населения, при менее интенсивных взаимоотношениях между жителями различных населенных пунктов, при большей изолированности в относительно недавнем прошлом от значительных промышленных центров изменения в языковом строе говоров протекали медленнее. Ср., кроме твердого цоканья, более интенсивное распространение такого новообразования, как *ѣ* > *и* именно в северо-западных говорах по сравнению с северо-восточными. Ср. и успешную нивелировку таких диалектных особенностей, как, например, *е* < *а* между мягкими согласными или произношение губно-губного *в* в новгородских говорах по сравнению с архангельскими, вологодскими и другими северо-восточными, в которых произношение *е* в соответствии *а* между мягкими согласными или произношение губно-губного *в* до сих пор является гораздо более распространенным.

5

Проведенный анализ данных позволяет прийти к выводу о том, что для классификации говоров по признаку употребления аффрикат оказывается необходимым в ряде случаев установить типичные сочетания различных видов этого употребления с учетом того, какой из данных видов наиболее связан с традиционной системой говора и какой сложился на основе развития этой системы.

Так, мы видим, что только различение ч' и ц из числа других видов различения может считаться действительно характерным признаком определенных групп говоров и может служить для их противопоставления говорам, представляющим неразличение аффрикат в виде мягкого или твердого цоканья, или говорам, пережившим утрату затвора в аффрикатах. Что же касается различения твердых ч и ц, то это последнее выступает в ряде говоров как переходный и тем самым временный вид употребления аффрикат, внутренне связанный в системах ряда говоров с твердым цоканьем, которому оно постоянно и сопутствует. Впрочем, выше мы указывали, что в других говорах различение твердых ч и ц непосредственно сменило различение ч' и ц и что подобные говоры отличаются по данному признаку от тех, в которых различение твердых ч и ц связано с отходом от твердого цоканья. С твердым же цоканьем в ряде других говоров связано различение ц' — ц, также представляющее переход к различению ч' и ц, но совершающийся в другие эпохи.

В свою очередь, такой вид неразличения аффрикат, как чоканье, также не может считаться сам по себе характерным для каких-то групп говоров в отличие от других, поскольку чоканье находится в системах ряда говоров в тех же отношениях к мягкому цоканью, как в других группах говоров различение ч и ц твердых или различение ц' и ц — к твердому цоканью при их сосуществовании. После обобщения данных по говорам, представляющим сходное употребление аффрикат, мы можем дать более исчерпывающий ответ на вопрос о том, какие же виды употребления аффрикат или сочетания этих видов действительно являются различительными признаками русских народных говоров.

Говоры русского языка могут быть противопоставлены друг другу по употреблению аффрикат в следующих случаях.

1. Говоры с различением ч' и ц при наличии данных о том, что это различение является исконным для говора, а не установившимся в результате отхода от былого неразличения.

2. Говоры с различением твердых ч и ц при наличии данных о том, что оно развилось на основе различения ч' и ц после отвердения ч.

3. Говоры с мягким цоканьем в традиционном слое говора, представляющие иногда одновременно твердое цоканье, как новообразование, являющееся результатом отвердения *ц'*, или чоканье как новообразование, возникшее после усвоения аффрикаты *ч'*, употребляемой безразлично как в соответствии *ч'*, так и в соответствии *ц*.

4. Говоры с твердым цоканьем в традиционном слое говоров, а также говоры с твердым цоканьем в качестве реликтового явления (например, отражение былого цоканья при произношении причастий типа *пришоццы, ушоццы*) в сочетании с различением твердых *ч* и *ц*. К данной группе должны быть отнесены говоры с различением твердых *ч* и *ц*, если по тем или иным косвенным данным, например по характеру территориального распространения, можно установить наличие в говоре твердого цоканья в прошлом.

5. Говоры с твердым цоканьем, также представленным в той или иной степени, в сочетании с употреблением мягкой свистящей аффрикаты или нескольких аффрикат такого типа в соответствии этимологическому *ч'*. К этой группе должны быть отнесены и говоры с различением *ц'* и *ц* при отсутствии твердого цоканья как такового, если по тем или иным данным для них можно предполагать твердое цоканье в прошлом.

6

Разные виды различения аффрикат, как и виды их неразличения (цоканья), оказываются, таким образом, по говорам нередко взаимосвязанными и представляют в ряде случаев разные этапы развития данного звена системы консонантизма в том или ином говоре или группе сходных говоров. Более самостоятельным и независимым по положению в системах консонантизма оказывается тип употребления аффрикат, связанный в своем возникновении с утратой затвора одной из аффрикат.

Существенная роль данного явления для классификации русских народных говоров и истории соответствующих систем консонантизма долгое время оставалась невыявленной в связи с тем, что необходимый материал, дающий исчерпывающее представление о закономерностях явления и о характере его территориального распространения, оставался неизвестным в полной мере. Соответствующие сведения оказались в нашем распоряжении лишь по мере изучения русских народных говоров в процессе подготовки диалектологических атласов русского языка.

В настоящее время известно, что в пределах южновеликорусского наречия, для большинства говоров которого, как уже говорилось выше, характерно различение *ч'* и *ц*, выделяются говоры, имеющие определенную территорию своего распространения и характеризующиеся широким употреблением фрикативных звуков (*ш'* и *с*) в соответствии *ч'* и *ц*. Это говоры Курской и Орловской областей, за исключением их наиболее восточных районов, и примыкающие к курским и орловским говоры юго-восточных районов Брянской и восточных районов Смоленской областей, западных районов Калужской области. Значительные группы говоров, знающих утрату затвора аффрикатами, в виде отдельных оторванных от основного массива островов имеются и в Тульской области.

Для большинства говоров указанных территорий характерно отсутствие аффрикаты *ч'*, в соответствии которой произносится *ш'* (*ш'ай, ш'исто, ш'удо, нош'ка, пш'олы, пеш'*, но при этом *цена, цеп, огурцы, конец, курица*). В ряде подобных говоров, как об этом свидетельствуют весьма многочисленные сообщения, у определенных слоев говорящих употребление *ш'* в соответствии *ч'* является настолько последовательным,

что можно говорить о наличии у них одной аффрикаты *ц*, употребляемой в той сфере лексики, где эта аффриката имелась исторически и где она представлена в нормализованном типе языка, о полном отсутствии аффрикаты *ч'* и о наличии в ряду шипящих согласных мягкого недолгого звука *ш'*, неизвестного нормализованному типу языка.

Отмечены на данной территории также говоры, в которых вообще отсутствуют аффрикаты, где в соответствии *ч'* последовательно произносится *ш'*, а в соответствии *ц* — *с* (*ш'ай, ш'исто, ш'удо, нош'ка, пш'олы, пеш'*, а также *сар', сариса, сена́, сеп, огурсы, конес, куриса*)[1]. Нередко в подобных говорах отмечают последовательное употребление *ш'* в соответствии *ч'* при более факультативном употреблении *с* в соответствии *ц*, имеющем место, как правило, в конце слова (например, *цена, цеп, царь*, но *огурцы* и *огурсы*, *конец* и *конес*, *курица* и *куриса*).

Известны на описываемой территории также и говоры, в которых при последовательном употреблении аффрикаты *ч'* представлены отдельные случаи употребления *с* в соответствии *ц*. Однако в подобных говорах не отмечают, как правило, широкого распространения данного явления, оно встречается лишь в отдельных словах, в конечных слогах слов при наличии возможности употребления *ц* в тех же случаях (т. е. *огурсы, отес* наряду с *огурцы, отец* и т. п.). Напомним, что в говорах, представляющих утрату затвора одной аффрикатой *ч'*, вызванное этой утратой употребление *ш'* может быть, как это уже указывалось выше, весьма последовательным, представленным в любой лексике во всех возможных для аффрикаты *ч'* положениях — перед гласными, в сочетаниях с согласными и на конце слова.

Что же касается говоров, представляющих отдельные случаи употребления *с* в соответствии *ц*, то следует сказать, что подобные говоры, единичные на выделенной нами юго-западной территории, известны в столь же разбросанном распространении и за ее пределами. Они встречаются преимущественно на территории южновеликорусского наречия безотносительно к его внутреннему членению, в связи с чем утрата затвора аффрикатой *ц* и не может быть отнесена к числу признаков, характерных для более узких диалектных групп. В связи со сказанным можно предположить, что широта употребления *с* в соответствии *ц* в говорах, где известно и *ш'* вместо *ч'*, объясняется именно сосуществованием этих двух явлений.

Таким образом, наиболее важным отличительным признаком определенной (в основном, курско-орловской) группы говоров южновеликорусского наречия является широкое употребление *ш'* в соответствии *ч'*, так как единичные говоры за пределами описываемой территории, представляющие эту же черту, обычно не имеют ее в качестве собственно фонетического явления. В указанных говорах она выступает обычно факультативно и притом в отдельных словах. Существенным при характеристике употребления аффрикат в этой группе говоров является и то обстоятельство, сочетается ли в данном говоре употребление *ш'* также и с употреблением *с* в соответствии *ц* (выше говорилось, что в подобном сочетании употребление *с* также становится более последовательным). Говоры, представляющие результаты утраты затвора обеими аффрикатами, имеют известную территориальную локализацию; они преимущественно встречаются в восточной половине территории, на которой распространено употребление *ш'* в соответствии *ч'* (см. карту).

---

[1] В настоящее время мы располагаем целым рядом сообщений, построенных на обширном материале, убеждающих нас в том, что данные явления (употребление *ш'* и *с* в соответствии *ч'* и *ц*) имеют подлинно фонетический характер и могут считаться типичными для определенных систем консонантизма.

К числу намеченных выше пяти групп говоров русского языка по характеру употребления аффрикат может быть, таким образом, присоединена шестая группа. В нее должны быть включены говоры с характерным для них широким употреблением *ш'* в соответствии *ч'* с учетом того, сопутствует ли также этому употреблению в той или иной степени представленное употребление *с* в соответствии *ц* или случаи такого употребления отсутствуют.

7

Выше мы видели, что употребление аффрикат может быть использовано в качестве различительного признака русских народных говоров в ряде случаев лишь при том условии, если мы будем учитывать возможные наиболее часто повторяющиеся сочетания разных видов этого употребления по говорам. Наличие таких сочетаний объясняется особенностями современного развития говоров. Состояние разных сторон системы консонантизма говоров является в настоящее время чаще всего результатом, с одной стороны, различных процессов, определяющихся внутренними законами развития (ср. смену мягкого цоканья твердым в результате отвердения аффрикаты *ц* или смену различения *ч'* и *ц* различением твердых *ч* и *ц*). С другой стороны, некоторые звенья системы представляют в ряде случаев то или иное состояние в результате влияния со стороны нормализованного типа языка. Выше мы уже указывали, что процессы, возникающие под этим влиянием, не сводятся к простому замещению одних явлений другими; нередко они приводят к оформлению своеобразных структурных элементов, складывающихся на основе определенных закономерностей говора, испытывающего на себе влияние (ср. сказанное выше о становлении чоканья при отходе говорящих от мягкого цоканья и о возникновении различения *ц'* и *ц* при отходе от твердого цоканья).

В результате действия двух охарактеризованных факторов, с разной степенью интенсивности сказывающихся на речи разных слоев говорящих в пределах одного и того же говора, и складываются те или иные сочетания видов употребления аффрикат, наличие которых по говорам показано выше.

Подобные сочетания, взятые в целом, являются различительными признаками определенных групп говоров, причем между видами употребления, входящими в то или иное сочетание, всегда имеются те или иные связи, на основе изучения которых удается сделать вывод о наиболее архаических видах употребления аффрикат и о тех видах, которые сложились в результате действия более поздних процессов развития. Это позволяет прийти к пониманию исторического развития явления.

Наличие подобного исторического подхода в тех случаях, когда мы занимаемся выявлением различительных признаков отдельных групп говоров и, казалось бы, могли ограничиться чисто описательным подходом к материалу, является плодотворным, так как без учета процессов, имевших место на протяжении периода самостоятельного существования языка, мы не смогли бы в ряде случаев выделить достоверные признаки, необходимые при классификации говоров русского языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

А. М. ЩЕРБАК

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ[1]

1

Понятие грамматической формы для тюркских языков несколько отличается от традиционных представлений о грамматической форме и, как правило, ставится в связь с понятием агглютинации — особого приема морфологического конструирования слова.

Сущность агглютинации и ее своеобразие по сравнению с грамматическими приемами флективных языков не всегда рассматриваются в одном и том же плане. Поэтому единое, четко установленное и общепризнанное определение агглютинации отсутствует. Отсутствует также и четкое определение различий между флексией и агглютинативным показателем — прилепой.

Не считая целесообразным излагать различные точки зрения[2], отметим, что, несмотря на отсутствие единого определения агглютинации, существует довольно широкая основа для сближения по данному вопросу почти всех языковедов. Эту основу создает признание полного или относительного соответствия в агглютинативных языках количества грамматических показателей количеству грамматических значений.

Соответствие, о котором здесь идет речь, каким бы оно ни было в смысле регулярности, придает лексической структуре слова видимость синтаксического сочетания, с четко разграниченными местом, функцией и значением каждого члена. Так, например, в слове *ташларымдагылар* (татарск.) «находящиеся на моих камнях» можно выделить основу *таш* «камень», *-лар* — показатель множественного числа, *-ым* — показатель притяжательности 1-го лица ед. числа, *-да* — показатель местно-временного падежа, *-гы* — словообразовательный аффикс прилагательных, *-лар* — снова показатель множественного числа; в слове *йиҷлаштирадиганлардай* (узб.) «как те, которые заставляют [кого-то] плакать» можно выделить: *йиҷ* «плач» (ср. *йиҷи-сиҷи*), *-ла* — словообразовательный аффикс глагола, *-ш* — показатель взаимно-совместного «залога», *-тир* — показатель по-

---

[1] В статье рассматриваются агглютинация и так называемая «флексия основ», в частности, их роль и соотношение в морфологической структуре тюркских языков.

[2] По этому вопросу см.: О. Бетлинг, О языке якутов. Опыт исследования отдельного языка в связи с современным состоянием всеобщего языкознания, «Уч. зап. Имп. Акад. наук по Первому и Третьему отд-ниям», т. I, вып. 4, СПб., 1853, стр. 377—411; W. Radloff, Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen, «Зап. Имп. Акад. наук», VIII серия по Ист.-филол. отд-нию, т. VII, № 7, СПб., 1906, стр. 1 и сл.; А. К. Боровков, Агглютинация и флексия в тюркских языках, сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951, стр. 117—125; А. А. Холодович, Из истории японской лингвистики. Агглютинативная теория и проблема родственных связей японского языка, ИАН ОЛЯ, 1941, № 1, стр. 94—98; его же, Очерки по строю японского языка. Автореф. докт. диссерт. [Л., 1949], стр. 2—4.

нудительного «залога», *-а* — окончание «деепричастной» формы настоящего времени, *-диган* — показатель причастия настоящего времени, *-лар* — показатель множественного числа, *-дай* — показатель уподобления.

Различие флективных и агглютинативных форм в структурном отношении, а их показателей — в семантико-функциональном отношении послужило основанием для утверждения о том, что способы выражения грамматического значения в флективных и агглютинативных языках различны[1]. Раздельность агглютинативных показателей и кажущаяся близость лексической структуры слова в агглютинативных языках к синтаксическим сочетаниям были восприняты и истолкованы некоторыми исследователями как способ выражения грамматического значения самостоятельными словами или даже как отсутствие грамматической формы слова вообще (Г. Штейнталь). Однако еще О. Бетлинг на довольно большом количестве примеров показал несостоятельность этой точки зрения и отметил, что различие между формообразованием в индоевропейских языках, с одной стороны, и в тюркских, с другой, заключается главным образом в степени древности формообразовательных процессов[2].

Указывая на ошибку тех исследователей, которые придерживаются мнения, что в агглютинативных языках только в отдельных случаях грамматическое значение выражается не самостоятельными словами, и О. Бетлинг, и другие лингвисты прошлого столетия тем не менее единодушно признают источником развития агглютинативного показателя (прилепы) самостоятельное слово[3]. Мысль о развитии агглютинативных показателей из самостоятельных слов не вызывает никаких сомнений вплоть до настоящего времени.

Возникновение нового грамматического значения, а также появление новой грамматической формы слова тесно связываются с выделением в лексическом составе языка отдельных слов, обладающих высокой степенью обобщенности семантики, и с образованием различных сочетаний, представляющих собой изолированные, замкнутые системы, и, прежде всего, таких сочетаний, в которых в качестве подчиненного члена выступает служебное слово: вспомогательный глагол, послелог и т. д.[4]

---

[1] Так, например, Фр. Шлегель выделяет два способа выражения грамматических значений: органический (под которым он понимает внутреннее изменение звуков корня) и механический (*изменение путем наращения, присоединения к основе приклеиваемых частиц*). См. Fr. Schlegel, Ueber die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg, 1808, стр. 41—42.

[2] См. О. Бетлинг, указ. соч., стр. 409—410.

[3] См.: О. Бетлинг, указ. соч., стр. 380; Б. Дельбрюк. Введение в изучение языка, в кн.: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России т. I (XIII в.— 1825 г.), СПб., 1904, стр. 88—116.

[4] В числе сочетаний, имеющих все условия для превращения в грамматическую форму основного по своей семантике слова, иногда называют разного рода устойчивые сочетания, как-то: определительные (composita determinativa), например, узб. *әркак қўй* „баран" (*әркак* „мужчина, самец", *қўй* „овца"), *урғочи арслон* „львица" (*урғочи* „самка", *арслон* „лев"); слова-дублеты (mots échos), ср. *аҳсак-буҳсак* „всякие хромые" (МК, I, 465), башк. *коҙ-маҙ* „всякие гуси", *сәй-мәй* „чай и все относящееся к чаепитию"; редупликативные формы, например, узб. *қоп-қора* „совершенно черный", *қип-қизил* „совершенно красный"; лексический инклюзив (composita copulativa), например, башк. *ағай-эне* „братья" (*ағай* „старший брат", *эне* „младший брат"), *аяк-кул* „конечности" (*аяк* „нога", *кул* „рука"), *алтын-көмөш* „драгоценности" (*алтын* „золото", *көмөш* „серебро"), узб. *ота она* „родители" (*ота* „отец", *она* „мать"); парные слова синонимического типа (synonym-composita), ср. др.-тюрк. *сӗгӗт муңак* „печаль" (КВ, 19), башк. *дуҫ-иш* „друзья", *куй-һарык* „овцы" и т. д.

В статье приняты следующие сокращения:

МК (I—III) — [Mahmud Kaşgarî], „Divanü lûgat-it-türk" tercümesi"; çeviren B. Atalay, cilt I — III, Ankara, 1939 — 1941;

Примером развития грамматического показателя (прилепы) из служебного слова могут служить турецкий комитатив на *-ла*, *-lä* (после согласных), восходящий к послелогу *ilä*[1]; чувашский супин на *-машкăн*, *-мешкĕн* (ср. диал. *-макшăн*, *-мекшĕн*), образовавшийся путем присоединения к тюркскому инфинитиву на *-мак*, *-мэ̄к* послелога *öчöн* в соответствующей чувашской фонетической форме[2]; глагольная форма настоящего времени данного момента в диалектах узбекского языка (ср. ташк. *бȧрвȧтмäн* «я иду сейчас», *кэ̄lвȧтмäн* «я прихожу сейчас»; наманг. *бȧруттімäн*, *кэ̄lӱттімäн*; андиж. *бȧр(а)јапмäн*, *кэ̄l(ä)јапмäн*; самарк. *боропмäн*, *кэ̄löпмäн*), в составе показателя которой нетрудно обнаружить вспомогательный глагол *јат[ӣбмäн]* (1-е лицо ед. числа настоящего результативного от *јат-* «лежать»), и т. д.

В качестве примеров образования форманта путем слияния знаменательного или служебного слова, попавшего в сферу действия формообразования, с ранее существовавшим морфологическим показателем, приведем аффикс *-даш*, *-дäш*, который в составе имен выражает во всех тюркских языках значение совместности, сопутствия [ср. МК, I, 407: *карӣндаш* «родственник», «брат» (*карӣн* «чрево, живот»), *э̄мікдäш* «молочный брат» (*э̄мік* «сосок»)] и в котором этимологически выделяют *-да*, *-дä* — аффикс местного падежа и *äш* «товарищ, спутник»[3]; форму прошедшего результативного из южно-хорезмского диалекта узбекского языка [ср. *барпадӣ* < *барӣп* *εді* «шел (уже)», *г'εlвäді* < *г'εlin* *εді* «пришел (уже)»] и др.

Разбор приведенных выше примеров показывает, что при образовании показателя грамматической формы из служебных и в конечном итоге из самостоятельных слов происходят разные структурные изменения, направленные к тому, чтобы затемнить этимологические связи и устранить семантические основы конкретности и индивидуальности служебных морфем. Особое значение в этом процессе превращения знаменательных и полузнаменательных слов в показатели грамматического значения приобретает гармония гласных. Так, например, послелог *ile* в турецком языке обычно не подчиняется закону сингармонии гласных; в случае же, когда слово, к которому относится этот послелог, оканчивается на согласный, *ile* превращается в *le* и присоединяется к данному слову, в таком виде уже изменяясь согласно законам гармонии[4]. Дополнительным фактором, стимулирующим изменение служебных слов или форм, образованных из самостоятельных слов, является структурная аналогия (изосиллабизм); ср. в узбекском языке: по аналогии с *барармäн*, *бȧрамäн*, *бȧріпмäн* (т. е. с формами будущего времени, настояще-будущего и настояще-

---

KB — „Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun", Theil II—Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo, hrsg. von Dr. W. Radloff, St.-Petersburg, 1910;

Ṭiš. — Ṭišastvustik. Ein in türkischer Sprache bearb. buddhistisches Sūtra, I — Transscription und Übersetzung von W. Radloff. („Bibliotheca Buddhica, XII"), St.-Petersbourg, 1910;

«Сирāдж ул-кулӯб» — фотокопия уйгурской рукописи, хранящаяся в библиотеке Института языкознания в Ленинграде;

USp.— W. Radloff, Uigurische Sprachdenkmäler. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. Malov hrsg., Leningrad, 1928.

Арабские цифры обозначают страницы.

[1] См. J. Deny, Grammaire de la langue turque. (Dialecte osmanli), Paris, 1921, стр. 585.

[2] См. В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный язык в сравнительноисторическом освещении, ч. I, Чебоксары, 1954, стр. 42.

[3] Изложение гипотез относительно образования этого аффикса см.: Н. Остроумов, Этимология сартовского языка, Ташкент, 1910, стр. 49; J. Németh, A Turkish word in Curtius Rufus?, «Hirth anniversary volume», London, 1923, стр. 276; W. Radloff, указ. соч., стр. 31.

[4] См. J. Deny, указ. соч., стр. 585.

го результативного) возникло *бăрjапмäн* < *бăраjапмäн* < *бăра-jатïбмäн* (форма настоящего времени данного момента). Действие структурной аналогии в тюркских языках можно наблюдать также на истории развития уподобительных форм. В западных языках форма уподобления образуется при помощи аффиксов *-лаі*, *-läi* и *-даі*,*-дäі*. В языках восточно-туркестанской группы им соответствует аффикс *-даҕ*, *-дäг*. Однако в древнем восточно-туркестанском языке известна также форма уподобления на *-лаjу*, *-läjӱ̄*; см.: *адïҕлаjу jӱрӱр кішігä* «словно медведь идет на человека» (КВ, 64); *кәlңізläjӱ акmïміз* «мы мчались подобно бурным ручьям» (МК, I, 343); *улïшïб әрäн бöрläjӱ* «завыли люди словно волки» (МК, I, 189). Этимология данного показателя уподобления совершенно прозрачна: аффикс *-ла* является средством отыменного образования глагола, аффикс *-jу* — примета деепричастия. Совокупность этих двух морфологических наращений и дала аффикс *-лаjу*, так что первоначально, например, *адïҕлаjу* имело значение «омедвеживаясь». Однако, став в один ряд с другими способами выражения сравнительной характеристики факта, указанное сложное морфологическое образование проявляет тенденцию к чисто формальным изменениям, стимулом для которых служит структурная аналогия (ср. аффиксы уподобления *-даҕ*, *-дäг*, *-даі*, *-дäі* и *-сïҕ*, *-сіг*).

Структурная аналогия, таким образом, усиливает типизацию зависимых морфем. Приведенные выше материалы показывают, что процесс развития структуры изолированного сочетания в тюркских языках, в ходе которого зависимый член изменяется и превращается в морфему, характеризуется наличием по крайней мере двух моментов: во-первых, тенденции к усложнению господствующего в семантическом отношении слова (корня) при относительном постоянстве его; во-вторых, увеличения до максимума способности зависимого члена, превратившегося в морфему, к структурным изменениям, которые в конце концов ведут к сокращению морфемы до одного слога или одного звука[1]. Из сказанного следует, что образование агглютинативного показателя (прилепы) со всеми структурными изменениями его является следствием изоляции слова и вовлечения его в семантико-синтаксическую структуру того или иного разряда слов. В этой связи приобретает особый смысл замечание А. А.Потебни о том, что «фонетическая порча разрушает только то, что ей позволяют разрушать»[2].

2

Языковеды, занимающиеся изучением языков агглютинативного типа и, в частности, языков алтайской семьи, указывают на наличие в этих языках, помимо агглютинативного способа выражения грамматического значения, еще и способа, именуемого «флексией основ», «внутренней флексией» или «фонетическим способом образования слов»[3]. В этом случае

---

[1] Говоря о развитии моносиллабизма в морфеме, мы не расцениваем его как явление, присущее только морфологической части слова. В истории тюркских языков известно немало примеров, когда основы, состоящие из нескольких слогов, постепенно превращались в односложные. Именно это обстоятельство дало основание А. К. Боровкову заявить, что в тюркских языках «о неизменности основы можно говорить только в смысле тенденции к сохранению корневого вокализма» (А. К. Боровков, указ. соч., стр. 121).

[2] А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 47.

[3] Впервые изменения гласных в основе были отмечены В. Шоттом (см. W. Schott, Über das Altai'sche oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, Berlin, 1849, стр. 45, 46) и И. Грунцелем (см J. Grunzel, Entwurf einer vergl. Grammatik der Altaischen Sprachen nebst einem vergl. Wörterbuch, Leipzig, 1895, стр. 21, 22).

они имеют в виду чередования типа эвенк. *атиркан* «старуха»//*этиркэн* «старик», *аткӣ* «свекровь», «теща»//*эткӣ* «свекор», «тесть», *акин* «старший брат», «младший брат отца, матери»//*экин* «старшая сестра», «младшая сестра отца, матери»[1]; маньчж. *хаха* «мужчина»//*хэхэ* «женщина», *амила* «самец»//*эмилэ* «самка», *ама* «отец»//*эмэ* «мать», *арсалань* «лев»//*эрсэлэнь* «львица»[2] халх.-монг. *аадж и* «дядя»//*ээдж и* «бабушка», монг.-письм. *abai* «отец, батюшка»//*ebei* «матушка», *аха* «старший брат, старший вообще»//*eke* «мать, старшая вообще»[3].

Явление «флексии основ» или «внутренней флексии» отмечается как средство обозначения «рода» (точнее сказать пола)[4] и других грамматических значений, а также как средство изменения социальной, лексической и стилистической окраски слова.

В современных тюркских языках случаи так называемой внутренней флексии немногочисленны, тем не менее они примечательны и в совокупности составляют особую группу. Примеры: башк. *кайны* «свекор», «тесть»//*кәйнә* «теща», *бысыу* «пилить, рубить»//*бесеү* «кроить, резать», *сукыу* «клевать»//*сүкеү* «клепать, ковать», *ныпырыу* «гладить»//*непереү* «мести, подметать», *нылтау* «сваливать»//*нелтәү* «махать, махнуть», *колон* «жеребенок»//*көлөкәй* «жеребеночек», *бызау* «теленок»//*безәүкәй* «теленочек»[5]; татарск. *ачы* «горький»//*эче* «кислый»[6], *ана* «мать»//*әни* «мама» (ласкат.), *ата* «отец»//*әти* «папа»; узб. *ака* «старший брат», *ука* «младший брат» //*ӓкӓ* «старшая сестра» (МК, I, 86, 90). В ряде случаев явление «внутренней флексии» сочетается с приемами повторения основы и существует только в связи с этими приемами; ср. башк. *тимер-тумыр* «всякое железо»[7], *јәш јүш=-јәш мәш* «всякая зелень» (МК, III, 4), *јәшil јүшүl=-јәшil мәшil* «всякое зеленое» (МК, III, 19).

Говоря о происхождении указанных пар слов, необходимо разграничивать примеры типа *ата*//*әти* (татарск.) и *тимер-тумыр* (башк.). В последних (как и в дублетных сочетаниях вообще) имеет место произвольное изменение слова, часто без связи с существующими в языке типами сингармонических противопоставлений.

Различение же случаев типа *ата* и *эти* лежит исключительно в плоскости палатально-велярной гармонии гласных[8], явления, заключающегося

---

[1] В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 44.

[2] И. Захаров, Грамматика маньчжурского языка, СПб., 1879, стр. 65, 118.

[3] См.: Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, Л., 1929, стр. 130; Т. А. Бертагаев, Флексия основ в агглютинативных языках, «Сб. трудов по филологии», вып. 1, Улан-Удэ, 1948, стр. 99.

[4] Б. Я. Владимирцов указывает: «К заднему гуттуральному ряду монголы относили и отчасти относят теперь все сильное, большое, мужское, а к переднему — палатальному все слабое, малое, женское, так же, как и относящиеся к этим двум родам действия» («Сравнительная грамматика...», стр. 133—134; см. также стр. 127, 130); см. его же, Следы грамматического рода в монгольском языке, «Докл. Росс. Акад. наук», Серия В, Л., 1925, апрель—июнь, стр. 34.

[5] Д. Г. Киекбаев, Вариантные слова, или сингармонические параллелизмы, в башкирском языке, «Уч. зап. Башк. гос. пед. ин-та», вып. V, Серия филологическая, № 1, Уфа, 1955, стр. 145, 146.

[6] Л. З. Заляй, Основы татарской орфоэпии, «Изв. АПН РСФСР», вып. 40, М., 1952, стр. 95.

[7] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 77.

[8] В новейших исследованиях под влиянием работ Н. С. Трубецкого (см. N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, 1939, стр. 251) в понятия «гармония гласных» и «сингармонизм» вкладывается разное содержание.

в том, что каждое слово характеризуется наличием только передних или только задних звуков, а вокализм присоединяемых аффиксов всецело зависит от вокализма основы. Гармония гласных не исчерпывается уподоблением твердых гласных твердым и мягких гласных мягким[1], однако следует отметить, что все другие виды гармонии гласных играют в тюркских языках второстепенную роль по сравнению с палатально-велярной гармонией.

То обстоятельство, что различение форм типа *ата* и *эти* лежит в плоскости палатально-велярной гармонии гласных, обычно вызывает повышенный интерес к природе этого последнего явления и способствует распространению среди некоторых алтаистов той точки зрения, что будто бы наличие в алтайских языках сингармонических параллелизмов, имеющих разные значения, является пережитком эпохи, когда гармония гласных выступала как «лексико-фонологическая система», т. е. «своеобразная и специфическая внутренняя флексия основ»[2]. Считая сингармонизм наиболее ранним и примитивным способом выражения грамматического значения, Г. Д. Санжеев противопоставляет его агглютинации как способу наиболее позднему и совершенному[3].

Развивая эту точку зрения, Г. Д. Санжеев ссылается на труды выдающегося русского алтаиста акад. Б. Я. Владимирцова и, в частности, на его высказывание о том, что в халхаском языке «такие параллели, как *аххӑ* «старший, старший брат»//*еххӗ* «старшая, мать», сохранились от праязыкового состояния, когда при помощи сингармонизма монгольский язык производил различие по родам»[4]. Следует отметить, однако, что под праязыковым состоянием Б. Я. Владимирцов понимает только монгольский праязык; кроме того, здесь же и в следующих параграфах он указывает на «социальную причину» подобного использования сингармонических параллелизмов в монгольском языке (ср. разделение звуков на «мужские» и «женские»)[5]. Г. Д. Санжеев ссылается также на работы Т. А. Бертагаева. В самом деле, Т. А. Бертагаев в своей статье «Флексия основ в агглютинативных языках» говорит о флексии основ в монгольских и тюркских языках и приводит значительное число примеров «дифференциации звуков по признакам рода»[6]. Однако в этой же самой статье Т. А. Бертагаева имеется специальный раздел, посвященный неустойчивости фонетической нормы монгольских языков и, в частности, вокализма не первых слогов. И хотя в одном месте Т. А. Бертагаев говорит об «изменении фонем в зависимости от значимости слов», все-таки дальше он признает, что семантическая филиация предполагает в качестве одного из условий образования новых слов вариантность звучания[7].

Оставляя в стороне большой и сложный вопрос о гармонии гласных вообще, отметим, что рассмотрение таких соотношений, как татарск. *ата* «отец»//*эти* «папа», в связи с использованием в алтайском праязыке гар-

---

[1] *Подробное изложение разных точек зрения по вопросу о гармонии гласных* см. у И. Грунцеля (J. Grunzel, Die Vocalharmonie der altaischen Sprachen, «Sitzungsberichte der philos.-hist. Cl. der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften», Bd. 117, Jg. 1888, III. Abhandl., Wien, 1889, стр. 1—42) и И. Крамского (J. Krámsky, Über den Ursprung und die Funktion der Vokalharmonie in den ural-altaischen Sprachen, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 106, Heft 1, N. F.—Bd. 31, Wiesbaden, 1956, стр. 117—134).

[2] См. Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М., 1953, стр. 116.

[3] См. там же, стр. 118.

[4] Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика..., стр. 133.

[5] См. там же, стр. 133, 134.

[6] Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 98 и сл.

[7] См. там же, стр. 99 и 114.

монии гласных в качестве приема словообразования вряд ли можно считать достаточно обоснованным.

Важно отметить, что при наличии гармонии гласных в тюркских языках существует большое количество слов, выступающих в двух сингармонических вариациях — твердой и мягкой, но передающих одно и то же значение (Й. Балашша называет такие слова «сингармоническими параллелизмами», Д. Г. Киекбаев — «вариантными словами»). Подобные слова встречаются как внутри языка и его диалектов (ср. башк. *асы* и *әсе* «горький, кислый», *аҙ* и *әҙ* «мало», *акрын* и *әкрен* «тихий», *налмак* и *нәлмәк* «увесистый», *йалбыраҫ* и *елберәҫ* «торчать», *йан* и *йән* «душа»[1]; казахск. *чай* и *чәй* «чай», *тыйын* и *тиін* «белка»; туркм. *айтты* и *әйтти* «сказал»), так и внутри разных языков (ср. башк. *байрам*, татарск. *бәйрәм* «праздник»; башк. *айран*, татарск. *әйрән* «айран»; башк. *кәңәш*, чув. *канаш* «совет»; башк. *йәш*, кирг. *жаш* «молодой»; башк. *бәйләнеш*, казахск. *байланыс* «связь»; башк. *йән*, татарск. *йон* «шерсть»; башк. *йәбештереҫ*, татарск. *ябыштыру* «клеить»[2]; чув. *хӗрлӗ*, татарск. *кызыл* «красный»; чув. *хӗсӗр*, узб. *қисир* «яловая»; чув. *çемçе*, татарск. *йомшак* «мягкий», чув. *чӗрне*, туркм. *дырнак* «ноготь»; чув. *алăк*, башк. *ишек* «дверь»; чув. *кăнтăр*, татарск. *көндез* «днем»[3]; тур. *jeşil*, казахск. *жасыл* «зеленый»; туркм. *өкүз*, якут. *оҕус* «бык»), или же являются фактом диахронического порядка [например, *пӣшмак* «созревать» (Tiš., 50a), *пӣшӣҳ* «вареное» (МК, III, 321), ср. татарск. *пешерелгән* «вареный»; *тӣлӣҳ* «язык» (вин. пад.) (КВ, 93), ср. татарск. *телгә* «языку»; *узук* «кольцо» («Сирәдж ул-кулуб», 112б), ср. *йүзүк* (там же, 35б), узб. *узук*; *ӣтлӣҳ* «собачий» (МК, I, 98), ср. татарск. *этлек* «наглость»; *ӣш* «дело», (USp., словарь-указатель, 305), *ишкә* (там же, 14) и т. д.].

Ср. в монгольском языке, например, монг.-письм. *ӣγ* ~ *iγ*//*ig* «прядильное веретено», *bičixan*//*bičiken* «маленький», *busuruγ*//*büsürüg* «красноватая сыпь», *moriłaxu*//*möriłekü* «отправляться», *čangkir*//*čengkir* «беловатый, синевато-беловатый» и т. д.[4]

Неустойчивость звукового состава в слове является чертой, присущей в той или иной мере всем современным тюркским языкам. В древности она была характерна для большого количества слов; возможно, что некоторые слова, различающиеся в современных тюркских языках типом сингармонизма (мягкостью или твердостью; значительно реже — наличием лабиализованных и нелабиализованных гласных)[5], обязаны своим существованием, с чисто формальной стороны, именно этой неустойчивости.

Нет необходимости доказывать, что неустойчивость качества гласных в смысле мягкости или твердости находится в прямой зависимости от возможности перехода слова по характеру его вокализма от одного ряда к другому (т. е. от твердого ряда к мягкому; обратный переход чрезвычайно редок).

Указанный переход давно интересовал тюркологов и, по мнению В. Банга, представляет самое запутанное явление во всей языковой ис-

[1] Д. Г. Киекбаев, указ. соч., стр. 143.

[2] Там же, стр. 144. См. также П. К. Дмитриев, Чередование гласных заднего и переднего ряда в одном и том же корне отдельных тюркских языков, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 115.

[3] См. В. Г. Егоров, указ. соч., стр. 168, 169.

[4] См. Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика..., стр. 127, 128.

[5] Примеры слов этого рода см.: Л. Н. Харитонов, Современный якутский язык, ч. I — Фонетика и морфология, Якутск, 1947, стр. 80; Н. А. Баскаков, Уйгурский вокализм, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I, стр. 119—121.

тории тюрок[1]. В. В. Радлов сравнивает его с немецким умлаутом и объясняет как результат воздействия вокализма не первых слогов на вокализм начальной части слова[2]. Аналогичное объяснение указанному явлению в современных уйгурских наречиях Восточного Туркестана дает Г. Ярринг, отмечающий, что все случаи палатализации или сужения в них широких гласных связаны с наличием в смежных или, точнее, последующих слогах гласного *ї(i)*[3]. В односложных словах палатализация *а*, как полагает Б. Мункачи, объясняется наличием анлаутного *j*, например, *jäl* (< *jал*) «грива», *jäш* (< *jаш*) «возраст», *jäш* (< *jаш*) «слеза», *jäт* (< *jат*) «чужой»[4]. Такого же мнения по вопросу о палатализации *у* и *а* в койбальском языке придерживается Л. Адам[5].

И точка зрения В. В. Радлова, и точка зрения Б. Мункачи представляются нам вполне справедливыми. Нетрудно согласиться с тем, что воздействие *i* (< *ї*) и *j* на качество гласных и согласных звуков в слове чрезвычайно велико. Неслучайно звук *i* (< *ї*) многими исследователями финно-угорских и алтайских языков ставится вне сингармонизма и характеризуется как разрушитель его системы.

К этому необходимо добавить следующее. Тот факт, что переход гласных от одного ряда к другому почти во всех случаях происходит в виде превращения слов с твердым вокализмом в слова с мягкими, или палатальными гласными (но не наоборот)[6], свидетельствует о связи рассматриваемого нами перехода с общей эволюцией звуков. Все звуки тюркских языков на протяжении большого периода времени эволюционировали в направлении опереднения артикуляции. Естественно, что в наибольшей мере и раньше всех оказался подверженным этому процессу гласный *ї*. Поэтому возможность образования «мягкой» разновидности слова при параллельном употреблении его в «твердом» варианте или замене им «твердого» варианта является не только следствием влияния *i* или *j*, но и результатом соответствующего развития фонетической системы тюркских языков в целом.

Появление «мягкого» варианта не обязательно ведет к исчезновению «твердого». «Твердый» вариант может существовать и обычно существует наравне с «мягким»[7]. Большое количество примеров такого сосуществова-

---

[1] W. Bang, Zum Vokalismus, в кн.: W. Bang und J. Marquart, Osttürkische Dialektstudien, Berlin, 1914, стр. 6. Большое количество примеров такого перехода можно встретить, например, в «Codex Comanicus»: *кiздäн* (<*кїьдан*) «от девочки», *jэнä* (<*jана*) «еще», *чiбугi* (<*чїбугї*) «его прут», *äтiнä* (<*атїна*) «к его лошади» (см. его же, Der komanische Marienpsalter nebst seiner Quelle, там же).

[2] W. Radloff, Phonetik der nördlichen Türksprachen (Vergl. Crammatik der nördlichen Türksprachen, Theil I), Leipzig, 1882, стр. 64, п. 82.

[3] См. G. Jarring, Studien zu einer osttürkischen Lautlehre, Lund — Leipzig, 1933, стр. 90—94.

[4] См. «Keleti szemle», t. XV, Budapest, 1914—1915, стр. 324.

[5] L. Adam, De l'harmonie des voyelles dans les langues ouralo-altaïques, Paris, 1874, стр. 50—51.

[6] Ср. у Д. Г. Киекбаева: «Первичной формой сингармонических параллелизмов (или вариантных слов) являются формы с гласными заднего ряда. Вариант с гласными переднего ряда является вторичным образованием...» (указ. соч., стр. 149).

[7] В этой связи заслуживает особого внимания вопрос о некоторых особенностях тюркского вокализма, например, о строгом делении гласных на два ряда: твердый (*а*, *о*, *у*, *ї*) и мягкий (*ä*, *ö*, *ӱ*, *i*); о соотношении в праоснове «твердости» и «мягкости» гласных (т. е. вопрос о первичности более задней или более передней артикуляции). Уже сейчас есть основания предполагать, что различению твердых и мягких гласных в древности предшествовало различение всех согласных по мягкости и твердости (ср. *р* и *р'*, *т* и *т'*, *к* и *к'*, *л* и *л'* и т. д.), которое нашло свое наиболее полное отражение в системе рунического письма и частично сохраняется в настоящее время. (См. G. J. Ramstedt, Die Palatalisation in den altaischen Sprachen, «Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia», Ser. B. t. XXVII, Helsinki. 1932, стр. 247 и сл.).

вания приведено нами выше. Наличие двух фонетических вариантов одного и того же слова с одним и тем же значением создает почву для изыскания дополнительных возможностей выражения новых лексических и грамматических значений. Если, например, в башкирском языке *асы* и *эсе* не различаются по значению («горький»), то в татарском языке такое различение уже имеет место: *ачы* «горький», *эче* «кислый»[1]. Таким образом, сингармонизм, будучи чисто фонетическим явлением (при возникновении вариантных слов противопоставление твердости и мягкости не имело фонологического значения), впоследствии приобретает видимость фонологической или лексико-фонологической системы.

Одним из доказательств того, что различение значений в плане сингармонии не связано с использованием ее как фонологической или лексико-фонологической системы, является характер тех значений, которые выражает обычно вариантная форма. Как правило, это оттенки основных значений. Важно отметить и другое. Если бы существование так называемой внутренней флексии было обусловлено использованием гармонии гласных как *лексико-фонологической системы*, были бы известны (и в большом количестве) примеры образования не только «мягких» вариантов параллельно «твердым», но и «твердых» параллельно «мягким»[2].

На основании всего изложенного выше можно прийти к выводу, что так называемая флексия основ в тюркских языках является следствием определенных фонетических закономерностей, не имеющих непосредственного отношения к образованию морфологического типа. Она носит характер эпизодического столкновения и противопоставления вариантных слов; эти процессы возникают в условиях тесных диалектных взаимоотношений, взаимовлияний родственных языков и т. д. Поэтому на самом деле «флексия основ» является, как справедливо замечает Н. А. Баскаков (имея в виду, правда, другие случаи), «ложной флексией»[3], и противопоставлять ее как способ выражения грамматических значений агглютинации, по меньшей мере, ошибочно. Способ агглютинации следует признать единственным способом выражения грамматических значений как в древних, так и в современных тюркских языках[4].

---

[1] См.: Д. Г. Киекбаев, указ. соч., стр. 145; Л. З. Заляй, указ. соч., стр. 95.

[2] Некоторое количество таких примеров приводит М. Рясянен [см. M. Räsänen, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen («Studia Orientalia», XV), Helsinki, 1949, стр. 57—59], однако большинство приведенных им примеров может быть отнесено как раз за счет образования «мягких» вариантов параллельно «твердым»; в некоторых же примерах наблюдается переход мягкого качества от гласных к согласным (ср. в караимском языке: *k'oz'um'da*<*közümdä* «в моих глазах», стр. 59), да и то, как отмечает М. Рясянен, это явление часто приписывают иноязычному влиянию.

[3] См. Н. А. Баскаков, указ. соч., стр. 119.

[4] Разумеется, мы не принимаем здесь во внимание такие приемы выражения грамматических значений, как, например, ударение, порядок слов и т. д.

№ 1 1957

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. МИКУШ

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ СТРУКТУРАЛИЗМА И СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ*

Своевременная инициатива редакции журнала «Вопросы языкознания», решившей начать обсуждение проблем лингвистического структурализма, будет несомненно приветствоваться многими лингвистами. Ведь они далеко не удовлетворены современным положением общего и теоретического языкознания, которое в настоящее время не способно служить фундаментом для частных областей лингвистики и для применения языкознания к потребностям современной жизни.

* От редакции. В связи с обсуждением проблем структурализма на страницах «Вопросов языкознания» югославский языковед Ф. Микуш (Любляна), стоящий на позициях синтагматического структурализма, прислал в редакцию публикуемую нами статью, а также обширное письмо, в котором излагает свои мысли о синтагматике, ее происхождении, современном состоянии и программе на будущее. Материалы этого письма были использованы при составлении настоящего редакционного примечания.

Ф. Микуш в своих работах развивает основные принципы женевской школы, например, положения о двучленности синтагмы, линейности речи, функциональном характере соотношения языка и речи и т. д. Синтагматику Ф. Микуш считает не одним из возможных направлений в лингвистике, а рассматривает ее как единственную структуральную теорию, возможную при изучении имманентной структуры речевой деятельности и языка, а также имманентных (грамматических, синтагматических) функций языка и речи. Ф. Микуш считает необходимыми критику так называемой досинтагматической лингвистики и переход всех ее направлений на позиции синтагматического структурализма. По мнению Ф. Микуша, основные принципы синтагматики должны лечь в основу логики, психологии, прикладной лингвистики. Ф. Микуш считает также, что синтагматика может во многом способствовать созданию машин для перевода. Лингвистические взгляды Ф. Микуша изложены им в следующих работах: 1) «Le syntagme est-il binaire? («Word», vol. 3, № 1—2, 1947, стр. 32—38). В статье выдвигается положение о диалектической природе синтагмы. Критические замечания Фрея по поводу этой статьи Ф. Микуша напечатаны в журнале «Word», vol. 4, № 2, 1948, стр. 65—70; 2) «A propos de la syntagmatique du professeur A. Belić» (Ljubljana, 1952). Основным содержанием этой книги является полемика с положениями, содержащимися в книге А. Белича (А. Белић) «О језичкој природи и језичком развитку» (Београд, 1941); 3) «Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?» («Lingua», vol. III, 4, 1953, стр. 430—470. В статье дается ответ на критику А. Фрея и излагаются основные принципы синтагматики; 4) «Edward Sapir et la syntagmatique» («Cahiers F. de Saussure», 11, 1953, стр. 11—30). В статье делается попытка истолковать лингвистическую концепцию Э. Сэпира в свете положений синтагматики; 5) «Jan V. Rozwadowski et le structuralisme syntagmatique» («Lingua»: vol. V, 1, 1955, стр. 1—44 и vol. V, 2, 1956, стр. 145—204). В статье излагаются основы так называемой диахронической синтагматики. При этом с точки зрения синтагматического структурализма рассматривается работа Я. Розвадовского «Wortbildung und Wortbedeutung»; 6) статьи «La notion de valeur en linguistique» («Lingua», vol. III, 1, 1952, стр. 98—103) и «Stylistique et économie politique» («Lingua», vol. IV, 1, 1954, стр. 97—98) посвящены вопросам теории ассоциаций. Ф. Микуш подготавливает в настоящее время диссертацию «Principia syntagmaticae de unitate orationis structurae tractanda».

Ф. Микушем написана также статья «Kako se francoščina prilagaja terminologiji modernih politekonomskih kategorij?» («Ekonomski zbornike Pravno-ekonomske fakultete», Ekonomski oddelek, I letnik, Ljubljana, 1956).

Не может пройти мимо дискуссии и синтагматическая структуральная теория. Несмотря на то, что эта теория возникла совсем недавно и поэтому положения ее еще далеки от окончательных формулировок, мы уже сейчас можем занять определенную позицию по отношению к намечаемой дискуссии и, стремясь принять в ней активное участие, для начала хотя бы вкратце ответить на вопросы, предложенные редакцией «Вопросов языкознания».

1. Лингвистический структурализм, очевидно, представляет собой область лингвистики, объектом изучения которой является имманентная структура речи и лингвистического знака. Поэтому с целью выявления конкретно данных и поддающихся анализу элементов языка структуральная лингвистика занимается прежде всего изучением речевой деятельности в целом. Вместе с Соссюром представители структуральной лингвистики видят в речевой деятельности синтез я з ы к а и р е ч и (разве это не структуральный анализ?). Под языком понимается система автоматизированных знаков и приемов, приобретенных в результате практики и непосредственных социальных контактов каждого члена коллектива. Под речью же имеется в виду п р и м е н е н и е языка; при этом говорящий пользуется автоматизированными приемами, предоставляемыми в его распоряжение языком.

Как я пытался показать в одной из своих работ[1], язык и речь соотносятся между собой главным образом в ф у н к ц и о н а л ь н о м плане. Тем самым в лингвистику вводится понятие «функции». Как это основное соотношение, так и все прочие оказываются функциональными. Вот почему синтагматическая теория исходит из примата функций над соотношениями, структурой, элементами, формами и на основе диалектически взаимозависимых и присущих изучаемым предметам функций пытается определить не только язык и речь, но и любую лингвистическую структуру, обнаруженную в результате анализа самих языка и речи.

Структуральный анализ речевой деятельности, расчленяющий ее на язык и речь, позволяет нам, путем дальнейшего исследования, ясно разграничить з н а к я з ы к а и з н а к р е ч и (при этом имеется в виду, что понятие знака в достаточной мере определено). Под знаком языка мы понимаем автоматизированный и относительно постоянный знак (для функционирования языка постоянство является conditio sine qua non). Под знаком речи понимается знак, создаваемый при каждом речевом акте по определенным схемам, в рамках которых, в соответствии с потребностями говорящего, может происходить свободная замена одних знаков языка другими. Эти знаки неустойчивы, так как они разделяются на части тотчас же после прекращения речи (дискурсивность знака речи). В противоположность языку животных сущность человеческого языка и состоит именно в возможности создавать знаки речи во время самой речи, в соответствии с определенными автоматизированными приемами, предписываемыми языком. Поскольку мы говорим о свободном образовании знака речи, следует ввести понятие «структуры». Структура немыслима без свободного построения знака речи, так как автоматизированный знак, относительно постоянный и застывший с точки зрения функций и структуры, в принципе неразложим (поддающиеся анализу автоматизированные знаки разлагаются на простые, например, франц. *re-coudre*, *poir-ier* и т. д.). Можно говорить о фонологической структуре этих знаков, но и только. Знаки *maison*, *pierre*,*-ier* (*poir*),*re-*(*coudre*) не поддаются никакому другому анализу, кроме фонологического.

[1] См. F. M i k u s, Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?, стр. 469.

Определив, таким образом, автоматизированный знак, обратимся к дискурсивному знаку и попробуем выявить его структуру. Этот анализ будет также полезен для понимания сущности составного автоматизированного знака (*re-coudre, poir-ier*), так как между знаком языка и знаком речи не существует четкого разграничения. Как первый, так и второй возникают в процессе речевого акта; разница лишь в том, что знак языка впоследствии автоматизируется, а знак речи разделяется на составные части. Какова же структура составных знаков? Когда люди начали размышлять о сущности речи, они заметили, что структура этих знаков двучленна. Однако сначала такую двучленность приписывали случайности, так как она не всегда была вполне очевидна. Синтагматическая теория, напротив, настаивает на этой двучленности и выводит из нее общий принцип структурного синтагматического единства речи. [Любая лингвистическая структура является синтагмой в соссюровском понимании. В моих работах синтагма определяется как структурный тип (ячейка) речи]. Правда, понятие координации долго запутывало эту проблему (ни последователи глоссематики, ни представители нэйльской школы не смогли ее прояснить); на основе же синтагматической теории было обнаружено, что координация по сравнению с синтагматикой представляет собой примитивный «синтаксис» (с функциональной, а возможно, и с генетической точки зрения), подчиненный в настоящее время принципам синтагматики. В терминах синтагматической теории координация определяется как способ соединения синтагматически-гомофункциональных знаков[1].

Считая понятие синтагмы достаточно определенным, следует поставить вопрос, чем объясняется ее двучленность. Как я пытался показать в своих работах, двучленная структура синтагмы объясняется ее природой, а именно тем, что она представляет собой диалектическое единство двух частей, выполняющих по отношению друг к другу две взаимозависимые, взаимосвязанные и взаимоопределяемые функции. Таким образом, мы снова оказываемся в сфере функционализма, в данном случае функционализма, свойственного составному знаку (signe articulé) («грамматический» функционализм). Этот функционализм определяет не только двойственный характер синтагмы, но и соотношение ее элементов, которое может быть лишь синтагматическим, т. е. связывающим два функционально допол-

---

[1] *Под термином «гомофункциональный знак» [в отличие от термина «гетерофункциональный (гетерокатегориальный) знак»]* Ф. Микуш понимает знаки, которые выполняют одинаковые специализированные функции. Такими гомофункциональными знаками являются, например, лат. *Pluit! Latrat! Albus! Canis! Saltat!* При помощи таких монорем синтетически можно одновременно выразить различные отношения (пространственные, временные, качественные и т. д.). Если моноремы располагаются в речи по какому-либо общему принципу, например, если они обозначают определенную ситуацию, или если они относятся к какому-то одному предмету или явлению, то мы говорим уже не об их соположении (juxtaposition), а о координации. Ср. лат. *Latrat! Canis! Saltat!* Взаимодействие двух самостоятельных монорем, принадлежащих к функционально дополняющим друг друга категориям, ведет, по Ф. Микушу, к образованию диремы (синтагмы).

Ниже следует приводимая Ф. Микушем (см. F. • Mikus, Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?, стр. 436—438) схема превращения отдельных гомофункциональных знаков, связанных путем координации, в синтагмы, и схема функций, выполняемых этими членами:

Canis!	—	*Latrat*	*Canis latrat!*
пространство*		пространство→О	пространственно-
время*→О**		время	временное
качество*→О		качество→О	отношение

*Отношения, выражаемые моноремой. **Сведено к нулю. *Прим. переводчика.*

ющих друг друга взаимосвязанных и (функционально и генетически) взаимообусловленных элемента.

В чем же состоят две функции, о которых идет речь? Согласно недавно предложенному мной определению[1], любой лингвистический знак понимается как фоно-акустическая «ценность», обладающая известной значимостью. Благодаря этому лингвистический знак является прежде всего о т о ж д е с т в л я ю щ и м, так как он выполняет функцию отождествления (О). Однако, если принять во внимание то обстоятельство, что нет отождествления без различения (Р) (диалектическое единство О и Р), становится понятным, что знак одновременно и отличает данную значимость от других значимостей. Так, основанный на восприятии цветов знак *rouge* «красный» указывает на определенный цвет благодаря тому, что он в то же время отграничивает его от других цветов. Следовательно, этот знак является отождествляюще-различающей «ценностью», которая имеет значимость «красный цвет» или «качество быть красным».

Синтагма также является отождествляюще-различающей «ценностью», имеющей целостную значимость. Но поскольку синтагма является сложным образованием, функции отождествления и различения распределяются между двумя ее частями; при этом одна из них выполняет по отношению к другой только функцию отождествления (ФО), а вторая — функцию различения (ФР), в результате чего получается целостная значимость обеих частей (т. е. всей синтагмы). Ср., например:

Прогрессивная последовательность		Превосхищающая последовательность	
ФО	ФР	ФР	ФО
robe	*rouge*	*красная*	*армия*
Pierre	*dort*	*poir-* ——— }	
sans	*argent*	*pomm-* ——— }	*-ier*
nous sortirons	*s'il fait beau*	*prun-* ——— }	
moulin	*à vent* и т. д.	*s'il fait beau*	*nous sortirons*
		Wind	*-mühle* и т. д.

Здесь мы имеем дело с функционализмом, имманентным для составного знака (синтагмы). Повторяем, этот функционализм основывается на общей функции языка и знака и состоит в следующем.

Любой лингвистический знак обладает с е м и о л о г и ч е с к о й функцией (т. е. функцией отождествлять и различать значимости). Это общая, бихевиоральная («поведенческая») или внешняя функция знака. В противоположность простому знаку, знак-синтагма обладает также внутренними присущими ему функциями. Эти внутренние функции знака-синтагмы образуются (одна по отношению к другой) благодаря разделению семиологической функции (ФО + ФР) между двумя членами синтагмы, один из которых осуществляет (по отношению к другому) только функцию отождествления, а другой — только функцию различения. Именно это внутреннее разделение функций определяет структуру синтагмы, равно как и соотношение, связывающее оба ее члена. При таком понимании лингвистического структурализма он представляется совсем несамостоятельным, так как является лишь другой стороной языкового (синтагматического) функционализма, который определяет как структуру составного знака, так и соотношение его элементов. Что касается дальнейших подробностей — отсылаю к моим работам и особенно к подготавливаемым мною «Principia syntagmaticae de unitate orationis structurae tractanda».

[1] В статье «En marge du Sixième Congrès international des linguistes»,— сб. «Mélanges Martinet», La Laguna (в печати).

2. Опыты структурального изучения языка восходят к глубокой древности. Любая школа или направление в лингвистике в той или иной мере содержит элементы структурализма и может вплотную приблизиться к синтагматическому структурализму (это относится, например, к «синтаксическому разложению»)[1] или к методу «непосредственно составляющих». Однако ни одна лингвистическая школа, которая не определила типическую структуру языка, не может считаться полностью структуральной. Такая школа будет поглощена и преодолена той теорией, которой удалось обнаружить эту структуру и изучить законы ее проявления в языке и речи в синхронном и диахронном планах. То же можно сказать и о классической грамматике (см. ниже).

В самом деле, синтагматическая теория не считает ошибочным ни одно из направлений лингвистического структурализма, а лишь признает их примитивными. Она предвидит превращение этих направлений в синтагматический структурализм (по этому вопросу см. мои работы о Сепире и Розвадовском).

3. Как только человек начал размышлять над языком, он различил в нем лингвистические структуры, которые вначале определялись весьма примитивно и эмпирически. Вскоре, однако, выяснилась комбинаторная природа речи, а также и то, что язык состоит из автоматизированных знаков, называемых словами и способных образовывать в свою очередь неустойчивые структуры, главная из которых именуется ф р а з о й. Стержень «с л о в о — ф р а з а» послужил основой для построения структурной и функциональной системы классической грамматики. Согласно этой грамматике, *слово не поддается никакому дальнейшему анализу*, а фраза — это внутренне уравновешенная, законченная, самостоятельная структура, которая может функционировать в качестве единицы языкового общения. Следовательно, элементы синтагматического структурализма обнаруживаются в любой школе, направлении, теории, каждая из которых может быть «превращена» в синтагматический структурализм, так как они не ошибочны, а лишь характеризуются примитивным эмпиризмом.

4. Пока на основе синтагматической теории не будут разработаны универсальные синтагматические категории, единое и исчерпывающее описание языков невозможно.

Так как синтагматика является основной частью теории речи, изучение других сторон речевой деятельности и отдельных языков должно подчиняться ей: ассоциативная система полностью определяется синтагматическими специализированными (частными) функциями, а изучение лексики может проводиться лишь одновременно с изучением синтагм. Естественно, что такое изучение лексики требует, как это предвидел Блумфилд, *поддержки со стороны всех других наук*, выступающих в качестве вспомогательных для лингвистов. В области фонетики синтагматика должна создать новое учение, более приспособленное к потребностям этой теории. Это фонетическое учение, как и синтагматика, должно исходить из аксиомы линейности языка: если означающее, как утверждает де Соссюр, имеет линейный характер (что сообщает линейность как языку в целом, так и его частным проявлениям), то эта линейность должна быть основана на линейных фонетических единицах, как бы бесконечно малы они ни были. В противоположность классической фонетике, основанной на изучении количества, синтагматическая теория предусматривает фонетику, построенную на изучении фонетических квант (quanta).

[1] См. K. T o g e b y, Structure immanente de la langue française, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», vol. VI, 1951, стр. 92 и сл.

5. В более или менее отдаленном будущем синтагматическая теория предусматривает проведение изоморфных описаний всех языков мира. Это и является конкретной целью синтагматики. Синтагматические структурные описания должны заменить современные «грамматики». Эти описания будут проводиться на основе единой схемы, разработанной в результате определения универсальных синтагматических типов.

6. О соотношении фонетики с синтагматической теорией см. выше. Однако это соотношение в дальнейшем должно быть изучено еще более тщательно.

7. В соответствии с положениями де Соссюра[1] синтагматическая теория не видит принципиальной разницы между синтаксической, морфологической и лексической структурой. Согласно синтагматической теории (это будет показано в моих «Principia»), следует проводить непрерывный двучленный анализ (синтагматическое разложение), пока материал не будет исчерпан, т. е. вплоть до выявления минимального знака (знака, не поддающегося дальнейшему разложению, кроме фонологического). Синтагматический анализ равномерно движется от этого знака («монемы, абсолютного формального минимума») к дикто-модальной синтагме, занимающей высшее место в иерархии[2]. Анализ начинается с дискурсивных синтагм и переходит к синтагмам полуавтоматизированным («падежные формы», «глагольные формы» и т. п.) и автоматизированным («сложные слова», «производные слова»). Анализ завершается, когда в исходе получаются единицы, определенные выше как формальный минимум. Весь этот процесс основан на моем принципе диалектического сцепления меньших структур в большие, причем каждая из этих структур является синтагмой. Между синтагмами не может быть других отличий, кроме морфологических (см. ниже) и функциональных, так как разные типы синтагм выполняют неодинаковые синтагматические (специализированные) функции в первой следующей синтагме высшего порядка. Понятно также, что различия между синтагмами носят еще и семиологический характер. Однако, как учит синтагматическая теория, значимости всецело подчиняются функциям.

С другой стороны, в синтагматике говорится о морфологии синтагмы. При этом указанный термин имеет здесь то же значение, что в биологии или петрографии. Морфология синтагмы занимается структурой, формой и размером последней, а также степенью ее автоматизированности, сложности и т. д. Классический «синтаксис» полностью растворяется в синтагматике, а классическая «морфология» растворяется частично в синтагматике (полуавтоматизированные синтагмы) и частично в теории ассоциаций. Классическая лексикология поглощается синтагматикой в отношении сложных знаков и теорией ассоциаций — в отношении простых. Если принять во внимание тот факт, что теория ассоциаций совершенно несамостоятельна (так как автоматизированный знак определяется функцией, которую он выполняет в синтагме, см. § 4), становится ясным, что нет такой области в лингвистике, которая была бы автономна, так как все эти области тесно связаны с синтагматикой.

---

[1] См. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 2-me éd., Paris, 1922, стр. 187.

[2] Как известно, деление синтагмы на «диктум» и «модус» встречается у Ш. Балли. Под «диктумом» он понимал член синтагмы, выражающий представление о чем-либо, воспринятом чувствами, памятью или воображением. Модус, по Ш. Балли, выражает психическую операцию, производимую над этим представлением мыслящим субъектом (см. Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, перевод с франц., М., 1955, стр. 44—48, 56 и сл.; ср. также F. Mikus, Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?, стр. 446, 462—463).— *Прим. переводчика.*

С точки зрения этой теории система классической грамматики считается полностью упраздненной, сведенной к нулю, поглощенной системой, учитывающей реальные факты, ранее остававшиеся незамеченными.

8. Согласно синтагматике, соотношение между «морфологическими» и «синтаксическими» (и «лексическими») категориями уступает место межсинтагматическим соотношениям. Согласно моему принципу сцепления, синтагма *clara mente* выполняет различительную функцию в синтагме *exponere clara mente* «излагать ясно», а последняя выполняет отождествляющую функцию в *exponere clara mente principium scientiae sit* «пусть ясное изложение будет принципом науки» и т. д. В этом диалектическом переплетении функция — все, форма — ничто. Структура же занимает промежуточное положение. Лингвист, который занимался бы только структурой, остановился бы на полпути. Тот же, кто захотел бы заниматься только формой, был бы подобен ребенку, который, будучи под впечатлением цвета и формы цветов, вздумал бы классифицировать их на основе критерия «цвет и форма». В этом случае нельзя было бы постичь тайны клеток, функциональные и структурные особенности живого существа. Правда, «чистый» функционализм не может существовать, так как, кроме функций, всякий знак обладает еще формой и структурой. Однако ввиду того, что последние определяются функциями, они должны им подчиняться, а изучение формы и структуры должно в свою очередь подчиняться изучению функций.

О соотношении между синтагмой и теорией «непосредственных составляющих» см. § 2. Представители этой теории не установили наличия в языке единой типической структуры, хотя им и было «горячо»[1]. Кроме того, указанной теории не удалось определить координацию; в этом отношении она отстала от взглядов Ш. Балли, который признает, что координация никогда не сможет иметь такое же значение, как синтагматика[2].

Противопоставление «потенциальное» — «актуализованное» определяется расчленением речевой деятельности на язык и речь. То, что принадлежит языку, является потенциальным, а то, что принадлежит речи,— актуализованным. В моих «Principia» я посвящаю специальную главу этому противопоставлению. При этом я исхожу из того, что «потенциализация» является историческим процессом, результатами которого (в виде актуализации) мы пользуемся в настоящее время. Оба процесса осуществляются в соответствии с принципами синтагматики[3].

9. Рациональная теория никогда не отказывается воспользоваться дедукцией как средством для проникновения в области, не поддающиеся изучению при помощи индукции. Поэтому синтагматическая теория выдвигает свою гипотезу о происхождении языка, исходя из убеждения, что взаимные синхронные зависимости обусловлены взаимными генетическими связями Абсурдно утверждать, что с генетической точки зрения имя предшествует глаголу (или наоборот), так как оба являются полюсами функционального противопоставления, которое присуще предмету изучения и именуется «диктальной синтагмой» («фразой»). См. также § 10.

10. В течение трех четвертей века историческая лингвистика пользуется методами, называемыми в настоящее время синтагматическими: она занималась поисками внутренних противоречий слов; ср. *enfant*/*faqulans*. Однако лингвистике не удалось выявить общий синтагматический

[1] Термин взят из детской игры.

[2] См. Ш. Балли, указ. соч., § 155 (стр. 115—116).

[3] См. F. Mikus, Quelle est en fin de compte la structure-type du langage?, стр. 446 и сл. Ф. Микуш считает, что теория актуализации Ш. Балли (см. Ш. Балли, указ. соч., стр. 87—113) нуждается в пересмотре. — *Прим. переводчика.*

принцип, определяющий образование как слов, так и дискурсивных синтагм.

11. После определения категорий синтагм и описания минимальных знаков «синтагматика» сможет разработать идеальную лингвистическую систему, в которой, в соответствии с принципом диалектического сцепления (см. выше), минимальные знаки будут представлены с максимальной и оптимальной линейностью. Эта система явится рабочим инструментом par excellence для компаративистов и типологистов, которые при помощи ее смогут измерить степень линейной (=синтагматической, логической) выраженности любого факта, обнаруженного в языковой действительности. Указанная система будет иметь для лингвистики такое же значение, какое периодическая система Менделеева имеет для физики, химии и атомной теории. Для одной и той же заранее установленной значимости синтагматика должна найти соответствующие знаки в различных языках и сравнить их с точки зрения структуры и заключенных в них семиологических возможностей. При этом в качестве идеальных следует выбирать те знаки, которые передают данную значимость с наибольшей аналитичностью (=«логичностью, синтагматичностью). Ввиду невозможности сразу полностью создать эту систему лингвистика может временно воспользоваться частичными микросистемами. Так, например, франц. *le père* представляет в форме синтагмы то, что русск. *отец* выражает в виде простого знака. Ясно, что *отец* по сравнению с французским гомофункциональным и гомосемиологическим знаком является противолинейным (дистаксическим), синтетическим и что *le père* приближается к идеальной системе; *отец* же здесь представляет собой скрытую синтагму. Постепенно, благодаря огромному терпению, можно будет полностью создать идеальную систему.

12. Хотя, пользуясь синтагматикой, можно вычислить количество синтагм, содержащихся в синтагме высшего порядка [по алгебраической формуле N = (n — 1), где n обозначает количество минимальных формальных единиц], еще слишком рано говорить об использовании математических методов в лингвистике. Эти методы применимы только к «чистым» количествам (= количествам, лишенным семиологических значимостей), которые редко встречаются в повседневной речи. С другой стороны, на основе синтагматики можно показать, что алгебраические действия представляют собой не что иное, как «сублимированные» синтагматические операции, которые можно использовать для выражения «чистых» количеств и их отношений. Задумывались ли когда-либо люди над происхождением алгебраических действий? Язык и синтагматика, очевидно, существовали еще до появления алгебры. Однако этот вопрос выходит за рамки тех, которые сформулированы редакцией «Вопросов языкознания».

Как уже говорилось, подробности изложенной теории содержатся в моих работах, особенно в подготавливаемых в настоящее время «Principia». Указанная работа задумана как основа «Принципов синтагматики», которые я хотел бы выпустить в качестве стандартного руководства по синтагматической теории.

В этой первой своей статье (я думаю, что она не будет последней по ходу дискуссии) я хочу обратить внимание на тот факт, что существует направление в структурализме, при помощи которого, по моему мнению, можно лучше, чем на основе других, понять реальные факты языка. Это объясняется тем, что принципы синтагматики более определенны, чем установки других направлений лингвистики. При этом данная теория основывается на совершенно четком понятии лингвистической функции и структуры, которые до сих пор представлялись очень неясными.

Перевел с французского *М. М. Маковский*

№ 1 1957

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СТРУКТУРАЛИЗМЕ

Выясняя, что такое структурализм, мне кажется, надо прежде всего отказаться от господствовавшей долгое время в нашем языкознании практики, которая заключалась в том, что это лингвистическое течение рассматривалось как философская система. Говорили о том, например, что структурализм «отрывает» что-то от чего-то (все равно, что от чего — диахронию от синхронии, звук от значения, фонетику от фонологии, морфологию от синтаксиса, и т. д.) и что, следовательно, структурализм — это «метафизика» и «идеализм», а тот, кто выдвигает такое обвинение против структурализма, в силу этого (и, увы, часто только одного этого) «диалектик» и «материалист». Совершенно очевидно, что такого рода обвинения можно выдвинуть против любого лингвиста и в еще большей мере против любого математика, поскольку вся математика основана на «отрыве» от материи.

Прежде всего, думаю, надо признать, что структурализм — это течение в языкознании, а не философская система и что, следовательно, оценка структурализма должна основываться на роли этого течения в развитии языкознания как науки. Даже если тот или иной представитель лингвистического структурализма и высказывается в чисто философском плане, это не определяет роли соответствующего течения в развитии науки, точно так же как философские взгляды Шахматова или Пешковского и их пресловутый «идеализм» не определяют роль этих ученых в разработке вопросов синтаксиса в русской и советской науке.

Вместе с тем, выясняя сущность данного научного течения, следует, по моему мнению, стремиться найти то, что в какой-то мере характерно для *всех* его разновидностей и *всех* его представителей. Нельзя, как это часто до сих пор делалось, выхватывать высказывания одного из представителей того или иного течения или одно из проявлений последнего и выдавать их за сущность всего направления в целом. Так, очевидно, нельзя считать сущностью структурализма, например, те или иные высказывания Л. Ельмслева — наиболее крайнего из современных лингвистов-теоретиков, точно так же как нельзя считать сущностью структурализма тенденцию к терминологическим излишествам — тенденцию, которая является естественной болезнью всякой науки в период методологических исканий и которая особенно естественна в такой неупорядоченной в терминологическом отношении науке, как языкознание.

Из сказанного следует, что структурализм — это вовсе не какая-либо законченная система взглядов. В самом деле, если попытаться выделить то основное, что присуще концепциям лингвистов, причисляющих себя к структурализму, то станет очевидно, что структурализм — это все оригинальные методологические искания последних тридцати лет в области языкознания и что все эти методологические искания исходили из одних и тех же чрезвычайно общих и элементарных положений, которые сводятся к следующему: во-первых, язык — это система и должен исследоваться как система; во-вторых, исследование си-

стемы языка в определенный момент его существования не должно подменяться исследованием его истории; в-третьих, предметом языковедческого исследования должен быть именно язык, а не что-либо другое.

Едва ли найдется в наше время лингвист, который стал бы всерьез оспаривать какое-либо из этих положений. В течение последних десятилетий у нас в Советском Союзе не раз появлялись статьи, в самых заголовках которых утверждалось, что язык — это система. Не случайно слово «система» почти превратилось в трудах наших лингвистов в слово, лишенное лексического значения. Уже почти невозможными (слишком прямолинейными) становятся выражения типа «в русском языке», «в немецком существительном» и т. п. и обязательными становятся: «в системе русского языка» (или, для разнообразия, «в структуре русского языка»), «в системе немецкого существительного» и т. д. Никто в нашей стране не станет, конечно, оспаривать и того, что история языка и его синхронное описание — это разные вещи. Не случайно у нас появляются чисто описательные по своим установкам грамматики и даже ставился вопрос о методике их составления. Никто не станет оспаривать и того, что предметом языкознания должен быть именно язык. Ведь борьба с наследием марризма в значительной степени и сводилась к утверждению необходимости сделать язык и закономерности его развития (так называемые «внутренние законы») самостоятельным объектом научного исследования.

Но признание этих элементарных принципов еще не есть структурализм. Структурализм начинается там, где эти принципы не остаются декларативными, а кладутся в основу методологических исканий и где из этих принципов делаются те или иные выводы. Отсюда ясно, что для того чтобы дать исчерпывающую характеристику структурализма, надо было бы описать все многообразные методологические искания в области языкознания, имевшие место за последние 30 лет. Сделать это в журнальной статье, конечно, невозможно. Ведь структурализм — это и пражская фонология, и работы ряда непосредственных учеников Ф. де Соссюра, и глоссематика Л. Ельмслева, и американская дескриптивная лингвистика во всех ее разновидностях.

Элементарные положения, о которых говорилось выше, а также некоторые связанные с ними или вытекающие из них, как, например, противоположение языка и речи, были, как известно, с исключительной остротой сформулированы Ф. де Соссюром в его «Курсе общей лингвистики». Именно благодаря соссюровской формулировке эти элиментарные положения стали обязательной основой всех новых методологических исканий в языкознании. Поэтому без преувеличения можно сказать, что по силе влияния, оказанного им на развитие языкознания, с Соссюром едва ли может сравниться какой-либо другой ученый в истории языкознания. К сожалению, у нас до сих пор интересовались не столько ролью Соссюра в развитии методов лингвистического исследования, сколько тем, что он «оторвал» что-то от чего-то (например, язык от речи, диахронию от синхронии, а до 1950 года у нас утверждалось также, что Соссюр «оторвал» языковую надстройку от ее материального базиса) и, следовательно, был «метафизиком» и «идеалистом».

Наиболее очевидны теоретические основы новых методологических исканий в области звуковой стороны языка. Вся современная фонология, или фонемика, в истории которой период деятельности пражского лингвистического кружка был наиболее блестящей страницей, совершенно явно имеет своим исходным пунктом понятие с и с т е м ы фонем или понятие фонемы как элемента с и с т е м ы. Заслугой пражских структуралистов — Н. С. Трубецкого и его соратников, деятельность которых

так долго замалчивалась у нас, и является то, что благодаря их работам понятия системы фонем и фонемы как элемента системы вошли в обиход мировой науки и были использованы сотнями ученых в конкретных исследованиях звуковой стороны различных языков мира. Именно в области фонологии анализ, абсолютно свободный от структуралистских принципов, стал в сущности вообще невозможным. Но, конечно, вполне естественно, что хотя Н. С. Трубецкой и дал в своих «Основах фонологии» глубоко продуманную методологию анализа звуковой стороны языка, ни он, ни пражская фонология в целом не сказали последнего слова в этой области. Многое в фонологии (и, в частности, сами критерии фонологического анализа) продолжает быть предметом споров, и между современными теоретиками-фонологами существует ряд существенных разногласий.

Важную роль в развитии фонологии безусловно сыграло и соссюрианское противопоставление диахронии и синхронии. Именно благодаря ему стали актуальны чисто синхронные исследования фонологических систем языков мира. Однако часто забывают, что структуралистское движение с самого момента своего возникновения внесло существенную поправку в соссюровскую антиномию. В то время как де Соссюр отрицал системный характер диахронических изменений и находил систему только в синхронии, уже в Первом манифесте структуралистов, с которым они выступили в 1928 г. на Первом международном лингвистическом конгрессе в Гааге, было указано на необходимость признания системного характера диахронических изменений. Эта структуралистская поправка к Соссюру была по существу, конечно, лишь выводом из идей самого Соссюра о языке как системе. То, что он не сделал этого вывода, имело свое историческое объяснение: диахронические исследования в том виде, в каком они практиковались при Соссюре (я имею в виду исторические фонетики младограмматиков с характерным для них распылением звуковых изменений на бесчисленное количество не связанных между собой актов), были действительно прямым и полным отрицанием системного характера диахронических изменений. Принципы структуралистской исторической фонетики, или «диахронической фонологии», были разработаны позднее в работах Р. Якобсона, А. Мартине, А. Одрикура и некоторых других лингвистов и применены в ряде конкретных исследований[1]. Пожалуй, ни в одной области языкознания новые методы исследования не были так плодотворны, как именно в «диахронической фонологии».

Основное положение «диахронической фонологии» (т. е. признание системного характера диахронических изменений) высказывалось позднее и в нашей науке[2]. Однако, к сожалению, в конкретных исследованиях почти никто не решался применить этот структуралистский принцип, и, поскольку историческая фонетика старого типа явно изжила себя, изучение звуковых изменений стало у нас одной из наименее популярных и наиболее отсталых областей языкознания. Характерно, например, что из сотен защищенных в последние десятилетия диссертаций по гер-

[1] См.; R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931, стр. 247; A. Martinet, Rôle de la corrélation dans la phonologie diachronique, там же, 8, 1939, стр. 273; A. G. Haudricourt, Quelques principes de phonologie historique, там же, 8, 1939, стр. 270; см. также A. G. Juilland, A bibliography of diachronic phonemics. «Word», vol. 9, № 2, 1953, стр. 198 и A. Martinet. Économie des changements phonétiques, Berne, 1955.

[2] См., например, А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 5 и сл. (впрочем, и здесь полемика с Соссюром выдается за полемику со структурализмом, хотя ведется фактически с позиций структурализма).

манским языкам, насколько мне известно, только одна посвящена звуковым изменениям[1].

В развитии фонологии важную роль играло, несомненно, и убеждение в том, что необходимо устранить из языкознания все, что не является языком, т. е. системой. Ведь именно этим обусловлено характерное для структуралистов требование отделения фонологии как науки о системе фонем от фонетики как науки о звуках речи. Но это требование было, конечно, в то же время требованием главенства фонологии над фонетикой, и поэтому оно не могло не привести к тому, что фонетика оказалась поглощенной фонологией или растворенной в ней и что фактически двух наук все же не получилось.

Успешная разработка структуралистских методов анализа звуковой стороны языка стимулировала возникновение науки, в которой данные фонологии используются в морфологическом анализе, т. е. возникновение морфонологии; этим же можно объяснить попытки применения методов фонологии в морфологии. Если звуковая сторона языка сводится к более или менее стройной системе очень небольшого числа элементов и именно благодаря этому поддается точному анализу, то нельзя ли усмотреть аналогичную структуру и в области языкового содержания, в частности — в области грамматических значений? Такая мысль приходила в голову многим. Так, например, в очень абстрактных и терминологически трудных работах главы копенгагенской школы структуралистов Л. Ельмслева основным, пожалуй, и является то элементарное положение, что структуры «выражения» и «содержания» в языке параллельны и что как в том, так и в другом есть формальная сторона, представляющая собой систему, которая и должна быть объектом языкознания.

Характерно, однако, что Л. Ельмслев ограничивается очень хитроумными, но чисто умозрительными схемами и не пытается применить свои теории в конкретных исследованиях (если не считать его работы о категории падежа, о которой см. ниже). Что же касается очень немногочисленных попыток конкретного исследования у последователей Л. Ельмслева, то за терминологическими ухищрениями в этих работах трудно обнаружить что-либо методологически новое[2]. Опровержением теории Л. Ельмслева является, таким образом, не то, что она «отрывает» что-то от чего-то, но то, что она не помогает конкретным исследованиям.

В области грамматики такое понимание структуры языка приводило к попыткам найти систему «общих» значений грамматических форм[3]. Однако при всем остроумии некоторых из этих попыток для всех их характерно более или менее произвольное втискивание фактов в априорную схему. Системы, аналогичной системе фонем, в области грамматических значений явно не получалось. Структура языкового содержания оказывается во всех случаях настолько более сложной, чем структура языкового выражения, что параллелизм между этими структурами удается доказать только ценой насилия над фактами.

В связи с этим стоит и вопрос о применении математических методов исследования в грамматике как науке. Если грамматический строй есть система и если теорией систем занимается математика, то естественно

[1] См. Я. Б. Крупаткин, Стяжение дифтонгов *ai*, *au* в западногерманских языках. Канд. диссерт., Харьков, 1955.

[2] См., например, L. Flydal, En språklig analyse av norske boktitler 1952, Bergen, 1954.

[3] См., например: L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, «Acta jutlandica»: VII, 1— 1935 и IX, 2 — 1937; R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre(Gesamtbedeutungen der russischen Kasus), «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, 1936, стр. 240; V. Brøndal, Præpositionernes teori (Indledning til en rationel betydningslære), København, 1940.

предположить, что математические методы исследования применимы и в грамматике, и, разумеется, превращение грамматики в науку, опирающуюся на математические вычисления, или точную науку, можно было бы только приветствовать. Но все дело в том, такими ли системами, какой является язык (и, в частности, его грамматический строй), занимается математика и, следовательно, применима ли математика к таким системам, какой является язык? Во всяком случае, попытки применения математических методов в грамматике сопровождаются, как правило, таким количеством оговорок или поправок, апеллирующих к тому, что не поддается контролю математики, что напрашивается вывод: если в принципе применение математических методов в грамматике и возможно, то практически оно пока что ничего не дает[1].

Для структуралистской грамматики всегда была важной проблема *последовательного разграничения диахронии и синхронии*. Эта проблема стала едва ли не центральной для американского структурализма или так называемой «дескриптивной лингвистики». Последняя возникла на базе изучения многочисленных американских языков, доступных для описания только в синхронном плане (поскольку прошлые этапы развития этих языков не зафиксированы в памятниках) и плохо поддающихся описанию старыми методами. Дескриптивисты стремятся освободиться от старых методов и создать новые, обеспечивающие более последовательное и полное описание языка. Это объясняется, в частности, тем, что в указанных методах обычно есть известный отзвук диахронической точки зрения. Так, когда говорят, например, что «такая-то форма образуется от такой-то исходной формы посредством такого-то процесса», то как бы подразумевают развитие от исходного к производному.

Чтобы избежать этого, дескриптивисты предлагают, например, анализировать английскую форму *took* (в традиционном описании — *прошедшее время* от глагола *take*, образованное посредством внутренней флексии) как вариант морфемы *take* + нулевой вариант морфемы *-ed*, или как вариант морфемы *-ed* + нулевой вариант морфемы *take*, или как прерывный вариант морфемы *take* + инфиксированный вариант морфемы *-ed*, или как слитное выражение морфем *take* и *-ed* и т. д.[2] Против каждого из этих методов анализа можно, конечно, выдвинуть возражения (можно, например, указать на то, что в форме *took* явно нет двух последовательных значащих элементов, или что элементы значения в нем явно не распределяются линейно, и т. д.). Однако анализы эти приведены здесь не для того, чтобы их опровергать. Дело в том, что методы, разрабатываемые дескриптивистами, отнюдь не составляют чего-то целого и законченного. В частности, для дескриптивистов как раз характерна множественность предлагаемых решений, которую хорошо иллюстрируют приведенные выше анализы. Что из методов, разрабатываемых дескриптивистами, оправдывает себя в конкретных исследованиях, пока еще неясно. Однако бесспорно положительным является то, что в процессе разработки этих новых методов заметными становятся непоследовательность и ограниченность старых методов синхронного описания.

Важную роль в структуралистской грамматике играло и продолжает играть требование устранения из грамматики всего, что не является

[1] См., например, статью З. С. Харриса (Z. S. Harris, From phoneme to morpheme, «Language», vol. 31, № 2, 1955), где предлагается в принципе математический метод морфемного анализа, основанный на том, что границы между морфемами, как правило, совпадают с максимумами в количестве возможных фонем в данном положении.

[2] См. Ch. Hockett, Two models of grammatical description, «Word», vol. 10, № 2—3, 1954.

языком, или, поскольку язык — это система, всего, что не входит в систему, которую представляет собой язык. Это совершенно законное в своей основе требование распространилось прежде всего на значение в широком смысле. Ведь именно через посредство значений слов или грамматических форм в язык оказываются в какой-то мере включенными все содержание сознания и вся отраженная в сознании действительность, и тем самым границы того, что должно изучаться языкознанием, становятся очень расплывчатыми.

Требование устранения значения из грамматического анализа характерно больше всего для американских дескриптивистов-дистрибуционалистов, т. е. сторонников сведения описания грамматических элементов языка к описанию их распределения в речи. Это требование, которое нашло выражение еще в работах Л. Блумфилда[1], принято расценивать как отражение бихевиоризма в языкознании и критиковать с этой точки зрения. Однако это требование имеет, мне кажется, гораздо более глубокие и, конечно, соссюрианские корни. Характерно, с одной стороны, что подобное же положение выдвигает и Л.Ельмслев[2] и, с другой стороны, что современные американские дескриптивисты критикуют Л. Блумфилда как раз за его бихевиоризм[3]. Но вопрос, существенный для языкознания, заключается, конечно, не в том, каковы теоретические корни этого требования, а в том, удается ли кому-либо в своём конкретном исследовании действительно его удовлетворить. Устранение значения в работах дистрибуционалистов иллюзорно: хотя критерий значения не используется ими открыто, в скрытом виде он постоянно применяется[4].

Таким образом, происходившие в течение последних тридцати лет искания новых методов лингвистического исследования отнюдь не привели к какой-то законченной и общепринятой системе взглядов. В анализе некоторых сторон языка, и прежде всего в анализе его звуковой стороны, они дали бесспорно положительные результаты; в анализе других его сторон такие результаты, по-видимому, еще не получены. Тем не менее даже и в случаях, когда эти искания не имели бесспорно положительных результатов, значение их для развития языкознания заключалось в том, что они заставляли критически пересматривать старые догмы и способствовали осознанию несовершенств старых методов лингвистического исследования. Поэтому было бы крайне печально, если бы дискуссия по вопросам структурализма, открытая на страницах журнала «Вопросы языкознания», привела бы к тому, что одна из разновидностей структурализма или определенное отношение к структурализму было бы объявлено догмой. Слишком долго основным, что тормозило развитие нашего языкознания, был догматизм, засилье которого особенно укрепилось после лингвистической дискуссии 1950 г., когда в теоретическом плане основным жанром стали работы, посвященные изложению или иллюстрации той или иной догмы и когда выработался специфический жанр теоретической работы, а именно жанр «задач», т. е. работы, в которой в порядке ведомственного циркуляра один благосклонно поощрялись, а другие голословно осуждались и давался школярский перечень рекомендуемых тем. Мы нуждаемся, очевидно, не в том, чтобы такое засилье догматизма возродилось. Мы нуждаемся в творческой разработке методов лингвистического анализа.

[1] См., например, L. Bloomfield, Language or ideas, «Language», vol. 12, № 2, 1936.

[2] См., например, L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlæggelse, Kφbenhavn, 1943, стр. 71.

[3] См. R. Wells, Meaning and use, «Word», vol. 10, № 2—3, 1954.

[4] См. статью Фрея (H. Frei, Critères de délimitation, там же), где содержится острая критика дистрибуционалистов с этой точки зрения.

№ 1 1957

К. А. ЛЕВКОВСКАЯ

О ПРИНЦИПАХ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

(На материале немецкого языка)

1

По сравнению с грамматикой и фонетикой лексикология — более молодая, а следовательно, и менее разработанная отрасль языкознания. Этим и объясняется то положение, что ряд вопросов, непосредственно связанных с природой слова как основной единицы языка, до сих пор еще продолжает оставаться невыясненным. Неразработанность общих проблем мешает исследованию особенностей словарного состава отдельных языков; с другой стороны, недостаточная изученность закономерностей лексической системы языков различного строя не позволяет сделать выводы, необходимые для выяснения общих вопросов. Все это, естественно, отражается и на соответствующей лингвистической терминологии: едва ли в какой-либо другой области можно встретить такое расплывчатое употребление научных терминов, как в области лексикологии.

Различные лингвисты неодинаково подходят к решению проблемы слова. Ввиду сложности и недостаточной разработанности этого вопроса некоторые ученые даже высказывают сомнение относительно возможности считать слово реально существующей единицей языка[1].

Наряду с лингвистическими направлениями, для которых центральным понятием является слово, существуют и такие, которые исходят в своих научных концепциях не из слова, а из морфемы. Например, основоположник американской дескриптивной лингвистики Л. Блумфилд рассматривает как морфемы не только части слов, но и слова с непроизводными основами, или, точнее, те (омонимичные основам) конкретные словоформы, которые выступают в качестве компонентов словосочетаний и предложений[2]. Так, предложение *Poor John ran away* «Бедный Джон убежал прочь» рассматривается как состоящее из пяти «морфем», куда причисляются не только две части наречия *away* «прочь» (*a-* и *-way*), но также и словоформы *poor* «бедный», *John* «Джон», *ran* «(у)-бежал». Для слов с непроизводными основами параллельно с термином «морфема» (*morpheme*) используется термин «слово-морфема» (*morpheme-word*).

Различие между словообразующими (точнее основообразующими) и формообразующими аффиксами для данной системы не имеет существенного значения; и те и другие аффиксы (так же, как и так называемые связанные основы) трактуются как морфемы, являющиеся «связанными формами» в противоположность корневым словам и основам

[1] См.: F. de Saussure, Cours de linguistique générale, seconde éd., Paris, 1922, стр. 147—149 (ср., однако, высказывание де Соссюра на стр. 154); Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, 2-me éd , Berne, 1944, стр. 288.

[2] См., в частности, L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 161—163.

этих слов, которые характеризуются как морфемы, представляющие собой «свободные формы»[1].

Аналогичным образом проводится анализ языковых единиц также и другими представителями дескриптивной лингвистики. Так, например, в известной работе Б. Блоха и Дж. Л. Трейджера производные слова и грамматические формы непроизводных слов в равной мере разбираются как слова (complex words)[2]. Подобная точка зрения представлена и в работах Ю. А. Найда; ср., в частности, его разбор прилагательного *girlish* «девический», с одной стороны, и формы множественного числа *boys* «мальчики», с другой[3].

Для представителей дескриптивной лингвистики характерно, что предложения, словосочетания и сложные и производные слова разбираются в одном плане как конструкции, разложимые на «непосредственно составляющие», которые в свою очередь расчленяются на их составные части, в конечном счете на неразложимые более элементы — морфемы. Качественная сторона языковых образований при этом обходится, так как исходным моментом анализа являются не материальные особенности элементов языка, но лишь их функции. Вопрос о значении языковых единиц, тесно связанный с их структурной характеристикой, лингвистами этой школы вообще исключается из круга научных лингвистических проблем[4].

Исходные положения дескриптивной лингвистики в подходе к структуре языка можно рассматривать как определенную реакцию против имеющей чрезвычайно широкое распространение переоценки логико-семантической стороны в языке — переоценки, которую мы находим у разных ученых, в том числе и у лингвистов, признающих слово объективной языковой реальностью. Этот последний факт свидетельствует о том, что признание слова основной единицей языка еще не является залогом правильного понимания специфики слова.

Семантико-функциональный подход к единицам языка (диаметрально противоположный структурно-функциональному подходу Блумфилда и его последователей) характерен, в частности, для младограмматиков и их последователей. Этот подход (в сочетании с гиперисторизмом, выражающимся в подмене синхронии диахронией при анализе языковых явлений[5]) привел представителей младограмматического направления к рассмотрению распространенных в немецком и других германских языках глагольных фразеологических единиц с наречными частицами как особого рода разъединимых сложных слов

---

[1] Ср. трактовку Блумфилдом производного прилагательного *boyish* и формы множественного числа *door-knobs* (там же, стр. 209—210).

[2] См. B. Bloch and G. L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, Md., 1942, стр. 54.

[3] См. E. A. Nida, Morphology: The descriptive analysis of words, «University of Michigan publications. Linguistics», vol. II, 1946, стр. 1. (Найда пользуется для обозначения подобных образований термином constructed words.)

[4] Подробнее о подходе к слову у представителей дескриптивной лингвистики см.: О. С. Ахманова, О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, ВЯ, 1952, № 5, стр. 94—95, 99—101; ее же, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955, стр. 5, 8—15; М. М. Гухман, Против идеализма и реакции в современном американском языкознании (Л. Блумфилд и «дескриптивная» лингвистика), ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 4, стр. 289—291; ее же, Лингвистический механицизм Л. Блумфилда и дескриптивная лингвистика, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954, стр. 148—156.

[5] Противопоставление синхронии диахронии и отказ в синхроническом исследовании от всякого историзма у представителей дескриптивной лингвистики также можно рассматривать как реакцию против длительного господства гиперисторизма в языкознании.

(unfeste Komposita, trennbare Zusammensetzungen), являющихся разновидностью префиксальных глаголов, рассматриваемых как неразъединимые сложные слова (feste Komposita, untrennbare Zusammensetzungen). Взгляд на глагольные единицы с наречными компонентами, как на слова, распространен и в настоящее время среди зарубежных и отечественных языковедов-германистов[1].

Семантико-функциональный подход к структурным компонентам языка можно обнаружить не только в ряде работ по германским языкам. На семантико-функциональных принципах построена, например, и концепция Ж. Вандриеса, который, как известно, помимо частей слов, считал морфемами также служебные слова, — такие, как артикли, предлоги, местоименные приглагольные частицы *je, tu, il*, чередования звуков и порядок расположения слов в предложении[2]. У французских лингвистов семантико-функциональный подход к языку поддерживается постоянным сравнением аналитических конструкций их родного языка с синтетическими формами латинского.

Переоценка семантико-функциональной стороны в языке вызвала протест со стороны представителей самых различных школ в языкознании. Так, например, А. И. Смирницкий в своих университетских курсах и в печатных работах возражал против рассмотрения неполнозначных слов (предлогов, местоименных частиц *je, tu, il* во французском языке, приглагольных наречий в германских языках и т. п.) как особого рода морфем, отмечая присущие этим языковым элементам признаки слова[3]. Против трактовки французских местоименных частиц *je, tu, il* как морфем решительно возражает также и В. Хенцен[4], указывающий на неправомерность чисто функционального подхода к языку.

Факты самых разнообразных языков показывают, что ни структурно-функциональный, ни семантико-функциональный подход не могут дать правильного освещения специфики единиц языка, в частности специфики основной его единицы — слова.

2

Как известно, одни и те же понятия могут выражаться различными средствами: ср. *Eisengitter, eisernes Gitter* «железная решетка», *Gitter aus (von) Eisen* «решетка из железа». В соответствии с этим языковые образования, отличающиеся друг от друга по своей структуре, имеют и разное значение. Не считаться с этим обстоятельством — значило бы игнорировать языковые факты.

Для прилагательного в словосочетании (*eisernes Gitter*) в большей мере, чем для остальных способов выражения соответствующего понятия, характерна именно качественность[5]. В словосочетаниях с предлогом

---

[1] См., в частности, Ю. А. Жлуктенко, О так называемых «сложных глаголах» типа *stand up* в современном английском языке, ВЯ, 1954, № 5, стр. 109—110. Подробнее о глаголах с наречными частицами см. ниже, стр. 53 и сл.

[2] См. J. Vendryes, Le langage. Introduction linguistique à l'histoire, Paris, 1921, стр. 85—93, 136—138.

[3] См., в частности: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 193—194; его же, Лексическое и грамматическое в слове, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 21—22.

[4] См. W. Henzen, Wortbedeutung und Wortnatur, «Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift Albert Debrunner», Bern, 1954, стр. 179—180.

[5] Это отнюдь не означает, что прилагательными не могут быть выражены и разнообразные другие отношения. В разных языках имеется — наряду с качественными — и значительное число относительных прилагательных.

(*aus, von*) на определенное вещество указывается больше как на «источник происхождения» данного предмета. В сложном же слове обозначается лишь отношение предмета, названного второй основой, к веществу, на которое указывает первая основа. Делается это в самом общем плане, без какого бы то ни было уточнения характера этого отношения. Ясно лишь, что предмет (или явление), обозначенный вторым компонентом сложного слова, определяется через отношение к предмету (или явлению), названному первым компонентом. К а к о г о р о д а это отношение— структурно никак не выражается.

Так, если цельнооформленное сложное существительное *Eisengitter* передает то же понятие, что и словосочетания *eisernes Gitter* или *Gitter aus Eisen*, то, например, *Eisenfarbe* «цвет железа» (*Farbe des Eisens*) передает понятие, которое посредством раздельнооформленных словосочетаний с прилагательным *eisern* «железный» или с предлогом *aus* (либо *von*) выражено быть не может. Это же действительно и для сложного существительного *Eisenwasser* «железистая (содержащая железо) вода», с той только разницей, что данное понятие не может быть выражено также и словосочетанием с родительным падежом и для его обозначения, наряду со сложным существительным *Eisenwasser*, используется словосочетание со сложнопроизводным прилагательным *eisenhaltig* «содержащий железо», «железистый» — *eisenhaltiges Wasser*.

При этом параллельное употребление данного словосочетания и сложного слова *Eisenwasser* значит лишь, что этими образованиями обозначается одно и то же сложное понятие, отражающее одно и то же явление действительности. Из этого употребления никак нельзя сделать вывода, что *Eisenwasser* имеет т о ж е з н а ч е н и е, как и *eisenhaltiges Wasser*. *Eisenwasser* — цельнооформленное сложное слово, состоящее из основ двух существительных, а *eisenhaltiges Wasser* — раздельнооформленное сочетание существительного с прилагательным; кроме того, один из компонентов этого словосочетания (прилагательное *eisenhaltig*) включает основу глагола *halten* «(со)держать», которая в состав сложного слова *Eisenwasser* не входит. Поэтому *Eisenwasser* можно перевести на русский язык как «железистая» или «содержащая железо вода», но перевод здесь не будет в строгом смысле значением слова *Eisenwasser*. Все эти факты недостаточно еще учитываются, чему способствует также и то, что немецкие сложные слова обычно переводятся на русский язык соответствующими словосочетаниями.

Исходя из такого русского перевода, М. Д. Степанова, например, считает значением слов *Gefangenenauto* и *Offiziersauto* значение русских словосочетаний соответственно «машина, в к о т о р о й в е з л и пленного» и «машина с офицерами»[1].

Между тем в структуре первого слова никакого указания на соответствующее действие («везти») и на то, что в е з л и именно о д н о г о, а не нескольких пленных, нет. *Offiziersauto* также не имеет значения «машина с офицерами». Русским словосочетанием, каким-то (хотя и не совсем точным) образом передающим семантику этого немецкого слова, скорее является сочетание «офицерская машина», так как сложным словом *Offiziersauto* (как и русским словосочетанием с прилагательным) можно обозначить и пустую, но предназначенную для офицеров машину.

З н а ч е н и е языковых образований непосредственно связано с их с т р у к т у р о й. На это указывали В. В. Виноградов[2], а затем А. И.

[1] См. М. Д. С т е п а н о в а, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 134—135.

[2] См. В. В. В и н о г р а д о в, О формах слова, ИАН ОЛЯ, 1944, вып. 1, стр. 32.

Смирницкий, разработавший выдвинутые В. В. Виноградовым положения о различиях между сложным словом и словосочетанием. Речь идет в первую очередь о различиях материального звукового оформления (*цельнооформленности первого и раздельнооформленности второго образования*)[1] — различиях, действительных для целого ряда индоевропейских языков, в том числе и для русского и немецкого.

3

Для определения специфики слова как основной единицы языка имеет значение не только разграничение слова и словосочетания; не менее важным является разграничение составных частей слова (см. ниже): в первую очередь разграничение слова и основы слова, а также установление особенностей различных компонентов основы слова (производящих основ и словообразовательных формантов). Последнее поможет определить различия между словами с простыми, производными и сложными основами и тем самым будет способствовать выяснению особенностей слова, отличающих его от других языковых образований.

В отличие от совпадающих с основами по звучанию словоформ (в случаях, где такие словоформы имеются) и слов (в случаях с неизменяемыми словами) основы характеризуются отсутствием *грамматической оформленности*, свойственной слову[2]. При этом словоформы, не имеющие положительных грамматических аффиксов и флексий, тем не менее являются грамматически оформленными, так как отсутствие грамматических формантов в подобных случаях выступает как определенная грамматическая характеристика, является значимым и может, следовательно, рассматриваться как наличие у соответствующих форм нулевого грамматического форманта. Ср. (*das*) *Haus* (им. и вин. падежи ед. числа) «дом». Иначе обстоит дело с грамматически неоформленными (подобно слову) основами; ср., например, основу *haus-* в словоформе (*des*) *Hauses* или в сложном слове *Hausarbeit* «домашняя работа», «работа на дому»; или основу *luft-* в производном прилагательном *luftig* «воздушный», или эту же основу в сложном существительном *Luftverkehr* «воздушное сообщение», где отсутствие всякого форманта не является выражением того или иного оформления, как у словоформ с нулевым аффиксом, так как это отсутствие ничему (в той же системе) не противопоставляется. Примерно то же может быть сказано и об основе неизменяемого слова (например, *fort-* в *Fortbewegung* «поступательное движение»). Ведь если неизменяемость, например, наречия выступает на фоне изменяемости других слов как определенная его оформленность, то отсутствие грамматического оформления у основы наречия (в составе сложного слова) таким признаком уже не является, так как мы находим это отсутствие и у основ других (изменяемых) частей речи[3].

Что касается так называемых соединительных элементов в сложном слове, то они безусловно определенным образом оформляют первый (определительный) компонент сложной основы, но оформляют его именно как основу (а не как слово), так как это оформление существенно отличается от грамматического оформления, характерного для отдельного слова. Наиболее очевидным данное положение является по отношению к соединительным элементам *-(e)s-* и *-(e)n-*. Прежде всего эти элементы не противопостав-

[1] См., в частности: А. И. Смирницкий, К вопросу о слове.., стр. 197 и сл.
[2] См. ниже.
[3] См. А. И. Смирницкий, К вопросу о слове.., стр. 191—192.

ляются каким-либо другим грамматическим формантам, характеризующим данную часть речи, как это имеет место в слове (ср., с одной стороны, *Meerestiefe* и, с другой, *des Meeres*, *dem Meer(e)*, и т. п.). Возможны также колебания в употреблении этих элементов (ср. *Meerestiefe*, *Augenblick*, с одной стороны, и *Meerwasser*, *Augapfel*, с другой).

Что основа *meer-es-* в *Meerestiefe* «морская глубина», «глубина моря» или основа *frieden-s-* в *Friedensbollwerk* «оплот мира» — это только омонимы словоформ (*des*) *Meeres* [и соответственно (*des*) *Friedens*] в *Tiefe des Meeres* или *des Meeres Tiefe* (и соответственно в *Bollwerk des Friedens* или *des Friedens Bollwerk*), видно не только из спаянности этой основы со второй основой и из отсутствия у обоих компонентов сложного слова самостоятельности и свободы перемещения в предложении[1], но это явствует также и из совершенно различной функции элемента *-(e)s-* в том и другом случае[2].

Соединительные элементы наличествуют в сложных словах также и в тех случаях, когда реальные словоформы с такими грамматическими формантами в языке вообще отсутствуют. Соединительный элемент *-(e)s-*, например, встречается у основ имен нарицательных женского рода, хотя родительный падеж с флексией *-(e)s-* является признаком существительных мужского и среднего (но не женского) рода. Ср. *Arbeitsergebnis* «продукт (результат) труда (работы)», *Bedeutungswandel* «изменение значения» и (*die*) *Arbeit* — род. падеж (*der*) *Arbeit*, (*die*) *Bedeutung* — род. падеж (*der*) *Bedeutung*. Этот же соединительный элемент выступает и в тех случаях, когда в соответствующем словосочетании форму единственного числа употребить невозможно; ср. *Freundeskreis* и *Kreis der Freunde* «круг друзей», *Begriffsverwirrung* и *Verwirrung der Begriffe* «смешение понятий», «путаница в понятиях». Употребляется данный элемент и тогда, когда соответствующее словосочетание с родительным падежом (единственного или множественного числа) вообще образовано быть не может; ср. *Handwerksmann* «ремесленник», *Jägersmann* «охотник» и т. п.[3]

Соединительный элемент *-(e)n-* также не выполняет тех функций, которые характерны для флексии родительного падежа единственного числа и флексии других косвенных падежей слабого склонения. Он встречается у слов, принадлежащих в современном языке к иным типам склонения; ср. *Zungenspitze* и *Spitze der Zunge* «кончик языка», *Hahnenschrei* «петушиный крик», «крик петуха» и *Schrei eines Hahn(e)s* «крик петуха». Функции (омонимичного флексиям слабого склонения) суффикса множественного числа [ср. (*der*) *Mensch* «человек» — (*des*) *Menschen* — Pl. (*die*) *Menschen*] соединительному элементу *-(e)n-* также не свойственны, так как никакого последовательного выражения значения множественности мы у него не находим. Ср. *Ohrenlehnstuhl*, но *Ohrsessel* «(дедовское) кресло с защитными выступами для головы (по обе стороны спинки)»; ср. также следующие случаи, где основа — при абсолютно одинаковых условиях — используется то с соединительным элементом, то без него: *Ohrenklappe* «наушник (у шапки)», *Ohrendraht*, *Ohrenspange* (разновидности серег), но *Ohrring* «серьга», а также *Ohrgehänge*, *Ohrgehenk* «ушные подвески».

Все эти факты вынуждают нас признать элементы *-(e)s-*, *-(e)n-* лишь соединительными элементами даже в тех случаях, когда наряду с детер-

[1] См. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 33. Ср. *Türflügel* «створка двери» и *Flügeltür* «двустворчатая дверь» — разные немецкие слова с разными сложными основами.

[2] Ср. W. Wilmanns, Deutsche Grammatik, 2-e Abt. — Wortbildung, Straßburg, 1896, стр. 5.

[3] См. W. Henzen, Deutsche Wortbildung, Halle/Saale, 1947, стр. 57.

минативным (определительным) сложным словом функционирует словосочетание с определением в родительном падеже, омонимичным первому компоненту сложного слова. Основы множественного числа с суффиксом *-er-*, выступающие в качестве компонентов определительных сложных слов типа *Bücherhandel*, также никак нельзя считать грамматическими формами соответствующих слов. Основа *bücher-* (и подобные ей основы) в составе сложных слов не выполняет никаких грамматических функций, аналогичных функциям падежных форм (ср. *die Bücher*, *der Bücher* и т. д.). Кроме того, *-er-* в сложных словах весьма непоследовательно употребляется для выражения множественности (ср. *Buchhandel*, *Buchhandlung* и *Bücherhandel*). Поэтому и там, где употребление *-er-* является более последовательным [ср.: 1) *Volksdemokratie* «народная демократия», *Volksbildung* «народное образование» и 2) *Völkerrecht* «международное право» (буквально «право народов»), *Völkerfreundschaft* «дружба между народами»], отождествлять основу *völker-* с формами (именительного, родительного или винительного падежа множественного числа) слова *Volk* (*Völker*) все же — по указанным выше причинам — не представляется возможным.

Взаимоотношение между соответствующими, совпадающими по звучанию языковыми элементами здесь в какой-то мере аналогично взаимоотношению между русскими наречиями с суффиксом *-ом*, такими, как *рядом*, *шагом*, *утром*, и формами творительного падежа соответствующих слов, от которых эти наречия произошли[1]; ср. аналогичные случаи в немецком языке: наречия *morgens*, *abends*[2] и формы родительного падежа существительных (*des*) *Morgens*, (*des*) *Abends*.

Первый компонент сложного слова (именно как основа) не имеет тех соотносительных — образующих определенную систему — падежных форм, которые характерны для существительного как слова, чем и объясняется совершенно другая специфика, не позволяющая приравнивать этот компонент к соответствующему слову.

Из того, что первый компонент определительного сложного слова — это не слово, но часть его (основа), вытекает, как отмечает А. И. Смирницкий, что и второй компонент представляет собой также только основу, а не отдельное слово[3]; ведь сложное слово также имеет определенную, выступающую во всех его формах (сложную) основу, как и другие слова языка.

Оба компонента сложной основы представляют собой структурное и семантическое единство, из чего следует, что оформление второго компонента является оформлением слова в целом[4]. В том, что это оформление совпадает с оформлением соответствующего отдельного слова, нет ничего удивительного: мы ведь имеем здесь дело с основой, которая соотносится с соответствующим словом, а не с тем или иным аффиксом (не выступающим в качестве семантического ядра какого-либо слова; см. ниже).

Если мы признаем сложное слово, например *Wohnhaus* «жилой дом», состоящим из основы *wohn-* и слова (существительного) (*das*) *Haus* только потому, что второй компонент этого сложного слова внешне сов-

---

[1] См. В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка...», стр. 114.

[2] Что *-s* в этих наречиях функционирует в языке как характерный для данной части речи суффикс, показывает и появление этого суффикса в словах, ранее его не имевших. Ср. *diesseits*, *jenseits* (см. H. Paul, Deutsche Grammatik, Bd. V, Halle/Saale, 1920, стр. 130).

[3] См. А. И. Смирницкий, К вопросу о слове.., стр. 192—195.

[4] См. О. С. Ахманова, К вопросу об отличии сложных слов от фразеологических единиц, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, стр. 61—62.

падает со словом (*das*) *Haus* [ср. (*das*) *Wohnhaus* — (*des*) *Wohnhauses* — (*dem*) *Wohnhaus*(*e*) и т. д. и (*das*) *Haus*—(*des*) *Hauses* — (*dem*) *Haus*(*e*) и т. п.], то мы должны будем считать определительные сложные слова *Wohnhaus*, *Sonntag*, *Ohrring* (а также *Friedensbewegung*, *Ohrenlehnstuhl* и т. п.) не словами со сложными основами, но особыми сочетаниями, состоящими из лишенной грамматического оформления (характерного для слова) основы и грамматически оформленного как отдельная единица языка слова. Подобных сочетаний (которые были бы единицами языка) в языке не существует[1].

Несколько замечаний о существительных со сложными основами, омонимичными словосочетаниям, включающим разные части речи (а не только существительные), например: *Rührmichnichtan* «недотрога» (буквально «не тронь меня»). Об этих сложных словах также следует сказать, что компоненты их основ являются отнюдь не с л о в а м и, но о с н о в а м и, так как цельнооформленное сложное слово (даже если оно возникло на базе определенного словосочетания) нельзя приравнивать к этому (раздельнооформленному) сочетанию. В формах сложного слова и в формах словосочетания[2] ясно проявляются различия между этими образованиями.

Соответствующее словосочетание не может иметь таких форм, как, например, (*eines*) *Rührmichnichtan* (генитив), а сложное слово *Rührmichnichtan* не может выступать в таких разновидностях, как *Rührt-uns-nicht-an* «не трогайте нас», или *Rühren-Sie-ihn-nicht-an* «не трогайте (Вы) его». Это же относится и к определительным компонентам сложных слов типа *Armeleutehaus*[3].

4

В отличие от словообразовательного форманта, выступающего лишь в качестве модификатора значения тех основ, с которыми он сочетается[4], основа является семантическим ядром слова. Именно через свою основу слово соотносится с соответствующим предметом или явлением действительности. Однако, как уже говорилось, значение основы и значение слова не совпадают, так как в значение слова входят и грамматические моменты[5]. У существительных, например, это значение рода, числа и падежа, на которых базируется характерное для данной части речи значение предметности.

---

[1] Сочетания типа *Arbeiter- und Bauernfamilien*, или *Wirtschafts- und Staatsleben* (или *hilf- und ratlos*; см. ниже) не являются (в противоположность сложным словам) подлинными единицами языка, но представляют собой сокращения (аббревиатуры) словосочетаний, состоящих из таких сложных слов, как: 1) *Arbeiterfamilien*, *Bauernfamilien*, 2) *Wirtschaftsleben*, *Staatsleben* (а также *hilflos*, *ratlos*).

[2] Ср. «Грамматика русского языка», т. II,ч. 1, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 11.

[3] Что же касается таких случаев, как *Altweibersommer* или *Einkuhbauer*, насчет которых М. Д. Степанова (см. М. Д. С т е п а н о в а, Словообразование современного немецкого языка, стр. 140) говорит, что их «первой частью... является не с л о ж н о е с л о в о, а у с т о й ч и в о е и л и р а з л о ж и м о е с л о в о с о ч е т а н и е» (разрядка мои.— *К. Л.*), то их первые компоненты по своему характеру отличаются от первого компонента слова *Armeleutehaus*, так как таких словосочетаний, как *alt Weiber* или *ein Kuh*, в современном литературном языке не существует.

[4] См. Г. О. В и н о к у р, Заметки по русскому словообразованию, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 4, стр. 319–320.

[5] См., в частности: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 48 и сл.; е г о ж е, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, № 5, стр. 6 и 10; А. И. С м и р н и ц к и й, К вопросу о слове. (Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. IV, стр. 15; е г о ж е, Лексическое и грамматическое в слове, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 13—15.

Значение части речи выражается всей системой форм слова, а у слов неизменяемых оно связано с их неизменяемостью, выступающей как признак определенной оформленности. Что же касается основ, то значение части речи связано с их семантикой, но никакого структурного оформления значение части речи у непроизводных основ не находит. Так, основа слова *Haus* «дом» — это по своей семантической природе, безусловно, основа существительного, как основа слова *laufen* «бежать», «течь» — основа глагола и т. д. Однако выражаются значения этих различных частей речи лишь формами соответствующих слов, но не их основами [ср. (*das*) *Haus* — (*des*) *Hauses* — (*die*) *Häuser* и т. п. — существительное, но *hausen* — *hauste* — *gehaust* «проживать», «обитать», «гнездиться», «ютиться» — глагол; и наоборот: *laufen* — *lief* — *gelaufen* «бежать», «течь» — глагол, но (*der*) *Lauf* — (*des*) *Lauf*(*e*)*s* — *dem Lauf*(*e*) — (*den*) *Lauf* «бег», «течение» — существительное].

У производных (в основном суффиксальных) основ распределение по частям речи является более четким. Однако вполне определенно принадлежность к той или иной части речи выражается лишь формами соответствующего слова. Так, например, основа *wirtschaft-* по своей структуре является основой существительного, но использоваться она может и как основа (отыменного) глагола; ср. (*die*) *Wirtschaft* — (*der*) *Wirtschaft* и т. д. «хозяйство» и *wirtschaften* — *wirtschaftete* — *gewirtschaftet* «заниматься хозяйством», «хозяйничать», «хозяйствовать». Степень связанности основы (особенно основы непроизводной) с определенной частью речи будет поэтому тем меньше, чем большее распространение в языке имеет такое явление, как конверсия[1]. Таким образом, хотя основа и является семантическим ядром слова, она — ввиду отсутствия у нее грамматической оформленности, выступающей в слове, — лишена той семантической определенности и законченности, которые характерны для слова.

Такие компоненты производных основ, как словообразующие (точнее основообразующие) аффиксы, имеют совсем иную специфику, чем производящие основы, с которыми они сочетаются. Они используются лишь в качестве формантов, видоизменяющих значение тех или иных производящих основ. В аффиксальных основах значение производящей основы иногда полностью сохраняется и лишь сочетается со значением соответствующего аффикса; ср. *echt* «подлинный», «настоящий» и *unecht* «неистоящий», «фальшивый»; *Tisch* «стол» и *Tischchen* «столик». Такое четкое семантическое разграничение компонентов производных основ, однако, типично больше для префиксальных (а не для суффиксальных) образований[2], но и здесь оно выступает далеко не всегда.

Производные аффиксальные (особенно суффиксальные) основы чаще обнаруживают более тесное слияние значений производящей основы и аффикса. Это особенно характерно для тех случаев, когда создается основа слова, принадлежащего к другой части речи (в отличие от слова, основа которого послужила в данном случае производящей основой); ср. *Schreiber* «пишущий», «писец», «писарь», «переписчик» (от основы глагола *schreiben*), *Erzähler* «рассказчик», *Erzählung* «рассказ», «повесть» (от основы префиксального глагола *erzählen*), *Lauferei*, *Gelaufe* «беготня» (от основы глагола *laufen*).

---

[1] В английском языке, например, вследствие необычайно широкого распространения в нем конверсии, распределение основ по частям речи носит еще более относительный характер, чем в немецком.

[2] См. К. А. Левковская, О специфике префиксации в системе словообразования, сб. «Вопросы грамматического строя».

Однако во всех случаях аффиксы остаются лишь модификаторами значения соответствующих основ и, как правило, сами не выступают в функции основ. Это ясно видно, в частности, на примере аффиксов, развившихся из основ. Так, например, префикс *be-* больше не соотносится с основой наречия *bei* «у», «при», к которой он восходит по происхождению (ср. *beilegen* «прикладывать», «приложить», *dabei*, *hierbei* «при этом», ср. также развившийся из наречия *bei* предлог *bei*). Суффикс *-bar-* утратил семантическую связь с этимологически родственными ему словами *gebären* «рождать», *entbehren* «быть лишенным (чего-либо)», «нуждаться (в чем-либо)», *Bahre* «носилки», «катафалк», *Bürde* «ноша», *Gebärde* «жест». Другой особенностью аффиксов является то, что эти компоненты основы слова всегда занимают в нем строго определенное место. В немецком языке, в частности, нет таких аффиксов, которые одновременно использовались бы и как суффиксы, и как префиксы.

Основа отличается от аффикса тем, что она может выступать не только в качестве семантического ядра того или иного слова, но и в качестве модификатора значения другой основы[1], а также и тем, что она может быть как первым, так и вторым компонентом сложной основы. Так, например, основа *-haus-* выступает в слове (*das*) *Haus* «дом» как семантическое ядро слова в целом, а в производном слове *häuslich* «домашний» (например, *häusliches Leben* «домашняя жизнь») как семантическое ядро производной основы *häuslich-*, являющейся в свою очередь семантическим ядром соответствующего (производного) прилагательного.

Эта же основа (*-haus-*) может использоваться и как полнозначный — определяемый или определяющий — компонент сложной основы; ср. *Steinhaus* «каменный дом», *Holzhaus* «деревянный дом», *Hausarbeit* «домашняя работа», «работа на дому», *Hausgerät* «домашняя утварь» и т. п.

Несколько иное положение мы имеем, например, в словах *Kulturhaus* «дом культуры», *Pionierhaus* «дом пионеров», *Krankenhaus* «больница», *Hühnerhaus* «курятник» (ср. *Hühnerstall*)[2]. Здесь нельзя говорить о равной полнозначности обоих компонентов сложной основы. Семантическим ядром здесь является первый компонент, а основа *-haus-* выступает уже в известной мере в качестве модификатора значения первого компонента (указывая на то, что речь идет о каком-то помещении). В случаях *haushoch* (или *häuserhoch*) «вышиной с дом», «очень высокий» еще более очевидно, что основа *-haus-*/*-häuser-* выполняет именно роль элемента, модифицирующего значение основы соответствующего прилагательного.

Степень обобщенности значения у основы, выступающей в подобной функции, может быть различной. Так, например, основа *-mann-* по обобщенности своего значения ближе к суффиксу, чем основа *-haus-*. Ее возможно в какой-то мере сопоставить по значению и функции с суффиксом *-er-* (ср. хотя бы такие параллельные образования, как *Handwerksmann* и *Handwerker* «ремесленник»). Тем не менее основа *-mann-* все же по всем признакам продолжает оставаться основой и не может считаться ни суффиксом, ни полусуффиксом (каким считает данную основу М. Д. Степанова)[3], так как эта основа соотносится с соответствующим непроизводным словом и выступает в качестве семантического ядра этого слова и производных (от основы этого слова) основ. Используется данная основа

[1] Т. е. в функции, характерной для аффиксов. См. Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 319—320.

[2] Ср. М. Д. Степанова, указ. соч., стр. 78.

[3] Подобно тому, как служебное слово не может считаться ни грамматическим формантом, ни грамматическим «полуформантом», а остается словом (хотя и служебным).

и как первый, и как второй компонент сложных основ. Все это характерно именно для основ, но никак не для аффиксов. Ср.: 1) *Mann* «мужчина», «человек», *junger Mann* «молодой человек (мужчина)», *sieben Mann* «семь человек (того или другого пола)»; 2) *männlich* «мужской», *Mannschaft* «команда» (определенный коллектив людей, не обязательно мужчин), *Mannesalter* «зрелый возраст» (буквально «возраст мужчины»), *mannshoch* «вышиной с человека (в человеческий рост)»; 3) *Vordermann* «человек впереди (в колонне)», *Zeitungsmann* «газетчик».

Аналогичное положение имеется в языке и в отношении прилагательного *voll* и основы этого прилагательного. Ср.: 1) *ein Eimer voll Wasser* «ведро, полное воды»; 2) *völlig* «полный», «совершенный», *Vollbad* «общая (полная) ванна», *Vollgas* «полный газ (ход)», *Vollmond* «полная луна»; 3) *talentvoll* «талантливый», *einsichtsvoll* «разумный».

На совокупность прочих признаков, характеризующих эти языковые элементы (*-mann-* в *Arbeitsmann* или *-voll-* в *talentvoll* и т. п.) именно как основы, а не как суффиксы или «полусуффиксы», уже было указано в моей рецензии на книгу М. Д. Степановой «Словообразование современного немецкого языка»[1].

Все эти признаки свойственны основам, выступающим в функции аффиксов, в различной мере, причем они имеют в разных случаях разную значимость. Так, для сложных слов с основами в функции суффиксов наличие соединительных элементов является лишь второстепенным критерием их принадлежности именно к сложным, а не к производным словам. Этот критерий имеет значение при наличии и других признаков сложного слова[2]. Там же, где в функции модификатора значения другой основы выступает не второй, но первый компонент, использование соединительных элементов является верным признаком принадлежности соответствующих образований к сложным словам, так как префиксы [*be-*, *ge-*, *ent-*, *emp-*, *er-*, *ver-*, *zer-*, *miß-*, *un-*, *anti-*, а также *ur-* (см. ниже)] в немецком языке с соединительными элементами никогда не сочетаются.

Таким образом, уже одно наличие соединительных элементов характеризует первые компоненты как основы [например, *ries-en-* в *Riesenstadt* «гигантский (огромный) город», *Riesengebäude* «гигантское (огромное) здание» или *mord-s-* в *Mordsskandal* «ужасный (буквально «убийственный») скандал»], не говоря уже о семантике этих компонентов, усилительная функция которых опирается именно на их лексическое значение[3].

При исследовании основ, рассматриваемых некоторыми лингвистами как «полуаффиксы», нельзя исходить из одного лишь факта использования основы в функции словообразовательного форманта и из абстрактности значения данной основы. Ведь в языке есть даже слова,— а не только основы — с весьма абстрактным значением; ср. *dieser*, *jener*, *das*, *etwas Sache*, *Ding*[4] и многие другие. Основа *-zeug-* в составе сложных слов *Nähzeug* «швейные принадлежности», или *Schreibzeug* «письменные при-

[1] См. ВЯ, 1955, № 1, стр. 148.

[2] Для ряда словообразовательных типов производных суффиксальных слов, по происхождению восходящих к сложным словам, также не исключена возможность использования соединительных элементов; ср. *Heldentat* «героический поступок» (сложное слово), с одной стороны, и *heldenhaft* «героический, геройский», *Heldentum* «героизм» (производные слова), с другой. Однако характерными соединительные элементы являются именно для сложных слов.

[3] Ср. ВЯ, 1955, № 1, стр. 147—148.

[4] Ср. также, например, значение слова *Haus* в таких оборотах обиходной речи, как *altes Haus* (=*alter Freund*), *fideles Haus* (=*lustiger Mensch*), *gelehrtes Haus* (=*kluge, vielwissende Person*), *patentes Haus* (=*umgänglicher, brauchbarer Mensch*) (см. Н. Küper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Hamburg, 1955, стр. 151).

надлежности», или *Werkzeug* «инструмент», или *Spielzeug* «игрушки» не более абстрактна по своему значению, чем слово *Zeug* в оборотах *tolles Zeug* «вздор», «чепуха», или *dummes, albernes Zeug* «ерунда», «глупость», «глупости».

Другое дело, если связь между компонентом основы слова, выполняющим функцию аффикса, и соответствующим (непроизводным) словом полностью порвана. Но тогда следует говорить уже не о «полуаффиксе», а просто об аффиксе[1], причем это надо доказать языковым материалом.

М. Д. Степанова считает, например, что выступающая в функции суффикса основа *-los-* семантически не соотносится с прилагательным *los*. Конечно, она не соотносится с *los* в таких случаях, как *eine lose Verbindung* «свободное (непрочное) соединение» (или «сочетание»). Однако эта основа соотносится с предикативным *los* в сочетаниях *los werden* (*loswerden*) или *los sein* (*lossein*) «освободиться, избавиться от чего-либо», «лишиться чего-либо», а также и с первым компонентом существительного (*das*) *Loswerden*. Ср. также: *Also diese Arbeit war er nun auch los... alle Arbeit war er los* «Итак, теперь он лишился и этой работы... он лишился всякой работы»[2] и прилагательное *arbeitslos* «безработный». Дополнительным критерием принадлежности прилагательных с *-los-* к сложным словам служит следующее употребление (употребление в словосочетаниях-аббревиатурах): *...er... fühlt sich hilf-und ratlos wie ein ausgescholtener Schulbub* «он... чувствует себя таким же беспомощным и растерянным, как школьник после нагоняя»[3]. Подобное сокращение (*hilf- und ratlos*) характерно именно для сложных слов (ср. выше) и лишь в отдельных редких случаях встречается у слов производных.

Из основ, выполняющих функцию аффиксов, очень близка к суффиксу основа *-werk-*. Если удастся (путем детального анализа всех случаев употребления) доказать, что связь данной основы со словом *Werk* разорвана так, что здесь исчезла в с я к а я соотнесенность, то тогда придется считать *-werk-* суффиксом (но никак не «полусуффиксом»).

Многие факты языка, однако, показывают, что отвлеченное значение собирательности базируется здесь именно на лексическом значении данной основы[4]. Ведь оттенки значения основы *-werk-* в таких случаях, как *Stahlwerk, Uhrwerk, Orgelwerk, Netzwerk, Buschwerk, Backwerk*, представляют собой непрерывную цепь, которую трудно оборвать в каком-то определенном месте. Во всяком случае, относительно *-werk-* в подобных образованиях можно вести научный спор, доказывая, что это основа, а не суффикс (или же, наоборот, что это суффикс, а не основа); вопрос же о том, основа это или «полусуффикс», не может быть предметом такого спора, так как «полусуффикс» (согласно определению, даваемому этому понятию)[5] и есть о с н о в а, выступающая в функции суффикса. Как

---

[1] Ср. В. П. Григорьев, Некоторые вопросы теории словосложения. Автореф. канд. диссерт., М., 1955, стр. 11.

[2] H. Fallada, Wer einmal aus dem Blechnapf frißt, Berlin, 1955, стр. 255. Речь идет об условиях жизни в буржуазной Веймарской республике. Автор описывает отчаяние главного персонажа романа, вновь лишившегося работы.

[3] W. Bredel, Dein unbekannter Bruder, Berlin, 1955, стр. 45.

[4] Ср. толкование слова *Mundwerk*, даваемое Х. Кюппером: «*Mundwerk* n. Beredsamkeit, Redefertigkeit. «Werk» meint die Gesamtheit maschineller Vorgänge, etwa in Form der Maschine (Orgelwerk)» (H. Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, стр. 228). Выражение *er hat ein gutes Mundwerk* «у него язык хорошо подвешен», следовательно, буквально означает «у него хороший говорильный (ротовой) аппарат (механизм)».

[5] См. М. Д. Степанова, По поводу рецензии К. А. Левковской (ВЯ, 1955, № 5, стр. 166—167).

совершенно справедливо отмечает В.П. Григорьев[1], каких-либо специфических признаков, отличающих «полуаффиксацию» от словосложения (и от аффиксации), М. Д. Степановой, Л. И. Поляковой[2] и другим сторонникам этого взгляда обнаружить не удалось.

Спорные вопросы имеются в разных областях: это, однако, не означает, что неясные случаи, имеющие общие черты с различными по характеру явлениями, следует трактовать как нечто половинчатое. Таким (не совсем ясным) случаем в немецком языке является, например, префикс *ur-*, занимающий в системе словообразования несколько особое по сравнению с другими префиксами положение. Используемый в качестве модификатора значения основ существительных и прилагательных (ср. *Urwelt* и *uralt*), *ur-*, как и остальные префиксы, не соотносится в современном немецком языке с основой какого-либо непроизводного слова, так как наречие *ur* и ответвившийся от него предлог из языка исчезли. Однако префикс *ur-*, несомненно, идентифицируется с выступающим в функции связанной основы *ur-* в суффиксальных образованиях *Urheit, Urtum* «первобытность» (и *urtümlich* «первобытный»). Эти образования употребляются значительно реже различных других слов, где *ur-* выступает в функции аффикса, почему данный языковый элемент обычно рассматривается именно как префикс; но наличие таких образований в языке дает возможность рассматривать *ur-* во всех случаях и как неполнозначную (связанную) основу.

Эти факты свидетельствуют о том, что проблема структуры лексических единиц требует дальнейшей тщательной разработки, но никак не о том, что языковый элемент *ur-* следует признать, например, «полуосновой» или «полупрификсом».

Как показывает приведенный выше материал[3], термин «полуаффикс», не отражающий специфики соответствующих языковых элементов, следует решительно отвергнуть. Основы же, выступающие в функции модификаторов значения других основ (такие, как, например, *-mann-* или *-los-* и т. п.), следует рассматривать как неполнозначные или служебные основы. То, что из подобного рода основ в немецком языке развился целый ряд аффиксов, — вопрос другой. Происхождение языковых элементов (или же тенденция их развития) и место этих элементов, их функционирование в языке в определенную эпоху существования языка — понятия совершенно разные[4].

5

В германских языках, в том числе и в немецком, имеются сочетания глаголов с полнозначными наречиями или же с наречными частицами, выступающие в качестве эквивалентов слов. Сочетания эти в германистике по традиции именуются «глаголами с отделяемыми приставками». Это (если принять во внимание, что префиксальные глаголы называются «глаголами с неотделяемыми приставками») приравнивает данные сочe-

---

[1] См. В. П. Григорьев, указ. соч., стр. 11.

[2] См. Л. И. Полякова, Словообразование имен посредством «полусуффиксов» в современном немецком языке, «Уч. зап. [1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков]», т. VII — Грамматический строй языка, М., 1955.

[3] Речь идет о проблеме неполнозначных основ в целом, а не об отдельных неясных случаях.

[4] Ср., в частности: В. В. Виноградов, О формах слова, стр. 38 и сл.; Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 315—316; А. И. Смирницкий, По поводу конверсии в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1954, № 3, стр. 16; его же, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 5—8.

тания слов к префиксальным образованиям, т. е. к словам[1] (см. выше). Критерии, на основании которых данные фразеологические единицы считаются словами, не являются достаточными, а некоторые из них полностью опровергаются языковыми фактами.

Многие приглагольные наречные элементы (наречные частицы) неполнозначны и по своим семантико-функциональным особенностям приближаются к аффиксам. Однако приведенные выше факты показывают, что о специфике единиц языка нельзя правильно судить, исходя лишь из одних семантико-функциональных моментов. В структурном же отношении наречные частицы резко отличаются и от префиксов, и от аффиксов вообще. Ср.: 1) *Er arbeitet den Plan aus* «Он разрабатывает план», *Sie wissen ja, daß er den Plan ausarbeitet* «Вы ведь знаете, что он разрабатывает план»; 2) *Er hat den Plan ausgearbeitet* «Он разработал план»; 3) *Er wird den Plan ausarbeiten* «Он разработает план», *Er beginnt den Plan auszuarbeiten* «Он начинает разрабатывать план», *der auszuarbeitende Plan* «подлежащий разработке план».

Аффиксы (префиксы и суффиксы) входят в состав цельнооформленного слова, являются частью его основы и занимают в ней строго определенное положение (префиксы — начальное, суффиксы — конечное). Наречные же частицы *составляют с разными глагольными формами раздельнооформленные* сочетания, находятся за пределами основы глагольного слова и, согласно с правилами порядка слов в немецком языке (распространяющимися также на фразеологические единицы), то предшествуют соответствующей глагольной форме, то следуют за ней, занимая по отношению к ней в ряде случаев даже дистантное положение.

Слитное написание наречной частицы и глагольной формы, которое имеет место в определенных случаях и которое приводится как одно из доказательств принадлежности глагольных единиц с наречными частицами к словам, а входящих в них наречных частиц — к словообразовательным формантам, таким доказательством служить не может, так как слитное написание (при контактном положении компонентов) применяется в немецком языке и по отношению к фразеологическим единицам других разновидностей; ср. *ausführen* [«вывозить», «выводить (гулять)»,«исполнять»], *ausgeführt*, с одной стороны, и *kennenlernen* («познакомиться», «узнать»), *kennengelernt* или *stehenbleiben* («остановиться»), *stehengeblieben*, с другой.

Никто не может усомниться в том, что *kennen* или *stehen* в приведенных случаях — это именно слова в определенной грамматической форме (в инфинитиве), а не «префиксы» (или «полупрефиксы»). Такими же словами (только неизменяемыми) являются и наречные приглагольные частицы, которые при контактном положении (обусловленном для ряда случаев правилами порядка слов в немецком языке) лишь пишутся слитно с глагольными формами, но находятся за пределами оформленного как отдельное слово глагольного компонента соответствующей фразеологической единицы. Особенно ясно это видно в случаях с причастием II или в случаях с инфинитивом (либо причастием I) с частицей *zu* (ср. *ausgeführt*, *ausgearbeitet*; *auszuführen*, *auszuarbeiten*, *der auszuarbeitende Plan* и т. п.).

По особенностям ударения глагольные единицы с наречными частицами сближаются не с префиксальными глаголами (в которых префикс является безударным), а с глагольными фразеологическими единицами, состоящими

[1] Трактовка этих глагольных единиц как «глаголов с полупрефиксами» (см. М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, стр. 317 и др.) не вносит никаких принципиальных изменений в эту традиционную — основанную на семантико-функциональном подходе к единицам языка — концепцию.

из полнозначных слов. Ср. *'ausführen* (см. выше), или *'aufgehen*$_1$ «восходить (о солнце)», *'aufgehen*$_2$ «открываться (о двери)» и т. п., с одной стороны, и *'Rücksicht nehmen* «обращать внимание», *in 'Angriff nehmen* «браться за что-либо», с другой[1].

6

Приведенное рассмотрение показывает, что точное представление об особенностях разных (самостоятельных и несамостоятельных, простых и сложных) элементов языка может дать лишь их всесторонний структурно-семантический анализ, но никак не односторонний структурно-функциональный или односторонний семантико-функциональный подход к этим элементам.

В. Хенцен в цитированной выше статье, посвященной в значительной части полемике с представителями структурализма, но содержащей также и критические замечания по поводу переоценки некоторыми учеными семантико-функциональных моментов, поставил следующий вопрос: что же составляет специфику слова, содержание или форма? (was das Wort ausmache, ob ein Inhalt oder eine Form)?[2]

На этот вопрос приходится ответить, что специфику слова, как и специфику других элементов языка, составляет их материальное оформление, их языковая структура, связанная с определенным значением (которое никак нельзя отождествлять с передаваемыми этими элементами понятиями). Ни отражение понятия, взятое в отрыве от соответствующего языкового оформления, ни языковое оформление, рассматриваемое вне связи с выражаемым им значением, специфики единиц языка не составляют, так как структурные различия связаны в языке с внутренними (семантическими) различиями, и даже весьма сходные понятия, если они выражаются различным образом, могут отражаться в системе языка в виде совершенно различных значений.

---

[1] Подробнее о немецких глагольных фразеологических единицах см.: К. А. Левковская, *Лексикология немецкого языка*, М., 1956, стр. 214—223; К. С. Брыковский, Глагольные единицы типа *aufgehen* и типа *hinaufgehen* в современном немецком языке. Канд. диссерт., М., 1955.

[2] См. W. Henzen, Wortbedeutung und Wortnatur, стр. 179.

№ 1 1957

Г. П. ЩЕДРОВИЦКИЙ

«ЯЗЫКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЕГО АНАЛИЗ

Как реальность и как объект исследования мышление составляет какую-то сторону (элемент) сложного органического целого — всей общественной деятельности человека, или, если брать уже,— его психической деятельности. Мышление неразрывно связано с другими сторонами (элементами) этого целого: с процессами труда, с чувственными, волевыми, эмоциональными процессами, с процессами общения и т. п.; с одними из них — прямо и непосредственно, с другими — косвенно и опосредованно. Отделить мышление от этих других сторон общественной деятельности человека можно только в абстракции.

Кроме того, мышление является такой стороной общественной деятельности человека, которая сама по себе недоступна непосредственному восприятию. В то же время знание о мышлении, как и всякое другое знание, возникает и может возникнуть, очевидно, только из чего-то непосредственно данного, непосредственно воспринимаемого. Таким непосредственно данным материалом, на основании которого можно исследовать мышление, служат все внешне выражаемые элементы поведения людей. Но самыми удобными среди них для такого рода исследований являются речь и ее продукт — язык.

Так же, как и мышление, язык составляет какую-то сторону (элемент) общественной деятельности человека и не может быть отделен от ряда других сторон этой деятельности, в частности, от мышления и процессов общения: определенные звуки, письменные знаки и движения могут быть и являются знаками языка лишь тогда, когда в них выражены определенные мысли и они служат целям взаимного общения. Так же, как и мышление, язык не может быть реально отделен от других сторон общественной деятельности человека, но в то же время, в отличие от мышления, во всяком случае с какой-то одной стороны, как система субстанциальных знаков, как субстанциальные изменения, язык представляет собой нечто доступное непосредственному восприятию и поэтому может служить исходным материалом в исследовании.

Таким образом, мышление не является самостоятельным, непосредственно данным, непосредственно воспринимаемым объектом исследования; оно дано нам прежде всего в языке, или, вернее, нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление. Но и язык, с другой стороны, существует только в неразрывной связи с мышлением. В силу этого, приступая к исследованию мышления или языка как проявления мышления, мы не можем взять уже в исходном пункте язык и мышление отделенными друг от друга, а должны взять единое, выступающее какой-то своей стороной на поверхность и внутренне еще не расчлененное целое, содержащее в себе язык и мышление в качестве сторон. Мы будем называть это целое «языковым мышлением», подчеркивая тем самым его внутреннюю нерасчлененность. В то же время мы можем уже в исходном пункте исследования «вырвать» языковое мышление из всех других связей и зависимостей, в которых оно реально существует, и отвлечься от них, так как

нашей задачей является исследование только взаимоотношения языка и мысли.

Образуя в исходном пункте нашего исследования абстракцию «языкового мышления», мы тем самым, во-первых, очерчиваем границы нашего объекта, фиксируем их, во-вторых, накладываем определенное требование на все дальнейшие определения языка и мышления. В силу этого в качестве мышления мы будем рассматривать только те формы отражения-которые выражаются в языке, а в качестве языка все те и только те знаковые системы, которые служат для выражения мыслей. Иначе говоря, мы будем так определять в дальнейшем язык и мышление, чтобы сохранить их органическую взаимосвязь, заданную первой абстракцией [1].

*

Выделив в качестве предмета исследования единое и пока внутренне нерасчлененное «языковое мышление», мы затем, в зависимости от задач исследования, можем выделять различные его стороны и исследовать их изолированно от других. Каждая из выделенных таким образом сторон «языкового мышления» образует о с о б ы й п р е д м е т и с с л е д о в а н и я. В качестве такой стороны может быть выделено, например, мышление как таковое или язык как таковой. Точно так же особым предметом исследования может стать взаимоотношение языка и мышления.

Совершенно очевидно, что характер связи между этими сторонами целого — «языкового мышления»— будет зависеть от характера того первоначального расчленения, которое мы производим, выделяя и обособляя язык и мышление. Другими словами, синтез, производимый при исследовании взаимоотношения языка и мысли, зависит от исходного расчленения. Можно было бы сказать даже резче: вопрос о взаимоотношении языка и мышления есть лишь другая форма вопроса о том, к а к было произведено исходное расчленение «языкового мышления» на язык и мысль.

Этот факт был блестяще показан известным советским психологом Л. С. Выготским [2].

По его мнению, все попытки решить проблему взаимоотношения мышления и речи[3] постоянно — от самых древних времен и до наших дней — колебались между двумя крайними полюсами: между отождествлением и полным слиянием мысли и речи и между их столь же абсолютным и полным разрывом и разъединением.

Все учения, примыкавшие к первому направлению, с точки зрения Л. С. Выготского, не могли не только решить, но даже поставить правильно вопрос об отношении мысли к слову. Ведь если мысль и слово совпадают, если это одно и то же, никакое отношение между ними не может возникнуть и не может служить предметом исследования, как невозможно представить себе, что предметом исследования может явиться отношение вещи к самой себе.

Однако и второе направление, по мнению Л. С. Выготского, не дает удовлетворительного решения проблемы. Разложив речевое мышление

[1] При таком подходе отпадают, как логически неправомерные, вопросы, вызвавшие в последнее десятилетие массу споров: всегда ли мышление выражается в языке или существует мышление, не связанное с языком, и язык, не выражающий мышления. (См., например, дискуссию в журнале «Acta psychologica», vol. X, № № 1—2, 4, 1954).

[2] См. Л. С. В ы г о т с к и й, Мышление и речь. Психологические исследования, М.— Л., 1934, стр. 5—16. См. то же в новом издании: Л. С. В ы г о т с к и й, Избр. психологические исследования, М., 1956, стр. 43—55.

[3] Л. С. Выготский употребляет термин «речь», по-видимому, в том смысле, который мы обычно вкладываем в термин «язык». Излагая взгляды Л. С. Выготского, мы оставляем его термин «речь», хотя сами бы сказали «язык».

на образующие его элементы, чужеродные по отношению друг к другу,— на мысль и слово, исследователи этого второго направления пытаются затем, изучив чистые свойства мышления независимо от речи и речь независимо от мышления, представить себе связь между тем и другим как внешнюю, механическую зависимость между двумя различными процессами. Но с ними, считает Л. С. Выготский, происходит то же, что произошло бы со всяким человеком, который в поисках научного объяснения каких-либо свойств воды (например, почему вода тушит огонь или почему к воде применим закон Архимеда) прибегнул бы к разложению воды на кислород и водород, как к средству объяснения этих свойств. Он с удивлением узнал бы, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение, и никогда не сумел бы из свойств этих элементов объяснить свойства, присущие целому. Именно в таком положении, по мнению Л. С. Выготского, оказались представители второго направления: само слово, содержащее в себе (как живая клеточка) в самом простом виде все основные свойства, присущие речевому мышлению в целом, они раздробили на две части — на знак и значение. Но знак языка, оторванный от мысли, теряет все свои специфические свойства, которые только и делают его знаком человеческого языка и выделяют из всех остальных природных процессов и явлений. Точно так же значение, оторванное от материальной, звуковой стороны слова, превращается в чистое представление, в чистый акт чувственности. Специфика мышления исчезает и здесь.

Решительным и поворотным моментом во всем учении о мышлении и речи, по мнению Л. С. Выготского, будет переход к анализу, расчленяющему сложное целое — «речевое мышление» — на «е д и н и ц ы». Под единицей он понимает такой продукт анализа, который, в отличие от элементов, обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимой живой частью этого единства[1].

*

Поскольку единое «языковое мышление» может быть расчленено различным образом в зависимости от задач исследования (при изучении мышления как такового —иначе, чем при исследовании языка; при исследовании современного состояния языка и мышления — иначе, чем при исследовании их генезиса, и т. д., и т. п.), постольку и ответ на вопрос о взаимоотношении языка и мышления будет различным в зависимости от того, в какой связи мы берем это взаимоотношение, т. е. в зависимости от того, в к а к и х ц е л я х и к а к производилось исходное расчленение.

Наша задача отличается от той, которая стояла перед Л. С. Выготским. Поэтому, соглашаясь в целом с произведенным им разделением всех точек зрения на два основных направления, мы хотим подчеркнуть другую сторону вопроса, а именно: существеннейшим моментом всех теорий, относящихся ко второму направлению, является не то, что представители этого направления вообще разделяли язык и мышление, и не то, что они указывали на это различие (оно, без сомнения, есть) и рассматривали язык отдельно от мышления, а то, что они и то и другое представляли к а к р а в н о п р а в н ы е в с м ы с л е в е щ е с т в е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я и р я д о м п о л о ж е н н ы е в с о з н а н и и процессы или явления. Именно это, «субстанциальное», как мы будем говорить, понимание языка и мышления, слова и значения и определяет, с нашей точки зрения, их метод исследования.

[1] См. Л. С. В ы г о т с к и й, указ. соч., стр. 9; по новому изд.—стр. 48.

Субстанциальный подход к анализу слова, казалось бы, оправдывается следующим рассуждением: *любое слово, взятое само по себе, как природное явление, т. е. как движение, звук или письменный знак, не имеет ничего общего с «природой» обозначаемого им объекта. Слово становится словом, получает смысл и значение лишь тогда, когда оно связано с соответствующими восприятиями и представлениями.* Значение слова, таким образом, заключено в процессах чувственности, а последние являются такими же субстанциальными, вещественными элементами, как языковые знаки, и лежат действительно наряду с последними.

Однако это рассуждение справедливо лишь в определенных, весьма узких границах. Его недостаточность, можно сказать, неправомерность, становится ясной уже после самого поверхностного взгляда на с о в р е м е н н о е н а у ч н о е мышление. Ведь очень много слов — большинство современных научных терминов — не связаны непосредственно с ощущениями, восприятиями, представлениями и не имеют никаких непосредственно им соответствующих чувственных эквивалентов (например, термины «энергия», «потенциал», «заряд» и др.). Таким образом, значение таких слов не может заключаться в чувственных субстанциальных процессах, но в то же время лежит в рамках сознания (с точки зрения традиционного расчленения оно есть сама мысль) и должно быть там обнаружено.

Чтобы обойти это затруднение, вводится особое явление сознания — «понятие», то специфически мысленное отображение сторон объективного мира, которое и составляет значение слов языка, не имеющих непосредственных чувственных эквивалентов[1]. Но, как легко заметить, затруднение этим не разрешается. Тотчас же возникает вопрос: а что представляет собой это «понятие»? Может ли оно рассматриваться как субстанциальное образование? Если да, то нужно внести существенные коррективы в павловское физиологическое учение: наряду с сигналами первого и второго порядка надо ввести сигналы третьего порядка, которые и дадут нам субстрат понятия, субстрат мысли. Если нет — тогда остается в силе все тот же вопрос: а что представляет собой мысль, мышление и, соответственно,— специфически мысленное значение слова? Если мышление и, соответственно, специфически мысленные значения слов языка не являются субстанциальными образованиями, лежащими наряду со знаками, то что же они представляют собой? Этот вопрос остается открытым.

Не решает его и Л. С. Выготский. Он видит специфику мышления в значении знака языка: «... именно в значении слова завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением»[2]. Но это значение Л. С. Выготский понимает и рассматривает в конечном счете так же, как и представители критикуемого им второго направления, т. е. как самостоятельное, вне и помимо знака существующее субстанциальное образование. Такое понимание значения знака языка в конце концов с неизбежностью приводит Л. С. Выготского к неправильным с точки зрения его собственного метода выводам о существовании так называемой доречевой стадии в развитии мышления, о различии генетических корней мышления и речи и т. п.[3] Л. С. Выготский, таким образом, начинает с утверждения о неразрывном единстве знака и значения, в этом единстве видит специфику мышления, но в конце концов, из-за субстанциального понимания природы значения знака, приходит к выводу, что значение может и даже должно было существовать отдельно от своего знака, мышление — отдельно от языка.

---

[1] См., например, А. И. С м и р н и ц к и й, Значение слова, ВЯ, 1955, № 2.
[2] Л. С. В ы г о т с к и й, указ. соч., стр. 9; по новому изд.— стр. 49.
[3] См. там же, стр. 76, 260; по новому изд.— стр. 119, 320.

И надо заметить, что ничто не меняется в способе исследования, а поэтому и в его результатах, когда некоторые ученые, по-прежнему понимая язык и мышление и, соответственно, знак и значение слова как субстанциальные элементы исследуемого целого, называют связь между ними «тесной», «органической» или даже «диалектической». Взяв в качестве исходных абстракций язык и мышление, разложив тем самым «языковое мышление» на два однородных и равноправных в отношении друг к другу элемента, исследователь не может сделать ничего другого, как установить между этими элементами чисто внешнее, механическое взаимодействие: «Язык и мышление возникли и развивались вместе. Развитие мышления помогало совершенствоваться языку и, наоборот, совершенствование языка способствовало дальнейшему развитию мышления. Язык сыграл огромную роль в развитии человека, человеческого мышления»[1]. Здесь каждая фраза построена в плане понимания языка и мышления как рядом существующих субстанциальных элементов: два разных явления развиваются «вместе», развитие одного «помогает», «способствует» совершенствованию другого и т. д., и т. п.

Весьма показательны результаты, к которым приходят исследователи, исходящие из субстанциального разложения «языкового мышления». Большинство из них рассуждает примерно так. В настоящее время содержание языкового общения людей между собой состоит в обмене мыслями. Таким образом, язык уже предполагает мысль, сложившееся мышление. Но что представляет собой мышление, взятое как логически первое по отношению к языку? Ведь только язык, согласно Марксу, является непосредственной действительностью мысли. Без языка и вне языка мышление не существует. Следовательно, не только язык предполагает существование мышления, но и мышление предполагает существование языка.

Как видим, действительное отношение между языком и мышлением по-прежнему остается неясным, и тогда исследователь конструирует особое, «диалектическое» по его мнению, взаимоотношение, скрывая за этим названием от себя и других неуменье решить проблему. «...Появление и развитие звукового языка теснейшим образом связано с появлением и развитием человеческого мышления. Язык... не может существовать, не являясь средством общения, средством обмена мыслями в обществе. Мышление человека, в свою очередь, не может существовать без языкового материала... где нет мысли, там также нет языка. Мышление и язык находятся в диалектическом единстве»[2]. Такими или подобными рассуждениями заканчиваются почти все теоретические построения о связи языка и мысли, основанные на «субстанциальном понимании» этих двух явлений. Язык предполагает мысль, мысль предполагает язык — таков результат этих построений. Исследователи утверждают единство, связь того, что сами так неудачно раздробили. Они выдают за результат исследования то, что было известно с самого начала, или, вернее, то, что они с самого начала постулировали. Никаких других результатов они не получают и не могут получить, ибо существующее понимание языка и мысли, знака и его значения как субстанциальных элементов заранее делает невозможным изучение действительных внутренних отношений «языкового мышления».

Таким образом, вопрос упирается в то, чтобы найти новый способ анализа, новую форму разложения исследуемого объекта — «языкового мышления».

---

[1] «Краткий философский словарь», 3-е изд., Госполитиздат, 1952, стр. 612 (статья «Язык»).

[2] И. А. Кондрашов, К вопросу о происхождении языка, сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», [М.], 1950, стр. 179.

*

Прежде всего мы должны обратить внимание на то, что исследуемый нами предмет — мышление — выступает в двух формах: 1) как образ определенных объектов, их изображение или отображение, т. е. как фиксированное знание, и 2) как процесс или деятельность, посредством которой этот образ получается, формируется; другими словами, мышление выступает, во-первых, как *знание*, во-вторых, как *познание*. Исследовать мышление необходимо в обеих формах его проявления. Однако при этом надо учесть, что сначала должно быть исследовано и зафиксировано в мысли мышление как знание, но никак не сам процесс познания, ибо всякое движение, всякий процесс сначала выявляется нами в виде последовательности состояний, являющихся каждый раз результатом процесса, а это и будут в данном случае *формы знания*. Особым образом направленный логический анализ этих состояний должен затем вскрыть в них *форму самого процесса*. Но это уже дело дальнейшего исследования, а начать можно только с *фиксированных состояний* процесса, т. е. с определенных, фиксированных в мысли форм знания. Таким образом, чтобы исследовать и воспроизвести в мысли *мышление как процесс познания*, мы должны сначала исследовать и воспроизвести в мысли *мышление как совокупность различных форм знания*.

Исследование знания, в свою очередь, может начаться только с того, в чем оно проявляется на поверхности,— с непосредственно-созерцаемого. Таким материалом в данном случае является язык — непосредственная действительность мысли[1].

Здесь сразу надо оговориться: этот термин — «язык» — не имеет точно установившегося значения и употребляется по-разному. Мы будем понимать под языком систему общественно-фиксированных знаков — движений, звуков, письменных изображений,— служащую для общения людей между собой и для отражения объектов природы. К языку, таким образом, надо будет отнести, наряду со словами обычного, разговорного языка, математические символы и формулы, химические формулы, формулы логики и политэкономии, графики и т. п. Даже геометрические фигуры, изображения треугольников, кругов, пирамид и т. п. в определенной связи могут быть и становятся знаками языка[2]. Под знаком языка в этой связи мы будем понимать вообще всякое движение, звучание, письменное изображение, имеющее самостоятельное значение. Мы будем называть такой знак «словом», даже если это обозначение элемента в структурной формуле химии.

Итак, приступая к исследованию мышления, мы должны начать с непосредственно-созерцаемого, с языка, или, если брать отдельные единички языка,— со слова. Слово как реально данный и непосредственно-созерцаемый объект есть всегда какое-то материальное явление: движение, звук, письменное изображение. Но ни движение, ни звук, ни письменное изображение, взятые как природные явления, вне всяких отношений

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 3, стр. 448. См. также: «Язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание...» (там же, стр. 29).

[2] Ср.: «...я понимаю под словом любой знак, а под языком — любую знаковую систему, поскольку то и другое употребляется с той же направленностью и с теми же задачами, что и слова звукового языка. Таким образом, алгебраические символы, письменные знаки любого вида и геометрические фигуры будут рассматриваться как язык специального вида...» (G. Révész, Denken und Sprechen, «Acta psychologica», vol. 10, № 1—2, 1954, стр. 11).

к человеческой общественной деятельности, не являются знаками языка, словами. Далее, большинство знаков языка, взятых как природные явления, не имеют ничего общего с материальным строением объектов, которые они обозначают. И несмотря на это, наше мышление — одна из форм отражения действительности — выражается и, можно сказать, о с у щ е с т в л я е т с я в языке. Значит, язык и каждая его единичка — слово — содержит, кроме знака как такового — движения, звучания, письменного изображения,— еще нечто, что, собственно, и позволяет ему быть отражением.

Мы говорим: знак языка имеет значение и поэтому он отражает или выражает. Это значение входит в состав слова, является «моментом» его структуры, таким же ингредиентом, как и сам знак[1]. Но чем является это значение, что оно представляет собой? Как мы уже выяснили, для многих слов это значение не может быть каким-либо особым субстанциальным образованием, лежащим в сознании наряду со знаком. Но если значение не является субстанцией, то оно может быть только о т н о ш е н и е м, только с в я з ь ю з н а к о в я з ы к а с ч е м-т о д р у г и м.

Конечно, можно было бы рассмотреть слово как сложное образование, включающее в себя, во-первых, знак, во-вторых, то, к чему этот знак относится, например представление, если таковое у этого знака имеется, и, наконец, связь между ними; т. е. можно было бы рассмотреть слово как образование, включающее три ингредиента, и назвать значением знака не саму связь, а то, к чему этот знак относится, то, с чем он связан, по схеме:

Значение——————знак
связь

Тогда структура слов, непосредственно связанных с чувственными образами, выразилась бы схемой:

Чувственное значение——————знак
связь

Но само чувственное значение — и мы, материалисты, должны особенно подчеркивать этот момент — всегда является лишь средством связи знака с различными объектами действительности, т. е. всегда в подобного рода случаях имеет место взаимосвязь вида:

Объект. —————— чувств. ——————знак
содержание значение

где само чувственное значение выступает лишь как м о м е н т связи с о б ъ е к т и в н ы м содержанием; поэтому, чтобы ограничить элементы, образующие слово, исключительно рамками сознания и не втиснуть туда весь объективный мир, придется ограничить значение слова только тем, с чем знак связан н е п о с р е д с т в е н н о. Однако такое решение вопроса — удовлетворительное, пока мы имеем дело со знаками, имеющими непосредственно-чувственные эквиваленты, становится неудовлетворительным, как только мы переходим к знакам, не имеющим таких эквивалентов, например к знаку механического ускорения «а», к знаку энергии «Е» и т. п. Эти знаки соотносятся со своим объективным содержанием через посредство ряда других знаков по схеме:

Объект. —— чувств. ——1-й знак——2-й знак——3-й знак
содержание образ

[1] См. А. И. С м и р н и ц к и й, указ. соч., стр. 82.

Например, значение знака «a» устанавливается путем соотнесения его с математическим отношением знаков «v» и «t»; значение знака «v», в свою очередь, устанавливается путем соотнесения его с математическим отношением знаков «s» и «t», и только последние связаны с определенным чувственно-данным материалом. Но и этот чувственный материал ни в коем случае нельзя рассматривать как значение знака «a», в лучшем случае — как значение знаков «s» и «t» (т. е. в схеме — не 3-го знака, а 1-го знака).

Если мы примем положение, что значение знака языка заключено только в том, что связано с ним непосредственно, нам придется сказать, что значение ряда знаков языка заключено в других знаках. Положение явно неприемлемое, если мы хотим рассматривать знаки языка как отражение о б ъ е к т и в н о й действительности. И в то же время мы не можем сказать, что значение знаков языка составляют чувственные образы, например значение 3-го знака — чувственные образы, связанные с 1-м знаком. Волей-неволей, следуя трехчленной схеме:

Значение ——————— знак
связь

приходится относить к значению объективное содержание, реальные предметы и их стороны. Опять-таки неприемлемое положение, если мы хотим рассматривать значение слова как момент его в н у т р е н н е й структуры.

Итак, мы не можем ограничивать значение слова только тем, с чем н е п о с р е д с т в е н н о связан его знак; не можем считать значением и те чувственные образы, посредством которых знаки языка относятся к своему объективному содержанию. Мы вообще не можем принять трехчленной структуры слова, а должны принять двухчленную и в качестве значения знака языка взять всю «цепь соотнесения» знака с его объективным содержанием, всю связь (или, вернее, все связи — так как их может быть несколько) знака с объективным содержанием, все моменты, все ингредиенты этой связи, сколько бы их ни было и какими бы они ни были.

Из всего этого следует, что различные знаки слов имеют различного рода связь с объективным содержанием, в зависимости от того, каково это содержание и как оно было выявлено. Задача дальнейшего исследования значения слов поэтому состоит в исследовании типов этой связи, пока же нам важно утвердить общее положение: значение слова есть сама связь, сама соотнесенность его знака с действительностью; соответствующая взаимосвязь может быть изображена схемой:

Объективное содержание ——————— знак.
значение

где часть ——————— знак изображает само слово.
значение

Данное соображение и определяет характер, структуру того расчленения, тот прием анализа, который мы хотим применить при исследовании «языкового мышления». В отличие от приема разложения на «субстанциальные элементы» он может быть обозначен как анализ, выделяющий в «единице» сложного «структурного» целого «материал» и «функции».

Приступая к исследованию какого-либо объекта, находящегося внутри более сложного целого, мы можем различить в нем две стороны, два момента: «функцию» и «материал». Понятия «функции» и «материала» относительны. Функция есть свойство какой-либо части целого, возникающее за счет его связей с другими частями целого. Один объект может содержать в себе ряд различных функций. Это значит, что один объект может находиться в многоразличных отношениях с другими объектами.

Выделив в нем одну какую-либо функцию, одну связь, мы получаем в остатке материал. Но этот «материал» какого-либо объекта часто сам может рассматриваться как самостоятельный объект, идеальный или реальный, существовавший именно в такой форме раньше, или даже существующий сейчас. Он может быть вторично подвергнут тому же анализу и, в свою очередь, разложен на функцию и материал. Последовательное применение этого приема позволяет постепенно выделить, абстрагировать различные функции исследуемых объектов и рассмотреть их по отдельности или в особых, определяемых последовательностью расчленения комбинациях. В конечном пункте расчленения исследователь получает «чистую субстанцию» анализируемого объекта с его свойствами-атрибутами и ряд свойств-функций, которые несет на себе эта субстанция в связи с другими явлениями и процессами.

С этой точки зрения язык представляет собой систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, несущих на себе ряд функций. Из всей массы выделенных различными исследователями функций языка мы берем три, на наш взгляд, основные и достаточно общие функции: коммуникативную, экспрессивную и функцию отражения. В соответствии с этим мы будем определять язык как систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, которые несут на себе эти три функции.

Каждая из указанных функций языка в определенных границах может рассматриваться независимо от других и, таким образом, образует особый предмет исследования. В частности, строя упрощенную модель языка, мы можем ограничиться двумя из основных функций: коммуникативной и функцией отражения.

Называя «отражение» функциональным свойством языка, мы тем самым подчеркиваем, что это свойство не присуще субстанции языка как таковой, т. е. движениям, звукам и письменным знакам, а возникает только в отношении к каким-то другим явлениям, только в определенной связи. Но это значит, что, имея своей задачей исследование какой-либо функции языка, мы не сможем ограничиться в качестве объекта исследования самим языком, а должны будем перейти к более сложному целому, внутри которого язык существует и несет эту функцию.

Когда в исходном пункте нам дано сложное целое и мы должны перейти к исследованию отдельного его элемента, но к такому, при котором этот элемент рассматривается не как *простое изолированное целое*, а именно как элемент сложного целого,— понятие о функциональном свойстве этого элемента выступает как способ изолировать часть целого, вырвать ее из связи с другими частями целого, в то же время сохраняя знание об этих связях. Наоборот, чтобы исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально в форме свойства выделенного объекта исследования, мы должны перейти от этого объекта к более сложному целому, частью которого он является. И только так может быть понята какая-либо функция. Иначе говоря, исследовать определенную функцию какого-либо объекта — значит исследовать определенные связи, в которых этот объект существует внутри более сложного целого. Анализ отношений, в н е ш н и х для этого объекта, оказывается в то же время анализом в н у т р е н н и х связей какого-то более сложного целого и только в этой последней форме может быть осуществлен.

Но такой вывод заставляет нас, по существу, изменить предмет исследования: ч т о б ы и с с л е д о в а т ь ф у н к ц и ю о т р а ж е н и я я з ы к а, м ы д о л ж н ы и с с л е д о в а т ь т е с в я з и, в к о т о р ы х с у щ е с т в у е т я з ы к и к о т о р ы е д е л а ю т е г о о т р а ж е н и е м. Это будет переход от собственно языка к чему-то другому,

к какому-то новому структурному предмету исследования, к связи языкового отражения. То же самое нужно сказать и относительно коммуникативной функции языка.

Таким образом, мышление оказывается не субстанциальным образованием и не атрибутивным свойством какой-либо субстанции, а взаимосвязью особого рода, элементами которой являются знаки языка.

В этой связи надо заметить, что понятие «язык» может употребляться и употребляется нами в двух различных смыслах: во-первых, язык рассматривается как сложное целое, включающее в себя мышление и коммуникацию в качестве своих сторон-функций; во-вторых, язык рассматривается как часть взаимосвязи мышления (или коммуникации). В зависимости от того, что является предметом нашего исследования — язык как таковой или взаимосвязь мышления,— мы употребляем понятие «язык» в том или другом смысле.

*

Как мы уже говорили, взаимосвязь:

Объективное содержание ——— знаки
значение

может анализироваться с двух точек зрения: во-первых, как взаимосвязь, в которой мышление выступает в качестве образа определенного объективного содержания, как его изображение или отражение, т. е. в качестве фиксированного знания; во-вторых, как взаимосвязь, в которой мышление выступает в качестве процесса или деятельности, посредством которой этот образ получается, формируется. Эти два аспекта исследования мышления, несмотря на тесную взаимосвязь, различны.

Возьмем, к примеру, два предложения: *Кислота содержит водород* и *Площадь круга равна* πR^2. Мы можем рассмотреть каждое из этих предложений как уже установленную, твердо фиксированную и постоянно осуществляющуюся взаимосвязь определенных признаков. Тогда, в отношении к единичным реальным объектам, эти предложения выступают как форма общего знания, как форма понятия: *если это кислота, то она содержит водород*; *если это круг, то его площадь равна* πR^2. В данном случае каждое из этих предложений берется как уже сложившееся, готовое целое и как целое относится к тем или иным реальным объектам. Но мы можем рассмотреть каждое из этих предложений и с другой точки зрения: как протекающий процесс, как акт установления связи. При таком способе рассмотрения нас прежде всего будет интересовать вопрос: как, на основании чего мы могли осуществить эту связь, как, на основании чего мы произвели сам акт связывания. С этой точки зрения оба приведенных предложения выступают как элементарные акты процесса познания, как суждения.

Необходимо заметить, что сами по себе, как группы определенных знаков, эти предложения не являются ни формами понятия, ни суждениями. Это — предложения. Чтобы рассмотреть их как формы понятия или как суждения, мы должны взять их в определенном отношении к объективному содержанию, т. е. от языка как такового, от языковых связей мы должны перейти к взаимосвязи:

Объективное содержание ——— группа знаков
значение

В обоих случаях, рассматривая какую-либо группу знаков как знание или как процесс познания, мы будем анализировать указанную взаимо-

связь, но будем анализировать ее по-разному и выражать результаты исследования в разных понятиях. В первом случае мы должны будем рассмотреть логическую структуру этой знаковой системы, ответить на вопрос, что получилось и как (после определенных процессов мышления) это «что-то» относится к своему объективному содержанию, т. е. должны будем дать общую характеристику логических категорий. Во втором случае мы должны будем ответить на вопрос, как получилась эта знаковая система, в результате каких процессов или действий мышления. В первом случае мы будем говорить о логической структуре форм знания и понятий, во втором — о логических процессах: операциях, приемах и способах исследования.

Выделение и исследование логической структуры знания как такового и процессов познания как таковых предполагает выработку особых абстракций и введение особой символики для их выражения. Это позволит исследовать мышление в его собственной специфике, независимо от особенностей языковой формы его выражения. Существующие в настоящее время понятия так называемой формальной логики не могут обеспечить такого исследования, так как по своему содержанию они еще не отдифференцировались от понятий языковых форм. Смешение содержания тех и других проявляется, в частности, в традиционной параллели: слово — понятие, предложение — суждение, сложное предложение — умозаключение. И это не только параллель. Исходя из нее, в логике обычно называют понятием все то, что выражается в отдельном термине, суждением — все то, что выражено в предложении, а умозаключением — ряд связанных между собою предложений. С нашей точки зрения, понятие может быть выражено различными языковыми формами: отдельным словом (*стол, энергия, желтый*), предложением (*кислота содержит водород*), формулой зависимости ($y = f[x_1 x_2 \ldots]$) или формулой состава (H_2SO_4), целой системой связанных между собой предложений, например три тома «Капитала» К. Маркса, дающие понятие о буржуазных производственных отношениях, и т. д., и т. п. Различие языковых форм выражения этих понятий указывает на различие их логической структуры, но чтобы отразить эти логические различия, нужны особые, специфически логические абстракции.

*

Исследование логической структуры форм знания и процессов познания позволит нам отделить специфически мысленное значение слов от чувственного их значения, тем самым — понятие от представления. Дело в том, что не всякая взаимосвязь типа:

Объективное содержание — группа знаков
значение

является специфически мысленной взаимосвязью. Например, взаимосвязь

Предмет — чувственный образ этого предмета — группа знаков, обозначающая этот чувственный образ

не является мысленной взаимосвязью и не дает понятия о предмете. Так, ребенок в возрасте полутора лет легко запоминает названия предметов, которыми пользуются взрослые, и может просить эти предметы, более или менее отчетливо выговаривая название. Но хотя ребенок прекрасно знает, какой именно предмет он просит, хотя у ребенка существует устойчивая связь между чувственным образом этого предмета и его названием, тем не менее у него нет понятия о называемом предмете и не будет

такового, пока он не усвоит назначение и способ использования этого предмета в практической жизни.

Дело в том, что мысль имеет не только свою особую форму, в которой она отражает объекты природы, но и свое особое объективное содержание, она органически связана с процессами труда и берет объекты природы с такой стороны и в такой взаимосвязи, которая, во-первых, не может возникнуть при чисто умозрительном отношении к окружающему миру, во-вторых, часто вообще не доступна чувственному отражению. Но это возможно и может быть объяснено только в предположении, что мышление представляет собой о с о б у ю деятельность (с образами объектов природы), отличную от деятельности чувственного отражения. А это, в свою очередь, значит, что знаки языка, выражающие понятия, относятся к своему особому объективному содержанию о с о б ы м о б р а з о м, т. е. имеют особое специфически мысленное, понятийное значение.

В этой связи должно быть уточнено то положение о взаимоотношении языка и мышления, которое мы выдвинули раньше. Приступая к исследованию мышления, мы полагали, что всякая мысль выражается в языке, всякое языковое проявление есть осуществление мысли. В плане филогенеза это совершенно верно, в плане онтогенеза, а следовательно, и в плане структуры существующего, — не всегда. Чтобы учесть и эти проявления, мы должны несколько видоизменить постулированное вначале положение: не всякое языковое проявление есть выражение мысленного образа, понятия; в знаках языка в ряде случаев могут выражаться и чувственные образы в чистом виде. Чтобы дать более точное определение мышления, надо охарактеризовать его со стороны составляющих специфических процессов и их результатов — понятий, т. е., как мы уже сказали, надо исследовать логическую структуру понятий и образующих их процессов. Тогда мышление будет охарактеризовано само по себе, в своей собственной специфике.

*

Мы рассматривали проблему взаимоотношения языка и мышления только с одной стороны. Мы совсем не касались вопроса о взаимоотношении процессов отражения и процессов коммуникации, хотя этот вопрос, без сомнения, целиком и полностью входит в рассматриваемую проблему; мы совершенно не затрагивали вопрос об отношении собственно мышления, собственно мыслительной деятельности к речевой деятельности, жестикуляции и процессам письма, точно так же, как и вопрос об отношении процессов экспрессии к языку и мышлению. По существу речь шла об одном узком аспекте проблемы — о х а р а к т е р е и с х о д н о г о р а с ч л е н е н и я единого, внутренне цельного, но уже отвлеченного, обработанного исследователем и в этом смысле идеального объекта — «языкового мышления» при выделении в нем мышления как такового. В этой связи, естественно, нельзя ставить во всем его объеме и решать вопрос об отношении языка как предмета языкознания к мышлению как предмету логики. Мы изложим лишь несколько общих соображений по поводу этой проблемы с точки зрения разбираемого исходного расчленения «языкового мышления».

Наше исследование начинается с особым образом направленного, особым образом построенного анализа языка. Рассматривая язык как определенный материал, несущий на себе функции, коммуникативную и «отражения», мы направляем исследование на п р о ц е с с ы коммуникации и п р о ц е с с ы отражения. В результате этого меняется непосредственный предмет исследования: от языка как определенной фикси-

рованной системы знаков мы переходим к процессам, в которых эта система участвует и реализуется. Это есть одновременно и отход от изучения языка как такового, и углубление в изучение языка, так как принципы построения языковой системы, принципы ее функционирования и развития могут быть поняты только на основе исследования процессов коммуникации и отражения как таковых. В этой связи, конечно, может быть поставлен вопрос, что́, собственно, должно изучать языкознание: процессы коммуникации, процессы отражения, или сфера его исследования у́же и ограничивается языком как фиксированной системой знаков? входит ли сюда исследование речевых особенностей и т. д., и т. п.?

Этот вопрос можно было бы поставить, но он был бы искусственным. В данном случае мы приходим к выводу, что исследование языкового отражения (мышления) и языковой коммуникации неизбежно начинается с исследования языка, что последнее на определенном этапе должно превратиться в исследование процессов отражения и коммуникации как таковых, взятых изолированно друг от друга и изолированно от языка; что затем, после того как будет построена теория логических категорий, теория процессов мышления, теории коммуникации и экспрессии и т. п., нужно будет «вернуться» и рассмотреть язык как тот материал, в котором осуществляются одновременно все эти связанные друг с другом процессы.

Таким образом, описав «внешние свойства» различных языковых систем, исследователь должен «спуститься» к тем процессам, которые лежат в основе языка, исследовать закономерности этих процессов как таковых и уже затем из них «вывести» закономерности языковой системы вообще и особенности того или иного ее частного проявления. Общая структура подобного исследования, таким образом, предполагает мысленное, абстрактно-логическое движение от результатов каких-то процессов к самим этим процессам и от процессов — опять к результатам. В итоге мы получим новое понятие о языке, который, если мы берем простейшую модель, предстает перед нами как двуединый процесс отражения—коммуникации; мы получим новую синтезированную и обобщенную теорию «языковой деятельности», объясняющую все найденные уже в языкознании закономерности. На основе этой обобщенной теории можно будет, по-видимому, построить теорию «рациональной языковой системы», наиболее приспособленной к процессам отражения и коммуникации.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. Р. ЗИНДЕР

О ЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Типы звуковых изменений

Вопрос о звуковых изменениях считается обычно, наряду с вопросами об определении слова или предложения, одной из наиболее спорных проблем языковедения. Это вполне справедливо, если иметь в виду причины звуковых изменений и понятие звукового закона, которые действительно по-разному трактуются не только во многих специальных работах (в том числе и в трудах выдающихся языковедов), но и в попутных высказываниях, содержащихся в общих и в частных исследованиях. Если же обратиться к типологии фонетических изменений и к характеристике фонетических процессов, лежащих в основе звуковых изменений, то мы, напротив, должны будем констатировать поразительное единодушие, наблюдающееся в понимании этих процессов языковедами самых различных школ и направлений. В общем можно сказать, что в этом отношении взгляды младограмматиков остаются господствующими и до наших дней.

Даже широкое распространение учения о фонеме, свидетелями которого мы являемся уже на протяжении более чем двадцати пяти лет, почти ничего не изменило в укоренившихся еще в XIX в. представлениях о путях фонетических изменений. Вместе с тем основные положения исторической фонетики находятся в резком противоречии с фонематическим пониманием звуковых явлений. Это обстоятельство делает необходимым рассмотрение господствующих в науке представлений о звуковых изменениях с точки зрения учения о фонеме.

Первое, что вытекает из фонематической интерпретации звуковых изменений,— это необходимость различать, с одной стороны, изменения в составе фонем данного языка в целом и, с другой, изменения в фонемном составе слов[1]. Примерами первых могут служить или возникновение мягких согласных в русском языке, или же появление лабиализованных гласных переднего ряда в немецком, что привело к увеличению количества согласных фонем в русском и гласных фонем в немецком языке. К звуковым изменениям этого же типа относится и утрата фонемы [ъ] в русском языке, приведшая к сокращению числа гласных фонем в нем. В рассматриваемых случаях дело не ограничивается только количественной стороной; изменение числа фонем естественно влечет за собой перестройку и системы фонем, т. е. изменение связей, существующих между фонемами, их перегруппировку и т. д. Такие изменения, следовательно, сказываются на всей фонетической структуре языка.

В качестве примеров изменения фонемного состава слов могут служить

[1] Существует еще и третий тип звуковых изменений, когда состав фонем остается неизменным, а происходит перестройка системы фонем, т. е. изменяются связи между фонемами. Это — случай особый и в данной статье не рассматривается.

замена *e* на *o* в определенных условиях в русском языке или же замена долгих *ī*, *ū* в немецком дифтонгами *ei*, *au*. В этих случаях никаких изменений в составе фонем русского и немецкого языков не произошло. Гласные *e* и *o* как существовали в русском языке, так и продолжают существовать, но только гласный *o* стал употребляться и в таких словах или формах слов, в которых раньше употреблялся гласный *e*. Равным образом, в немецком языке искони существовали и долгие *ī*, *ū*, и дифтонги *ei*, *au*, но только последние встречаются сейчас также в тех словах, в которых раньше были долгие *ī*, *ū*. Звуковые изменения этого типа не ведут к перестройке фонематической системы данного языка, однако они не безразличны для его фонетической структуры. Так, замена *e* на *o*, имевшая место в русском языке, привела к тому, что фонема [о] стала употребляться в новом фонетическом положении (между мягким и твердым согласным), в результате чего появился и новый оттенок фонемы [о].

В последние годы часто высказывается мнение, будто звуковая сторона является наиболее изменчивой в языке, будто она гораздо менее устойчива по сравнению не только с грамматическим строем, но и со словарным составом. История языков, однако, показывает, что это справедливо только в отношении фонемного состава слов, который действительно бывает очень изменчивым; в современном немецком языке, например, относительно немногие слова сохраняют те коренные гласные, которые они имели в средневерхненемецком. Что же касается развития состава фонем языка, то оно происходит чрезвычайно медленно, нередко гораздо медленнее, чем развитие грамматического строя. На протяжении истории языка появляются новые фонемы, исчезают отдельные старые, но в основном состав фонем сохраняется в течение многих веков. Так, состав фонем немецкого языка сложился в общем уже к XII в.; в последующие же 700—800 лет можно отметить лишь самые незначительные изменения в этом отношении.

Необходимость различать звуковые изменения — как ведущие к изменению состава фонем языка, так и не имеющие таких последствий, неоднократно отмечалась в лингвистической литературе. Это было впервые четко сформулировано в фонологических терминах Р. Якобсоном[1]. По существу же аналогичную трактовку вопроса мы находим еще у А. И. Томсона[2], который, правда, не оперировал понятием фонемы. Он считал, что оба вида звуковых изменений могут возникнуть в результате одного и того же фонетического процесса. Такое понимание вещей остается господствующим и до наших дней (оно не опровергается и в указанной работе Р. Якобсона).

Следует, однако, отметить, что рассматриваемые виды звуковых изменений различаются (и не могут не различаться) не только по результатам, но и по характеру их возникновения и развития. Можно с уверенностью сказать, что замена в определенных случаях одних фонем другими, уже существующими в данном языке, должна происходить иначе, чем возникновение новых фонематических различий или исчезновение старых

В самом деле, в последнем случае некие нефонематические звуковые явления, которые обычно не замечаются, а если и замечаются, то не осознаются (в том смысле, что говорящий и слушающий не отдают себе отчета в их существе)[3], в силу тех или иных причин приобретают словораз-

[1] См. R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», t. IV, 1931, стр. 247—267.

[2] См. А. И. Томсон, Общее языковедение, Одесса, 1910, стр. 245.

[3] Психологическую сторону рассматриваемого явления ни в коем случае не следует упускать из виду. Она объективно существует и не перестанет существовать, несмотря на то, что мы ее упорно игнорируем. Последнее обстоятельство лишь свидетель-

личительное или форморазличительное значение, или, наоборот, утрачивают его, а это ведет к количественному изменению состава фонем. В первом же случае речь идет об употреблении одной фонемы вместо другой — употреблении, которое вследствие самостоятельности фонем отчетливо осознается. Когда в ряде слов, пусть даже в строго определенной фонетической позиции, происходит замена одной фонемы другой, и говорящий и слушающий осознают это. В подобных случаях нередко возникают споры, как надо произносить то или иное слово (например, *брился* или *брилса*, *зупки* или *зупьки* и т. п.).

Как уже говорилось, принято различать постепенные изменения звуков (эволюцию) и замену звуков (субституцию). Понимание субституции, которая происходит в случаях действия субстрата или в сходных с ними, не вызывает сомнения и с фонематической точки зрения. Поэтому здесь нет необходимости останавливаться на ней. Напротив, традиционное понимание эволюции требует внимательного рассмотрения.

Пути развития состава фонем

Прежде всего следует указать, что трактовка фонетического процесса, именуемого эволюцией, базируется на том понимании сущности звуковых различий, которое существовало до появления теории фонемы. По старым представлениям, различие между звуками речи определяется только различием их артикуляционно-акустических свойств. И даже тогда, когда было ясно, что один и тот же звук речи неоднороден в физическом отношении, его тождество видели в сходстве его разновидностей. Так, А. И. Томсон, как известно, отрицательно относившийся к теории фонемы, писал: «... слуховые ощущения и комплексы движений органов речи, обозначаемые буквою *к*, представляют много разновидностей, имеющих между собою известные общие элементы и известные различия... Но в то же время все звуки, обозначаемые посредством буквы *к*, ...имеют в акустическом и особенно в физиологическом отношении значительное сходство и существенно отличаются от разных *т*, *ф* и пр. Поэтому все *к* вместе образуют более широкую единицу в звуках и движениях, которая, следовательно, тоже имеет право на название „отдельный звук“»[1].

Исходя из такого понимания звуковых различий, фонетическую эволюцию, естественно, представляли как первоначально незначительное и потому незаметное изменение в произношении того или иного звука, которое с течением времени делается все бóльшим и бóльшим, пока, наконец, не становится очевидным настолько, что воспринимается как новый звук.

Такая характеристика звуковой эволюции, идущая еще со времени возникновения младограмматического направления[2], можно сказать, считается аксиомой и в современном языкознании. Э. Сепир, например, пишет: «Движение, начавшееся как легкое фонетическое отступление от нормы, как еле заметное нарушение ее, может через тысячелетия привести к глубочайшим структурным изменениям»; и далее, говоря о пере-

---

ствует о нашей методологической слабости. С точки зрения марксистского языкознания психологические явления представляются производными. Поэтому, если мы установим их закономерную обусловленность теми или иными чисто языковыми отношениями и связями, то мы сможем пользоваться психологическими явлениями как индикаторами этих последних. В учении о фонеме (во всех его сторонах) такой «индикатор», несомненно, может оказать большую и надежную помощь исследователю.

[1] А. И. Томсон, указ. соч., стр. 219—220.

[2] См., например, Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 38—41.

ходе гласного *о* в *ӧ* в древних германских языках, он указывает: «В дальнейшем звуковое качество *ӧ* должно было настолько далеко отойти от качества *о*, что *ӧ* проникло в сознание как явственно отличный звук»[1]. Аналогичное высказывание мы находим и в одной из новейших книг по общей фонетике, где мы читаем: «Со временем, очень постепенно и незаметно, отклонения в произношении, если они продолжаются в том же направлении, могут привести к новому звуку»[2].

В свете теории фонемы приведенное выше понимание звуковой эволюции не выдерживает никакой критики: различение фонем совершенно не связано с бо́льшим или меньшим фонетическим различием; фонетический диапазон оттенков одной фонемы может быть очень велик и, напротив, различие между оттенками разных фонем — ничтожно мало. Кроме того, известно, что одно и то же фонетическое различие в одном языке представляет оттенки одной фонемы, а в другом используется как две самостоятельные фонемы[3]. Следовательно, отличие нового звучания от старого не может само по себе дать новую фонему.

Сущность звуковой эволюции заключается не в изменении артикуляционно-акустических свойств фонем, а в том, что функционально незначимые звуковые различия (различия между оттенками одной фонемы) начинают использоваться как словоразличительные (т. е. различия между фонемами), или, наоборот, функциональное значение какого-либо звукового различия утрачивается.

Концепция постепенного изменения звука речи, приводящего в конце концов к образованию нового звука, может показаться заманчивой: в ней можно увидеть проявление диалектического закона перехода количества в качество. Однако никто такого явления, разумеется, наблюдать не мог, оно реконструируется умозрительным путем. Напротив, в языках постоянно наблюдается одновременное сосуществование разных звуков, выражающих одну фонему. Каждый такой звук, иными словами — каждый такой оттенок фонемы и является в потенции новой самостоятельной фонемой. Таким образом, в языке постоянно существуют фонетические предпосылки звуковых изменений, заключающиеся в неоднородности звукового выражения фонемы[4].

Поскольку звуковая эволюция состоит не в образовании нового звука, а в возникновении нового фонематического различия или в исчезновении его, постольку и количественные изменения, ведущие к качественному скачку, нужно искать не в изменениях фонетических свойств звука, а в чем-то ином. Качественный скачок, заключающийся в том, что нефонематическое различие начинает использоваться как фонематическое, наступает после длительного процесса чисто количественного характера. Процесс этот состоит в том, что тот или иной оттенок фонемы начинает употребляться все чаще и чаще. Это обусловлено прежде всего постоянным ростом словарного состава языка, а также и изменениями в его грамматическом строе. Указанные обстоятельства ведут и к тому, что данная фонема начинает употребляться в новых фонетических условиях, благодаря чему меняются ее артикуляционно-акустические свойства — появляются новые оттенки.

---

[1] Э. Сепир, Язык, М.— Л., 1934, стр. 137—138.

[2] E. Dieth, Vademekum der Phonetik, Bern, 1950, стр. 281—282.

[3] См. Л. Р. Зиндер и М. И. Матусевич, К истории учения о фонеме, ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 1, стр. 62—75.

[4] Сказанное не исключает возможности артикуляционно-акустических изменений в фонетической структуре. Наряду с изменениями в составе фонем происходят изменения и в составе оттенков фонемы. Появление новых оттенков или исчезновение ранее существовавших и определяет изменения чисто произносительно-слухового характера.

Вопрос о том, каким образом отмеченные выше количественные изменения переходят в качественные, т. е. как происходит превращение оттенков одной фонемы в самостоятельные фонемы, решается на основании исследования каждого конкретного случая и именно для данного случая. Чтобы иметь возможность лучше наблюдать «механизм» такого превращения, полезно обратиться прежде всего к таким фактам, которые имеют место в современных языках. В этом отношении представляет интерес рассмотрение русских палатализованного [к′] и непалатализованного [к]. Спор о том, считать ли эти два *к* отдельными фонемами, как раз и подтверждает, что мы имеем здесь дело с живым процессом.

Для правильного истолкования фонематической сущности отношения [к — к′] необходимо обратиться к анализу некоторых фактов, связанных с корреляцией палатализованные — непалатализованные в русском языке.

Как наследие того времени, когда непалатализованный и соответствующий ему палатализованный согласный были оттенками одной фонемы, в русском языке продолжало сохраняться чередование палатализованных и непалатализованных согласных корня в зависимости от того, стоял ли в окончании гласный переднего или заднего ряда. Это происходило со всеми согласными, кроме заднеязычных, которые перед гласным переднего ряда чередовались с аффрикатами [k ‖ c ‖ č] или со щелевыми [g ‖ z ‖ ž]; например, *несу — неси — несешь*[1]; *иду — иди — идешь* и т. п. (но *пеку — пьци — печешь*). В результате дальнейших изменений гласный *е* в окончании при наличии ударения на нем оказался замененным гласным *о*. Таким образом, возникло фонетически не обусловленное чередование согласных в настоящем времени многих глаголов (например: [n′ésu — n′es′oš; idu — id′oš; b′eru — b′er′oš; plьvu — plьv′oš] и т. п.), широко распространенное в современном русском языке. Наряду с этим продолжало и продолжает существовать имеющее фонетическое основание чередование типа *несу — неси*, которое распространилось и на заднеязычные согласные (ср. *пеку — пеки*). В результате фонема [к] в определенный момент истории русского языка приобрела новый, не существовавший ранее палатализованный оттенок.

Едва ли можно сомневаться в том, что в современном русском языке чередования [d ‖ d′, s ‖ s′, r ‖ r′] в случаях *иду — иди, несу — неси, беру — бери* отождествляются с такими же чередованиями в случаях *иду — идешь, несу — несешь*. И там, и здесь мы, очевидно, имеем дело с чередованием фонем, выполняющим наряду с флексией определенную морфологическую функцию[2]. То же можно сказать и об относительно старых противоположениях палатализованных и непалатализованных согласных ([v′ — v, s′ — s, t′ — t] и т. п.). Совершенно естественно, что аналогичное фонетическое различие [к′ — к], не имевшее до недавнего времени фонематического значения, получив достаточное распространение в тех же морфологических категориях, что и старые пары палатализованных и непалатализованных (ср. *беру — бери* и *пеку — пеки*; *вода — воде* и *рука — руке* и т. п.), легко могло фонематизоваться, т. е. дать две фонемы: [к′] и [к]. Свидетельством этого является факт употребления [к′] перед гласными заднего ряда (ср. *ткёшь, ткёт*, а также *Кюри, Кяхта* и т. п.), где мягкость [к′] обусловлена не иноязычным влиянием, а закономерным воспроизведением соответствующих русских написаний.

В рассмотренном примере роль «повивальной бабки» при рождении

[1] Букву *е* в *ешь* нужно читать в приводимых здесь примерах, как [е].

[2] Глагол, разумеется, не единственная сфера распространения таких чередований; аналогичное чередование мы имеем, например, и в склонении имен существительных: *вода — воде, коса — косе* и т. п.

новой фонемы играла система фонем русского языка, наличие в ней коррелятивного ряда палатализованных и непалатализованных согласных. Часто такую роль играет развитие грамматического строя или изменение фонематического состава ряда слов.

Примером последнего пути может служить история немецкого *ich*-Laut'а, фонематическая самостоятельность которого тоже часто оспаривается, как и самостоятельность русского [к']. Не подлежит никакому сомнению, что *ich*-Laut и *ach*-Laut являлись двумя оттенками одной фонемы; первый встречался только после гласных переднего ряда, второй — после гласных заднего ряда.

В XVI—XVII вв. некоторые слова (например, *solich*, *manich*), а также и суффикс уменьшительных-*ichen* утратили гласный *i*, предшествовавший палатальному оттенку *ch* и обусловливавший его. Несмотря на изменение фонетических условий, согласный *ch* в этих случаях сохранил палатальный характер. Став фонетически независимым, он приобрел фонематическую самостоятельность, обнаруживающуюся в том, что он употребляется в начале ряда новых заимствованных слов, а также и в суффиксе *-chen* независимо от того, предшествует ли ему гласный переднего или заднего ряда[1].

При возникновении в немецком языке лабиализованных гласных фонем переднего ряда действовали морфолого-фонетические факторы. История этих гласных такова: под влиянием окончаний, содержавших *i*, гласные фонемы [o], [u], [a], [o], [ū] произносились еще в древневерхненемецком, как [ö], [ü], [ä], [o], [u] (это явление известно под названием умлаута). Однако до тех пор, пока сохранялось вызывавшее умлаут *i*, каждая пара гласных *o* и *ö*, *u* и *ü* и т. д. составляла оттенки одной фонемы; они соответственно и обозначались на письме одними и теми же буквами (ср. *scôno* — *scôni*, *wârum* — *wâri* и т. д.). К средневерхненемецкому периоду произошла редукция флексий, в результате которой *i*, равно как и все другие гласные, нейтрализовалось в гласном *e*. Таким образом, фонетическая причина, обусловливавшая передние оттенки соответствующих фонем, больше не существовала. Оказавшись вследствие этого фонетически не зависимыми, указанные оттенки фонематически обособились и получили специальное обозначение на письме (др.-в.-нем. *scôno* > ср.-в.-нем. *schône*; др.-в.-нем. *scôni* > ср.-в.-нем. *schœne*; др.-в.-нем. *wârum* > ср.-в.-нем. *wâren*; др.-в.-нем. *wâri* > ср.-в.-нем. *wœre*)[2].

После сказанного остается решить вопрос, в какой момент эволюции оттенки «расщепляющейся» фонемы начинают участвовать в словоразличении. Надо думать, что это происходит еще до того, как эти оттенки начинают употребляться в одинаковых фонетических условиях. Не потому [k'] палатализованное стало фонемой, что появилось слово [tk'ot], а наоборот, слово [tk'ot] оказалось возможным потому, что [k] стало фонематически противопоставляться [k']. Возникновение связи оттенков со смыслом происходит, следовательно, еще в недрах фонемы, выражением которой данные оттенки являются. Этим и подготавливается разделение оттенков, составляющих одну фонему, на две отдельные фонемы.

Все это находит свое истолкование в теории «общего облика» слова С. И. Бернштейна[3]. Согласно данной теории, слово узнается по его зву-

---

[1] Подробнее об этом см. Л. Р. Зиндер, Ich-Laut, «Уч. зап. 1-го Ленингр. гос. пед. ин-та иностр. языков», т. I, 1940, стр. 66.

[2] Ср. H. Penzl, Umlaut and secondary umlaut in Old High German, «Language», vol. 25, № 3, 1949, стр. 223—252.

[3] См. С. И. Бернштейн, Вопросы обучения произношению..., М., 1937, стр. 25.

ковому облику в целом; следовательно, каждый элемент слова имеет существенное значение. Это и вполне понятно, так как каждый звук, входящий в состав слова, является в нем представителем соответствующей фонемы. А если так, то ясно, что основная словоразличительная нагрузка может перемещаться с одного элемента на другой. С точки зрения указанной теории для опознавания, например, формы *пеки* наряду с окончанием *и* палатализованность *к* играла существенную роль и тогда, когда оно не противополагалось непалатализованному. При соответствующих обстоятельствах, о которых речь шла выше, могло случиться так, что палатализованный согласный сам по себе стал связываться со смыслом, т. е. фонематически обособился от непалатализованного.

Примером того, как может подготавливаться утрата фонематического различия, могут служить гласные [ы — і] в русском языке. Что эти гласные первоначально представляли две фонемы, никем не подвергается сомнению (слав. *ы* и *і*, как известно, имеют различное происхождение). Вопрос же о том, представляют ли они отдельные фонемы и в современном русском языке или же являются комбинаторными оттенками одной фонемы, продолжает оставаться спорным, но это лишь увеличивает интерес к исследованию указанной проблемы.

Как известно, до возникновения соответствующего фонематического противоположения пары палатализованных и непалатализованных немягких согласных представляли в русском языке комбинаторные оттенки одной фонемы. Первые встречались только перед гласными переднего ряда, в том числе и перед [і], вторые — только перед гласными заднего ряда, в том числе и перед [ы]. Таким образом, гласный [і] встречался после палатализованных согласных, а также и в начале слов. Гласный же [ы], не встречавшийся в начале слов, мог стоять только после непалатализованных согласных.

Когда палатализованные и непалатализованные согласные стали самостоятельными фонемами (это произошло в результате падения редуцированных), гласные [ы] и [і], оказавшиеся во взаимоисключающих фонетических положениях, должны были утратить возможность использоваться в словоразличительной функции. В самом деле, поскольку в сочетаниях типа [ты — т'і] *такую функцию переняли согласные, постольку* [ы] и [і] должны были превратиться в комбинаторные оттенки одной фонемы, обусловленные характером предшествующего согласного.

И. А. Бодуэн де Куртенэ, а за ним и многие другие считали и считают, что [ы] и [і] уже слились в одну фонему. Согласно же мнению Л. В. Щербы, этот процесс не является завершенным до настоящего времени. Он писал: «Что касается *ы*, то это в значительной мере менее самостоятельная фонема, находящаяся в интимных отношениях с *і*, которого она является как бы оттенком. Происходит это потому, что *ы* никогда не употребляется в виде отдельного слова, никогда не стоит в начале слова и возможно лишь после „твердых“ согласных... Но ввиду того, что случаи, где со смысловой точки зрения *ы* и *і* являются тождественными, крайне немногочисленны — так как нет случаев чередования *ы* и *і* в корнях, в противоположность разным оттенкам *е* (*белый — бель*),— то *ы* является все-таки самостоятельной фонемой, хотя, может, и не в той же мере, как *а*, *е*, *і*, *о*, *и*»[1].

Независимо от того, прав ли Бодуэн де Куртенэ или Щерба, рассматриваемый случай прекрасно показывает, какие факторы действуют при устранении фонематического различия[2].

[1] Л. В. Щ е р б а, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912, стр. 50.

[2] Кстати можно указать на некоторые факты, подтверждающие точку зрения Л. В. Щербы. Во-первых, [ы] и [і] самостоятельно используются в качестве названий

Итак, заключая анализ примеров развития состава фонем языка, можно сказать, что они убедительно опровергают представление о том, будто в основе звуковой эволюции лежит постепенное изменение артикуляционно-акустических свойств фонем.

Пути развития фонемного состава слов

Как указывалось выше, традиционная историческая фонетика не видит разницы между тем, как происходит изменение состава фонем языка, и тем, как изменяется фонемный состав слов. Последнее, по привычным представлениям, происходит также благодаря постепенному изменению характера звуков.

Так, по поводу «перехода» [е] в [о] в русском языке А. А. Шахматов писал: «В общерусском праязыке перед *е*, как и перед другими гласными переднего ряда, смягчались все вообще согласные. Это *е* перешло в *ö* в положении перед следующими твердыми согласными... В великорусском наречии *ö* с течением времени изменилось в *о*...»[1]. Такая реконструкция, постулирование промежуточного гласного *ö*, не засвидетельствованного ни в каких памятниках, понадобилась Шахматову, очевидно, для того, чтобы фонетически «объяснить» путь развития [е] в [о]. Однако никак нельзя понять, в силу какого фонетического механизма должна была произойти лабиализация [е], т. е. переход его в [о] между палатализованным и непалатализованным согласным.

Стремясь найти такой механизм, А. И. Томсон должен был прибегнуть к весьма сложному построению. Он писал: «Так, при переходе *е* в *о* (*берёзу*) первопричиной индивидуального изменения могло быть перенесение лабиализации от последующего твердого лабиализованного согласного (органическое индивидуальное изменение). Несколько лабиализовавшееся *е* имеет более низкий собственный шум резонатора — характерный шум гласного. Перенимающие дети могли производить почти тот же звук с незаметным различием в тембре посредством более заднего подъема языка и без лабиализации (изменение при перенятии). При дальнейшем стремлении лабиализовать собственный звук этого нового гласного также понизился бы и мог у перенимающих снова вызвать еще более заднее положение языка, пока, наконец, в течение нескольких поколений, подъем языка оказался у мягкого нёба и при нем опять лабиализация, так что этот звук совпал с *о*»[2].

Неправдоподобность этой реконструкции совершенно очевидна. Дело не только в том, что она строится на сомнительных общих принципах, но и в том, что в качестве исходных случаев берутся относительно редко встречавшиеся формы слов, в которых *е* оказывалось перед лабиализованными согласными. В действительности же при «переходе» *е* и *о* не наблюдалось никакого звукового изменения; была лишь замена в некоторых случаях (в определенном фонетическом положении) одной фонемы другой, существовавшей уже в языке. Естественно поэтому, что поиски фонетического механизма такого «перехода» бесплодны.

Следует указать далее, что рассматриваемый «переход» продолжается

соответствующих букв. Во-вторых, любопытно отметить, что в последнее время гласный [ы] стал появляться и в начале слов. Это имеет место в корейских географических наименованиях и в собственных именах (например, *Ымсон*, *Ыденпу*). Могут возразить, что это заимствованные слова, но симптоматично то, что гласный [ы] в них не заменяется гласным [і].

[1] А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд., М., 1941, стр. 114.

[2] А. И. Томсон, указ. соч., стр. 258—259.

и в наши дни[1] и что современные факты весьма поучительны. Они свидетельствуют о том, что мы имеем в общерусском произношении (не говоря уже о диалектах) целый ряд параллельных форм; ср. *современный* и *современённый*, *безнадежный* и *безнадёжный*, *одноименный* и *одноимённый*[2] и др. Любопытно отметить, что в некоторых случаях разное произношение закрепляется как признак лексической дифференциации; ср. *небо* и *нёбо*, *совершенный* (прилагательное) и *совершённый* (причастие) и др. Со временем все большее количество слов произносится с *о* вместо *е*, но только в определенном фонетическом положении, а именно — под ударением перед *непалатализованным* согласным; обратное же явление — замена *о* на *е* — никогда не имеет места. Никто, разумеется, не заподозрит сейчас, что это происходит благодаря действию какого-либо физиологического фактора; совершенно очевидно, что тут действует попросту фонетическая аналогия[3].

Не следует ли допустить, что нечто подобное происходило и в древнерусском? Во всяком случае, нельзя не обратить внимания на те связи, которые существовали в древнерусском языке между гласными *е* и *о*. А такие связи действительно имели место и выражались в унаследованном от индоевропейского и сохранившемся до нашего времени чередовании по аблауту; ср., например: *беру — набор*, *плету — плот*, *бреду — брод* и т. п. Может быть, это чередование неударенного *е* с ударенным *о* и было перенесено на все аналогичные по фонетическому положению случаи.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что изменения в фонемном составе слов протекают аналогично изменениям в других областях языка (в морфологии и в синтаксисе). Замена в ряде слов одной фонемы другой фонемой принципиально не отличается от замены одной морфемы другой морфемой, равнозначной с первой (ср., например, распространение в русском языке окончания именительного падежа множественного числа существительных мужского рода *а* за счет окончания *ы*). Совершенно естественно, что, пытаясь установить в подобных случаях фонетические закономерности, исследователи вынуждены признавать возможность исключений. Это и является причиной бесконечных, остававшихся до сих пор бесплодными споров о том, существуют ли так называемые «звуковые законы».

Изменения в фонемном составе слов не являются, строго говоря, фонетическими процессами в отличие от изменений в составе фонем языка. Поэтому только к последним и возможно применять понятие звукового закона.

---

[1] Является ли он непосредственным продолжением древнего процесса, в данном случае не имеет значения.

[2] См. С. П. Обнорский, Переход *е* в *о* в современном русском языке, в кн. «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сб. статей и материалов», М.— Л., 1947, стр. 295.

[3] Акад. С. П. Обнорский выражает сомнение в применимости принципа аналогии к явлениям фонетического порядка (см. С. П. Обнорский, указ. соч., стр. 296). С этим нужно согласиться, если речь идет о неосознаваемых процессах, касающихся оттенков фонем, не имеющих функционального значения. Однако когда имеются в виду осознаваемые отношения между фонемами (а С. П. Обнорский говорит именно о таких случаях), это положение нельзя признать правильным.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

СТ. СТОЙКОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ДИАЛЕКТЫ

(На материале болгарского языка)

В каждом языке речь отдельных профессиональных и социальных групп отличается рядом особенностей, преимущественно лексических.

Эти особенности следует отделять от остальных языковых явлений и рассматривать в рамках диалектологии как особый вид диалектов — социальные диалекты. Конечно, термин д и а л е к т ы здесь употребляется в несколько необычном значении, так как социальные говоры не есть говоры в полном смысле слова. Однако это обстоятельство не может служить препятствием для употребления предлагаемого термина[1].

Исходя из понимания, что диалектология занимается всеми современными языковыми явлениями, которые находятся вне сферы литературного языка, мы включаем изучение социальных диалектов в диалектологию как небольшой самостоятельный отдел[2].

Социальные говоры характеризуются следующими основными чертами:

1. Социальные говоры не являются говорами в полном смысле слова, т. е. не представляют собой языковые системы, которые имеют характерные особенности в фонетике, морфологии и синтаксисе. Они используют грамматические особенности территориальных говоров или литературной разговорной речи и отличаются только своим словарем. Поэтому в известной мере правы те лингвисты, которые не считают их самостоятельными говорами, а рассматривают их лишь как особые словари, особые системы слов[3].

2. Социальные говоры не являются и полностью самостоятельными словарями, т. е. они не имеют своих слов для всех предметов и действий, а отличаются только одной или несколькими семантическими группами в зависимости от нужд и интересов лиц, которые пользуются ими. Таким образом, социальные говоры состоят лишь из ограниченного, меньшего или большего числа слов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий. В них нет особых служебных слов — предлогов, союзов и частиц.

3. Социальные говоры имеют ограниченное употребление. Ими пользуется известный более широкий или более узкий круг людей, объединенных производственными, бытовыми или другими условиями, и к тому же только тогда, когда эти люди находятся в своей среде. Вне ее они используют общий территориальный говор или разговорный литературный

[1] В таком же значении этот термин употребляют А. С. Ч и к о б а в а («Введение в языкознание», ч. I, М., 1952, стр. 67—72) и А. А. Р е ф о р м а т с к и й («Введение в языкознание», М., 1955, стр. 386—390).

[2] См. Ст. С т о й к о в, Българските социални говори, «Език и литература», год. II, кн. V, 1947.

[3] См., например, Fr. O b e r p f a l c e r, Argot a slangy, «Československá vlastivěda», díl III — Jazyk, Praha, 1934, стр. 312.

язык. Таким образом, социальные говоры являются второй системой слов, употребляемой преднамеренно или непреднамеренно только при известных обстоятельствах.

4. Социальные говоры, подобно территориальным, свойственны исключительно устной речи. Они находятся в положении бесписьменных языков, хотя некоторые их слова могут встретиться в специальной и в художественной литературе. Эта особенность социальных говоров ведет к известной подвижности, к известной непостоянности их.

Из всего сказанного видно, что социальные диалекты являются особыми системами слов, весьма ограниченными по составу, функции и употреблению. При их изучении раскрываются некоторые тенденции развития языка, определяются возможности образования новых слов, обновления словаря.

Социальные говоры по своему употреблению и назначению делятся на две основные группы: 1) профессиональные говоры и 2) жаргоны.

Профессиональные говоры существуют везде, где есть разделение труда. Они создаются и оформляются постепенно с развитием данной профессии или данного ремесла, а усвоение их происходит незаметно, параллельно с изучением отдельных производственных приемов и процессов. Из двух видов социальных диалектов профессиональные диалекты в меньшей степени могут быть квалифицированы как говоры в полном смысле этого слова. В сущности они являются собранием отдельных слов и составляют так называемую профессиональную терминологию, созданную на основе известного территориального говора или разговорного литературного языка. Профессиональные говоры выполняют общественно полезную функцию, так как входящая в них лексика обозначает предметы и явления, не имеющие своего названия в литературном языке. В этом кроется возможность обогащения словаря литературного языка за счет профессиональной лексики.

Каждый профессиональный говор, т. е. всякая особая профессиональная лексика, охватывает: 1) названия орудий производства и, в частности, всех тех их разновидностей и частей, которые важны для производственного процесса; 2) названия отдельных трудовых процессов, характерных для данного производства; 3) названия материалов (главных и вспомогательных), с которыми работают, и тех их качеств, которые имеют значение в производстве; 4) названия выработанных предметов, их частей, их технических и потребительских качеств; 5) профессиональные выражения, связанные с родом деятельности, с организацией труда, и пр.

В целом профессиональный говор охватывает всю техническую и общественную терминологию, которая характеризует данную трудовую деятельность, данное производство. От профессионального говора следует отличать профессиональный «жаргон»— менее устойчивую часть словаря, которая, существуя только в устах профессионала, охватывает явления, находящиеся вне производства. При этом профессиональный говор переходит в групповой (корпоративный). Установить определенную границу между ними не представляется возможным.

Характер трудовой деятельности данного общественного объединения определяет и особое направление в развитии его мышления. Познание окружающей действительности более полно, более сложно и более дифференцированно в той области, куда направлена трудовая деятельность. Поэтому самая характерная черта профессиональных диалектов — это их необычайно богатый словарь, который содержит множество названий предметов и действий, прямо связанных с трудовой деятельностью. Так, в то время как литературный язык ограничивается и довольствуется толь-

ко одним термином, более общим по характеру, как, например, *трйон* «пила», *рендé* «рубанок», который не различает разновидностей, в профессиональном говоре болгарских плотников находим отдельные названия 8 видов пил (*разсéчка, засéчка, швáйцик, пасвáтел, фýкшванц, свлакóвка, чепóвка, злодéйка*), 6 видов обыкновенных рубанков (*копáч, глáдик, двóйник, плáн, римсóвник, пуцóвник*) и 13 видов специальных рубанков (*лодкáр, дъгóвник, вандхóбел, фалцóвник, платóвник, рýквандхобел, прътóвник, хóлкер, кúтфалц, нутóвник, перóвник, гратóвник, осноеáр*). Кроме того, в каждом профессиональном говоре имеется множество названий предметов и действий, которые вообще не встречаются в литературном языке. Так, например, плотник различает в одном окне *кéмпфер, шпрóсни, шлáглайстни, водотéк* и пр. Ср. также названия инструментов и орудий в говоре болгарских плотников, не имеющие соответствий в литературном языке (*цúкла, чáп, стéга, чирáк, гéрунг, пóлня*); названия форм обработанного древесного материала (*перó, зъб,нут, длаб, швáртня, щáбче, шúпка, лезéна*); названия действий (*шпóнтвам, фугóвам, шлúцвам, плáтвам, нýтвам, фладúрам*) и пр. В речи болгарских сапожников встречаются такие не имеющие литературных соответствий названия, как: *маканé, лабýня, камарé, чарк, брóка, егé, локенé, щéка, диспóнт* (инструменты), *падвáл, пáнго* (оборудование), *бомбé, маскарé, юс, фтéрна, кóбарак, филé, езúк, форт, табáн, вáрдало, г'он, флек, подмéтка, ток, капáк, долмалък, хастáр, формáла, стéлка* (части обуви), *кýн'а, терáк, кáмара, петá* (части колодки для обуви). Болгарский портной пользуется словами *енсé, блéта, кавýра, рúгла, фóрпас, áксел* (части одежды), *пикúрам, декатúрам* (названия действий) и пр. Чем более сложной и более специальной является трудовая деятельность, тем более специальными и более разнообразными являются инструменты и процессы, необходимые для нее, тем более богат и более разнообразен профессиональный говор ее исполнителей.

Профессиональная лексика по своим характерным особенностям очень близка к скотоводческой и земледельческой лексике территориальных диалектов. Близка она и к научной терминологии, хотя и отличается от нее рядом существенных особенностей. В словаре профессиональных говоров, при большой дифференцированности в названиях отдельных предметов и видовых понятий, нет названий более крупных категорий одинаковых или сходных явлений. Каждое название по своему материальному составу изолировано от других названий, в отличие от научной терминологии, где слова, обозначающие близкие понятия, обычно образуются от одного корня.

Ж а р г о н ы представляют собой отклонение от общенародного языка в отношении своей особой лексики, которая в значительной части заменяет общеупотребительные слова. Это искаженный, испорченный язык, возникающий вследствие стремления отдельных общественных группировок обособиться в языковом отношении и поэтому не несущий общественно полезной функции. Некоторые присущие жаргону слова могут переходить в просторечье или в литературный разговорный язык (обычно в качестве синонимов уже существующих названий), загромождая и портя его.

По своему характеру жаргоны бывают трех видов: 1) тайные говоры, 2) групповые говоры и 3) классовые говоры.

Т а й н ы е г о в о р ы, называемые еще тайными, условными языками, арго (франц. argots, нем. Sondersprachen), в прошлом употреблялись исключительно «деклассированными элементами» — ворами, бродягами и др. и служили им средством защиты и борьбы с обществом. В настоящее время тайные говоры постепенно исчезают вместе с исчезновением общест-

венной категории «деклассированных»; они расширили и изменили свою функцию, смешиваясь в значительной степени с групповыми говорами городских «низов» и особенно с говорами молодежи. Тайным говорам, как и профессиональным, свойственна известная специализация лексики, но основная масса их слов (что вообще характерно для жаргона) заменяет общеупотребительные названия общенародного языка. Это связано с основным назначением тайных говоров — удовлетворять обыденные нужды повседневной жизни.

Тайные говоры имеют следующие характерные черты:

1. Значительная часть их слов отличается большой специализацией и конкретностью. Так, вместо литературного слова *кражба* «кража» болгарский вор употребляет *вътрешна махала́* «кража из внутреннего кармана», *външна махала́* «кража из наружного кармана», *добра́к* «кража путем разрезания кармана», *петл'а́рка* «кража из кармана пятью пальцами», *текне́ кири́с* «кража из ящика стола», *тава́н кири́с* «кража с крыши», *калаи́с* «кража с отмычкой», *печи́с* «кража из дома», *ту́фа* «кража со взломом», *караман'о́л* «грабеж с применением оружия», т. е. существует 10 названий для понятия «кража» в зависимости от характера этого действия. Такая специализация есть и у других понятий (ср., например, «обман», «глупый человек» и др.).

2. В тайных говорах имеется большое количество слов, которые заменяют общенародные слова, обозначающие жизненно важные понятия. Эти названия обычно имеют известное отношение к «профессии» воров, разбойников и пр. Такими словами являются, например, *абе́* «хлеб», *голема́н* «вино», *кёсар* «нож», *димин'а́ца* «день», *серена́да* «ночь», *кефа́л* «голова», *маши́на* «живот», *очила́* «окна», *ру́дник* «погреб», *тре́ско* «поезд», *файро́н* «конец»; *кл'о́пам* «есть», *йу́зим* «спать», *гу́рам* «ходить», *чакти́свам* «понимать»; *да́рек* «добрый», *карта́л* «большой», *крато́ш* «низкий», *сефали́йа* «приятный», *сиври́йа* «ловкий», *йукли́йа* «богатый» и пр.

3. В тайных говорах имеется значительное количество синонимов при обозначении понятий, которые играют важную роль в жизни «деклассированных» и являются центром их интересов. Так, у болгарских воров встречаются 3 слова, обозначающие «деньги» *(ки́нти, мангъ́зи, тра́нци)*, 3 слова, обозначающие «игральные кости» *(вълчета, фандъ́ци, чу́кове)*, 5 слов со значением «глупый, наивный» *(ба́лама, бал'ък, бу́тур, ливя́да, шапша́л)*, 3 слова со значением «давать» *(тани́вам, тапо́свам, бу́там)*, 4 слова со значением «смотреть» *(дики́зим, ждра́кам, кири́зим, ски́вам)* и пр.

4. В тайных говорах встречается и своеобразное сближение некоторых значений слов, отражающее представления «деклассированных». Так, *да́гам*, например, означает «брать» и «воровать», *ба́чкам* — «работать» и «красть», *вре́звам* — «обманывать» и «бежать» и пр.

5. Тайные говоры отличаются особой иронией, даже сарказмом, что представляет собой выражение особого отношения к общепринятым нормам добра, честности, справедливости и пр. Так, болгарские воры вместо слова *часовник*, означающего «часы», говорят *дерме́н* (турецкое слово «мельница»); вместо *заложна къща* «ломбард» — *закача́лка* «вешалка»; «квартира» у них *гюме́* (по-турецки это специальный шалаш для ловли водоплавающей птицы); *каса* «касса» — *ме́чка* «медведь»; *вземам пари в заем* «брать деньги взаймы» — *ре́ся* «кропить, терять»; *вересия* «кредит» — *кал* «грязь» и т. д.

К жаргонам по составу и по характеру надо отнести и тайные говоры некоторых странствующих ремесленников, таких, как каменщики, портные, чесальщики шерсти, паяльщики и др., у которых существует потребность разговаривать в присутствии работодателей и клиентов так,

чтобы не быть понятыми. Лексика тайных говоров ремесленников связана с трудовой деятельностью их носителей и с их повседневным бытом. Например, в тайном говоре каменщиков из района Пирдопа встречаются особые слова, которые заменяют названия, относящиеся к области строительства; но в этом говоре значительно больше слов, заменяющих обиходные названия. К производственной деятельности — строительству — относятся такие слова, как *б'ал* „известь", *гур* „камень", *друно* „дерево", *шкúпар* „кирпич", *търкал'áчка* „тележка", *л'ýга* „лопата", *репáн* „пила", *трън* „гвоздь", *к'бpaф* „окно", *пушилúв* „труба", *д'ýам* „мазать", *прéсам* „резать" и пр. Значительно больше, однако, названий бытового характера: *нов* „день", *нóва* „неделя", *прáма* „вечер", *бúеница* „молоко", *блак* „сахар", *брич* „хлеб", *вýиа* „вода", *големáн* „вино", *чóча* „водка", *крúпа* „соль", *миш* „мясо", *пл'ак* „отец", *мóтра* „дочь", *чýпа* „девушка", *дóра* „рука", *глýо* „ухо", *пáлка* „нога", *тúмба* „голова", *върнéш* „дождь", *грáнча* „писать", *пéа* „читать", *кéша се* „смеяться", *гáнам* „носить", *мáрам* „брать, воровать", *уштéвам* „кормить", *лúтам* „обманывать" и пр. Интересно, что материальный состав лексики тайных профессиональных говоров и тайных говоров преступников (арго) очень близок.

Групповые (корпоративные) говоры, известные под общим именем сленг (англ. slang), создаются стихийно у людей, вынужденных по той или другой причине жить совместно. В отличие от других видов жаргонов, групповые говоры не предназначены для того, чтобы сделать речь их носителей недоступной для посторонних лиц. Они являются скорее своеобразным общественным развлечением. Лексика этих говоров обладает богатыми оттенками экспрессивности, она вносит в речь известный юмор, а порой и цинизм. В основе групповых говоров обычно лежат тайные говоры, которые незаметно усваиваются другими социальными группами, часто не осознающими, что они пользуются особым «языком».

Групповые говоры возникают во всякой замкнутой среде и обыкновенно употребляются только внутри этой среды. Особенно широкое распространение они находят среди солдат, учащихся, студентов, спортсменов и др. — вообще среди молодых людей, между которыми имеется продолжительный непосредственный контакт и которые чувствуют себя в известной степени отделенными от остальных членов общества.

Групповые говоры, как и тайные говоры ремесленников, состоят главным образом из слов и выражений, которые имеют равнозначные соответствия в общенародном языке. Например, в лучше всего изученном болгарском групповом говоре — групповом говоре софийских гимназистов, известном под названием «тарикатски език»[1], встречаются такие слова, как *абé* „хлеб", *кл'опáчка* „еда", *иконостáс* „лицо", *баромéтър* „нос", *кеш* „страх", *сми* „смысл", *пинúс* „внимание", *лъскáч* „красавец", *мурýк* „отец", *гáдже* „девушка", *вóлкаф* „столь большой", *арабúйа* „щедрый человек", *рéдим*, *лáфим* „говорить", *танúвам* „давать", *шрáйбим* „писать", *шмъ́ркам*, *чýрим* „курить", *цúврим* „плакать", *гýкам* „петь", *áкере* „явно", *чáбуджак* „вдруг" и пр.

Отметим ряд других характерных особенностей групповых говоров.

1. В групповых говорах в связи с их экспрессивным характером встречается множество эмоционально окрашенных синонимов для понятий, которые имеют особую значимость в жизни коллектива. Так, в говоре софийских гимназистов есть по 7 синонимов для понятий „деньги" (*кúнти*, *мáнги*, *мангúзи*, *парá*, *пáрса*, *трáнци*, *фýнти*), „человек без денег",

[1] См. Ст. Стойков, Софийският ученически говор, «Годишник на Софийския ун-т», Ист.-филол. фак-т, т. XLII (1945/46), София, 1946.

„страшник"; но 6 синонимов для „бой" (*марúс, мéфта, мешé, мефтúс, наткалá, тимáр*), „крестьянин", „смотреть", „много"; но 5 для „вор". „служанка", „приставать"; но 4 для „есть" (*елúфам, грúскам, кл'óпам, джвáкам*), „пить", „быть голодным", „бежать", „смотреть", „девушка" и пр. А для некоторых слов, отличающихся своей исключительной экспрессивностью, можно набрать по нескольку десятков синонимов. Так, для „глупый" имеется 51 синоним, для „бить"—29, для „хорошо"—18, для „обманывать"—11, для „красть"—10 и пр. Если в литературном языке синонимы обычно не совпадают полностью по значению, имея известные смысловые или стилистические различия, то в групповых говорах они полностью равнозначны, служат для того, чтобы лишь внешне разнообразить речь, и поэтому со смысловой и стилистической точек зрения совершенно излишни.

2. В групповых говорах есть известное, хотя и не особенно большое, количество слов, которые имеют специальное значение и для которых нет соответствий в общенародном языке. Такими словами в говоре софийских гимназистов являются *маркúрам* „подставлять ножку", *разнúштим* „свалить с ног толчком", *брóим* „смотреть вызывающе", *придúгам* „держаться вызывающе, отвечать вызывающе", *курназúм се* „показать себя смелым", *изплáшам се* „пугать своей готовностью к бою", *скúнем* „заставить смеяться до упаду", *изнúжем се* „выйти незаметно", *к'úнци* „невыглаженные брюки", *нахáкан* „дерзко смел" и пр. Из приведенных примеров ясно, что значения этих слов отражают свойственные определенным группам молодежи представления, связанные с их повседневной жизнью.

3. Групповые говоры отличаются иронией и сарказмом, которые порождаются своеобразным нигилистическим отрицанием общественных ценностей.

4. Наконец, групповые говоры отличаются весьма ограниченным употреблением и недолговечностью. Они возникают в известной общественной группировке, живут вместе с ней и исчезают с ее распадом. Иногда, при наличии преемственности, они становятся большими, сложными диалектами, каким является „тарикатский говор" софийских гимназистов. Однако многие слова в групповых говорах быстро исчезают, потому что они порождаются отдельным случаем, анекдотом, фразой и потому что их жизнь зависит от многих неязыковых причин.

Особые социальные диалекты — к л а с с о в ы е ж а р г о н ы в зависимости от ряда конкретных исторических причин и условий развиваются и оформляются по-разному в отдельных странах. В странах со старой аристократией и буржуазией, например в царской России, Франции, Германии, Чехии и др., были созданы весьма развитые классовые жаргоны. В странах, где аристократия или буржуазия вышла на общественную сцену сравнительно поздно, классовые жаргоны весьма бедны или вообще не существуют. На основании исторических данных, которые имеются в нашем распоряжении, мы не можем сказать ничего конкретного о классовом жаргоне болгарской феодальной аристократии во время Первого и Второго болгарского царства. Теоретически, однако, допускаем, что существовал такой жаргон, хотя и не особенно богатый вследствие особой исторической судьбы болгарского народа. Что касается языка высших слоев болгарской буржуазии, то здесь можно указать как характерные лишь несколько десятков слов типа *мерсú, пардóн, кавалéр, дáма, хáйлайф, неглижé, жур, флирт, менú, консумúрам* «пить» и др., большинство которых уже перешло и в общенародный язык. Эти слова, естественно, не служат достаточным основанием для того, чтобы можно было говорить о жаргоне болгарской буржуазии.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Сложные и разнообразные интересы разделяют общество на группы. Это разделение отражается и в речи этих групп. Оно является причиной создания особых диалектов, возникших и существующих в разговорной речи как особые пласты лексики. Такие диалекты, одинаковые по своему происхождению, характеру и строению, существуют у всех народов.

2. Многие слова, появившиеся в узком профессиональном или ином социальном кругу, с течением времени выходят за рамки своего специального употребления и делаются общим достоянием.

3. Социальные говоры, как все языковые явления, представляют собой категорию историческую: с развитием общества они претерпевают ряд изменений. Можно предполагать, что с течением времени тайные говоры исчезнут, профессиональные обособятся еще больше, групповые же изменятся и станут обслуживать широкие круги будущего общества.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

Н. Ю. ШВЕДОВА

МЕЖДОМЕТИЯ КАК ГРАММАТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

В современной русской разговорной речи существует ряд конструктивных типов предикативных единиц[1], в которых обязательным структурным элементом является непроизводное междометие или неразложимое сочетание такого междометия с частицей или местоименным словом. Изъятие междометия ведет здесь не только к изменению эмоциональной и модальной окраски высказывания, но и к разрушению данной предикативной единицы как определенного типа построения. Некоторые из этих конструкций отмечаются исследователями, но собственно «строительная», грамматическая роль междометия обычно упускается из виду, и конструкции эти рассматриваются наряду с такими, в которых междометия стоят «вне предложения»[2], «синтаксически полностью обособлены»[3], «присоединяются со стороны»[4]. Здесь в разных формулировках повторяется традиционное и считающееся бесспорным положение о том, что «вступить *в какие-либо отношения с другими словами языка эти слова не могут*»[5], что «входя в состав предложения, междометие не связывается синтаксически с другими словами в предложении и не является членом предложения»[6]. Однако нельзя согласиться с тем, что, например, в предложениях типа *Ах она змея! Ах ты мошенник!*[7] значение презрения, упрека или порицания выражается междометием *ах*[8]: эмоционально-оценочное значение выражается здесь всей конструкцией в целом. Несмотря на то, что местоимение в таких построениях обозначает того, кому приписывается признак, называемый именем, это местоимение нельзя рассматривать

[1] Предикативными единицами будем называть два вида синтаксических построений, объединяющихся общей «сообщающей» функцией: во-первых, сказуемые двусоставных личных предложений; во-вторых, предикативные основы односоставных и двусоставных предложений, т. е. такие конструирующие их элементы, без которых эти предложения не могут существовать как данный тип синтаксического построения. Изучение материала показывает, что специальные средства выражения модально-экспрессивных и оценочных значений для формы сказуемого и для предикативной основы предложения в своей основной массе являются общими.

[2] Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис русского языка, 2-е изд., СПб., 1912, стр. 34.

[3] Л. В. Щерба, *О частях речи в русском языке*, сб. «Русская речь», II, Л., 1928, стр. 9.

[4] И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.— Л., 1945, стр. 291.

[5] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 372.

[6] «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 674.

[7] Обычно ставящаяся после междометия запятая (а иногда и восклицательный знак) здесь, как и в ряде других случаев, которые будут рассмотрены ниже, противоречит интонации: междометие произносится слитно с непосредственно следующим за ним словом.

[8] См. В. В. Виноградов, *Русский язык*, М.—Л., 1947, стр. 751.

как грамматическое подлежащее: вся конструкция не может быть традиционно расчленена на отдельные члены предложения. Ср. у Шахматова: «По-моему, односоставны и предложения типа: *Ах, вы золотой человек!— со вздохом промолвила Марья Николаевна.* Вешн. воды, XXXV [не то, чтобы она утверждала, что Санин золотой человек; *вы* не подлежащее; *вы золотой человек* нераздельное сочетание!]»[1]. Точность требует добавить, что само это нераздельное сочетание существует только в составе более сложного и тоже нераздельного сочетания — особого типа предложения с непроизводным междометием *ах* в качестве обязательного конструктивного элемента.

В предложениях типа *Ах я дурак! Ай да молодец наш Гриша! Эх молодость, молодость! Ох и ругался же он!* и других приравнивать междометия к тем или иным членам предложения, видеть в них «эквиваленты» определений или обстоятельств — невозможно. Вряд ли закономерно рассматривать междометия и как «экспрессивные синонимы» каких-либо знаменательных частей речи[2]. Междометие выступает здесь в одной из своих обычных функций — в функции структурного элемента предикативных единиц определенного типа. Неизученность грамматической природы этих конструкций не может служить основанием для того, чтобы отрицать в них собственно грамматическую роль междометий.

В. В. Виноградов отмечает, что «способы разнообразного функционально-синтаксического использования междометий у нас совершенно не изучены»[3]; он называет исследование синтаксических функций междометий одной из «задач будущего»[4]. Действительно, литература о синтаксической роли междометий в структуре предложения русской разговорной речи почти полностью отсутствует. Этому вопросу специально посвящена лишь статья А. И. Германовича «Синтаксис междометий и их стилистическое значение»[5]. Здесь междометия изучаются с точки зрения того, в функции каких членов предложения они выступают. Так, рассматривая предложения: *Ай да молодец! Ох, несчастье! Ай, беда. Ну, публика! Изволь вот ей угодить! Ох и красота!*, А. И. Германович полагает, что междометия здесь выступают в роли определения[6]. Правильно отмечая, что «знаки препинания на письме не передают интонационных связей междометия»[7], автор статьи в то же время не обращает достаточного внимания на интонацию предложения и на конструктивную роль междометий. Поэтому оказываются объединенными в одном ряду предложения, в которых роль междометий очень различна. Если в предложениях типа *Ох и*

---

[1] А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 511. Высказанное здесь понимание *этих предложений как односоставных* противоречит помещению их в разделе двусоставных согласованных односказуемых субстантивных предложений (§ 206[2]); впрочем, и в этом разделе Шахматов пишет, что «сказуемое в некоторых восклицательных предложениях представляет особую природу. *Ах, она старая чертовка!* Холост. (здесь нет утверждения)» (стр. 187).

[2] Ср. замечание о том, что первичные *междометия «нередко... выступают* как экспрессивные синонимы или смысловые эквиваленты слов из категории состояния, существительных, количественно-усилительных наречий и даже целых предложений. Например: „Скучно так, что ой-ой-ой!“ (Рылеев); „В ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!“ (Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Первый рассказ подьячего); „В каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка!“ (Гоголь, Мертвые души)» (В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 750; см. также стр. 759).

[3] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 759.

[4] Там же, стр. 760.

[5] «Изв. Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе», т. XIV, Кафедра русского языка, Симферополь, 1949.

[6] А. И. Германович, указ. соч., стр. 11, 14.

[7] Там же, стр. 17.

красота! или *Ай да молодец!* междометие интонационно неотделимо от имени и вместе с ним участвует в образовании особого вида синтаксической конструкции, то в предложениях типа *Ох, несчастье!* обязательно хотя бы незначительное интонационное членение; междометие здесь не является грамматически значимым элементом предложения, которое сохранит свою форму и значение и в случае «изъятия» междометия, чего не случится в случае изъятия междометий из предложений первой группы. Конечно, ни в том, ни в другом случае видеть в междометии определение не представляется возможным; стремление подогнать предложения особой, специфической структуры под традиционную схему нисколько не помогает уяснению их природы и, в частности, той функции, которую выполняют здесь междометия.

Итак, междометие может быть одним из элементов формы синтаксического построения того или иного типа. Это построение обычно является предикативно значимым; однако возможно — хотя со значительными ограничениями — участие междометий в образовании и таких синтаксических форм, которые не представляют собою «сообщающих» единиц языка — предложения или сказуемого (см. ниже).

Существует два основных вида предикативных единиц, оформляемых при участии первичных непроизводных междометий: 1) построения, оформляемые при участии одиночного междометия, и 2) построения, оформляемые при участии сочетания междометия и частицы; несколько особняком стоят конструкции, оформляемые при участии сочетания междометия с местоименным словом.

Предикативные единицы, оформляемые при участии одиночного междометия.

1. Непроизводные междометия *ох, ах, эх, ух, ой, ай* могут выступать в качестве обязательных строительных элементов при образовании безличных предложений[1], имеющих значение интенсивности, высокой степени проявления предикативного признака. Междометие находится в абсолютном начале предложения или непосредственно перед его главным членом, несет на себе ударение и интонационно не отделяется от следующего за ним слова; интонационная слитность с последующим словом и подчеркнутая ударенность междометия отличают описываемые предложения от таких, в которых междометие не является собственно синтаксическим элементом в предложении; ср.: *Трудно мне с ним работать, ох трудно!* и *Ох, трудно!*. Предложения данной структуры характеризуются тем, что они обычно строятся на основе повторения знаменательного слова в составе сложной бессоюзной конструкции: *Трудно, ох трудно! Достанется тебе от матери, ух достанется! Хорошо у них, ах хорошо!*[2].

Личные бесподлежащные предложения также могут оформляться при участии междометия; такие предложения обычно являются нераспространенными или малораспространенными: *Ух что сделаю! — Стало быть, она очень бедная?— Ух бедная!* Как и в безличных предложениях, такое предложение часто возникает на основе повторения: *Нудный ты,*

---

[1] Интересно замечание С. Карцевского о том, что междометия *эх, ах, ох, ух, эй, ай, ой* и некоторые другие обычно служат для введения фразы («... ne servent *normalement* qu'à introduire la phrase») (S. Karcevski, Introduction à l'étude de l'interjection, «Cahier Ferdinand de Saussure», 1, 1941, стр. 73).

[2] Возможно участие непроизводного междометия и в образовании предложений инфинитивных; однако такие построения редки; ср.: «Бурлаки работают: то и дело нагибая спины, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думают что-то, вероятно, об том: *ах бы лечь и отдохнуть*» (Решетников, Подлиповцы).

ух нудный! Тонкий расчет у командира, ох тонкий! Вот теперь закурю. Варюша, ох закурю! Вернется это к тебе с возрастом — ох вернется!

Рассматривая подобные построения с междометиями, «примыкающими» к следующему слову, А. И. Германович объединяет в одном ряду такие построения: *Ух, жарко! До полдня грибы собирали* (Некрасов) и *Ух, я не выношу клевет!* (Лермонтов)[1]. Между тем в первом случае междометие, интонационно сливающееся с безлично-предикативным словом (*у́х ⁀жа́рко!*), является неотъемлемым элементом предложения определенной структуры и значения; во втором предложении междометие такой структурно-грамматической функции не выполняет и синтаксически не связано с предикативной основой предложения.

Непроизводное междометие может участвовать и в формировании сказуемого; так же, как и в строе односоставного предложения, междометие здесь несет на себе ударение и интонационно сливается с непосредственно следующим за ним глаголом или именем: *Учитель наш — эх ⁀ба́шка!*; *Этот технорук только с виду вежливый, а сам ух ⁀вредный!*[2].

2. Особый тип предложения образуется сочетанием непроизводного междометия *эх, ах, ох* с дважды повторяемым именем существительным. Междометие стоит в абсолютном начале предложения и интонационно не отделяется от следующего за ним слова; все предложение произносится слитно, без паузного членения и обычно с интонационным спадом в конце. Такое предложение имеет значение сожаления или осуждения, легкой насмешки: *Ох нервы, нервы! Эх молодость, молодость! Эх деньги, деньги! Ах дела, дела!* Разновидность таких конструкций — предложения с личным местоимением после междометия; значение предложения остается тем же; местоимение не является ни подлежащим, ни обращением; роль его — полуслужебная: *Эх ты житье, житье! Вставши да за вытьё* (поговорка). При наличии местоимения существительное может не повторяться дважды: *Эх ты жизнь!*

3. Предложения типа *Ах она старая чертовка!* Шахматов справедливо считал односоставными, видя в соединении местоимения с существительным «нераздельное сочетание» (см. выше). Нераздельной здесь является, однако, вся структура предложения: междометие конструктивно значимо, с его изъятием нарушается данный особый тип синтаксического построения. Интонационное членение в предложениях этой формы отсутствует, междометие и имя (существительное или прилагательное) несут на себе ударение, местоимение безударно. Предложение имеет ярко выраженное эмоционально-оценочное значение; входящее в его состав имя обычно обозначает лицо по отрицательному или (реже) положительному признаку: *Ах он мошенник этакий! Ах ты проклятый! Ах я дурак! Ах я скотина неловкая! Ах она шельма! Ах ты умница моя!*

4. Предложения типа *Эти мне кумушки!* (или: *Уж эти мне кумушки! Уж эти кумушки! Эти кумушки!*) имеют значение неодобрения, осуждения, отрицательной оценки[3]. Рядом существует равнозначная аналогичная конструкция с непроизводным междометием *ах, ох, эх* в абсолютном начале предложения. Разновидности ее таковы:

---

[1] См. А. И. Германович, указ. соч., стр. 13.

[2] Сочетание знаменательного слова с междометием не является средством оформления только предикативных единиц: таким сочетанием может оформляться и логически акцентируемое обстоятельство или определение: *Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!* (Л. Толстой, Утро помещика); *Книжка попалась ух интересная!* (Из разг. речи).

[3] По-видимому, синтаксическая калька с немецкого. Ср. вообще способность определенного артикля в немецком языке выражать разные оттенки эмоционального отношения к лицу.

а]. *Ох эти кумушки!* Междометие всегда находится в абсолютном начале предложения, ударяемо и интонационно не отделяется от следующего за ним местоимения: *Ах эта тетушка! Ох эти больные барыни! Ах эти жалкие мужчины! Эх эти строители!* Местоимение может следовать за именем: *Ах народ этот!. Эх мальчишки эти!*

б]. *Ох уж эти кумушки!* Междометие несет на себе ударение, интонационно сливается с *уж: Ох уж эта весенняя сырость! Эх уж эта контора!*

в]. *Ох уж эти мне кумушки!*[1] Наиболее сильно акцентируемые слова — указательное местоимение и имя: *Ох уж эти мне переёзды! Ох уж эти мне заёзжие! Ох уж эти мне нёрвные лю́ди! Ох уж э́то мне ненáстье!*.

5. Междометие *áй* участвует вместе с именем в образовании предложений со значением удивления: *Ай Моська!* Интонационное членение. отсутствует, междометие безударно, всегда начинает собою предложение.

В предикативных единицах всех описанных типов непроизводное междометие не просто «прибавляется» для выражения того или иного чувства, эмоции, оценки; оно выполняет в предложении собственно строительную роль.

Предикативные единицы, оформляемые при участии сочетания непроизводного междометия и частицы.

Строительную роль в предложении может выполнять междометие в сочетании с частицами *и* и *да*. Предложения и сказуемые, формируемые при участии сочетаний *ох и, ах и, эх и, ух и, ой и,* имеют значение экспрессивной оценки. Предложения, оформляемые при участии данного сочетания, односоставны (за исключением построений с *был, будет*); междометное сочетание всегда начинает собою всю конструкцию; междометие несет на себе ударение: *Эх и пёсня!* Однако ударение на междометии может быть ослаблено и сосредоточено на знаменательном слове: *Эх и пёсня! Эх и пёсня была!*[2] В обоих случаях междометное сочетание интонационно не отделяется от следующего за ним слова.

В современной русской разговорной речи существуют следующие виды предложений, строящихся при участии сочетаний междометия с частицей *и*.

1. Односоставные определенно-личные предложения, обычно нераспространенные: а) главный член выражен существительным — одним или в сочетании с определяющим прилагательным: *Эх и песня! Ох и вздох! Ой и свидетель! Ух и вино! Ох и дотошная баба!*; б) главный член выражен прилагательным: *Ой и вредный! Ох и ученый! Горы-то какие! Ух и велики!*; в) главный член выражен спрягаемой формой глагола: *Ох и жмет! Эх и придумал!*

2. Односоставные не личные предложения: а) безличные предложения: *Ах и нехорошо! Ох и вкусно!*; б) неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения: *Эх и саданули! Ух и лютуют! Ох и дрожишь бывало!*

3. Двусоставные предложения со сказуемым — глаголом бытия: *Ох и неприятности будут! Эх и крик стоял!*

---

[1] При наличии паузы после междометия (*Ох, уж эти мне кумушки!*) оно не может рассматриваться как структурный элемент данного построения.

[2] Неточно поэтому утверждение, что интонационно междометие «всегда центральное слово, принимающее на себя наибольшую силу экспрессии, выражающейся в подчеркнутом произношении его, в силе или повышении тона» (А И. Германович, указ. соч., стр. 15; см. также стр. 17).

Во всех описанных конструкциях значение оценки может усиливаться и подчеркиваться введением после знаменательного слова частицы *же*. Усиливая общее значение предложения, частица не является, однако, его обязательным структурным элементом. Основной акцент в таких построениях падает на знаменательное слово: *Эх и пёсня же! Ой и надоéло же. Эх и нарóд же кислый! Ох и печёт же сегодня!*

При участии междометного сочетания *ох и* (*ах и, эх и* и т п.) может строиться и сказуемое двусоставного предложения: *Ох и люблю я эту песню! На меня отец вчера эх и рассердился! Ох и распетушился ты, дед!*

Так же, как и в структуре целого предложения, в состав сказуемого, строящегося при участии междометного сочетания с частицей *и*, может входить усилительная частица *же*, не являющаяся и здесь обязательным конструктивным элементом предикативной единицы данного типа: *А лес и вправду шумел, ох и шумел же! Больше всего ей нравилось море. Эх и размахнулось же оно! Ох и хорош же он был! Ох и хлебнет же она горя в жизни!* [1]

Междометие *ай* может сочетаться с частицей *да* в сложное единство, для современного языка уже почти ставшее неразложимым. Предложения типа *Ай да мед!* имеют значение оценки, часто — с оттенком удивления. Интонационное членение отсутствует. Преобладающим типом являются здесь построения с именем существительным конкретного значения, часто — с именем собственным: *Ай да Фекла Ивановна! Ай да жена! Ай да тетка! Ай да питерский!* Возможны и глагольные конструкции этого типа: «Володя лежал в гостиной, дремля на диване, и изредка, с некоторой злобной иронией, не обращаясь ни к кому в особенности, бормотал: „Ай да валяет!... музыкантша... Битховен!“» (Л. Толстой, Юность). По тому же типу образуется сказуемое, чаще именное; в структуре предложения оно обычно предшествует подлежащему, начиная собою предложение: *Ай да молодец мичман!*

Существует ряд предикативных единиц, оформляемых при участии сочетания непроизводного междометия с местоименным словом. В построениях типа *Ох как горько! Устал я, ах как устал. Сердце ой-ой как колотится! Сам-то он ой-ой какой баловень!* сочетание междометия и местоименного слова нечленимо и выступает в качестве конструктивного элемента всего построения. Слова *как* и *какой* утрачивают здесь свои значения и не могут рассматриваться как самостоятельные члены предложения[2]: сочетание междометия с местоименным словом в целом имеет усилительное значение и является одним из элементов формы предложения или сказуемого; такое сочетание может стоять и после знаменательного слова, например: *Руку обжег ой-ой как! Сам-то он баловень ой-ой какой!* Междометие в таких построениях обязательно несет на себе ударение, *как, какой* — безударно; вся конструкция интонационно не членится. Значение таких форм — высокая степень проявления предикативного признака.

Существуют следующие виды односоставных предложений, строящихся при участии сочетаний *ох как, ах как, эх как, ух как, ай как, ой (ой-ой) как, и-и как*: 1) глагольные определенно-личные предложения: *Ох как устал! Ай как старался!*; 2) безличные предложения: *Денег надо. Ах*

---

[1] Междометные сочетания *ох и* (*же*), *ах и* (*же*) и другие могут оформлять не только предикативные единицы, но и другие члены предложения, логически и экспрессивно акцентируемые в речи: *Ой и здорово же горит!* См. также примеры в упоминавшейся статье А. И. Германовича (стр. 13 и 14).

[2] Тем более нельзя здесь видеть обстоятельственное слово в междометии (см. А. И. Германович, указ. соч., стр. 11).

как надо! Ух как круто приходилось!; 3) неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения: *Били тебя?— Ох как били.*

Характерной чертой функционирования описываемых предложений является их употребление в составе бессоюзного построения непосредственно после предложения близкой структуры (но без междометного сочетания) и близкого лексического состава, с незначительной паузой: это — употребление, типичное вообще для построений с междометиями (ср. конструкции с непроизводными междометиями): *Стыдно, ох как стыдно. Тошно, ах как тошно! Да, всплакнешь еще, ой-ой-ой как всплакнешь. Наболело у меня на душе, ох как наболело! Бьют их, ах как бьют.* Такое повторение может осуществляться и после значительной паузы. В этом случае нельзя говорить о бессоюзной конструкции, однако тесная лексико-синтаксическая связь между двумя предложениями остается: *Все равно мне теперь. Ох как все равно! Круто приходится. Ух как круто! Ошибся. Ой как ошибся! Трудно принять решение. Ох как трудно!*

Не менее обычны в разговорной речи и сказуемые, строящиеся при участии сочетания междометия с наречным словом *как*: *Я теперь тебя ох как понимаю. Впоследствии он ой-ой как может раскаяться! Избаловала она себя; ох как избаловала себя эта барыня! Дело свое они ух как знают! Самонадеянности море он как не любит!*

И здесь, так же как в структуре целого предложения, обычны конструктивные лексико-синтаксические повторения типа: *Состарился ты, ах как состарился. Хирею я, ах как хирею! Отстал я от хороших людей, ах как отстал! Ублажил ты меня, ах как ублажил!*

При значительном паузном членении построения типа *ах как состарился*, образующиеся на основе повторения простого глагольного сказуемого, выступают как относительно самостоятельные предложения. Такие построения Шахматов относил к «дефектным предложениям»[1]: *Нам честь полка дорога. Ох как дорога. Жизнь, которую я пережил, — как она утомительна... Ах как утомительна!*[2] *Свои делишки обделывать он умеет. Ох как умеет!* Ср.: *Нет, невеселое мое дело. Ох до чего невеселое!*

Именное сказуемое также может оформляться при участии непроизводного междометия и местоименного слова; но в состав сказуемого в этом случае входит не наречное слово *как*, а местоименное прилагательное *какой*, также не являющееся здесь самостоятельным членом предложения и утрачивающее в таком употреблении свое основное значение. Междометие несет на себе ударение; все сочетание интонационно нечленимо: *У меня старший сын ух какой баловник был! Силища у него у-у какая! Я был дураком — ах каким дураком! Тяжелые дни войны. Тяжелые, ох какие тяжелые!* Сюда же: *Убытки тут не ахти какие большие*; *Дело-то не ахти как важно*[3].

Выше рассмотрены основные типы предикативных единиц, строящихся при участии первичных непроизводных междометий — одиночных, в сочетании с частицей или с местоименным словом. Факторы собственно конструктивные, а также интонационные и акцентологические подтвер-

---

[1] Его пример: «Но вообще я буду осторожен... У, как [я буду] осторожен!... Тут политика нужна. Холост.» (А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 246).

[2] Ср. в этом последнем примере резкое различие в значениях *как*, во втором случае почти полностью лексически опустошенного.

[3] Сочетаниями с *ох* (*ах* и т. п.) *как* и *ох* (*ах* и т. п.) *какой* могут оформляться и другие члены предложения: *Рассу ждает-то он ах как ловко*; *Давно, ох как давно это было*; *Здесь ой какой капитальный ремонт нужен*; *Нам еще с этим парнем ой-ой какая возня предстоит*. Здесь *ах как ловко*, *ох как давно*, *ой какой капитальный ремонт*, *ой-ой какая возня* синтаксически нечленимы, и сочетания *ах как*, *ой какой* и т. п. являются элементами формы члена предложения.

ждают, что во всех этих случаях междометия и междометные сочетания не просто «прибавляются» к предложению или его члену, а выступают в качестве одного из строительных элементов предикативных единиц определенного типа.

*

Производные междометия, образовавшиеся из разных форм знаменательных частей речи, занимают особое место в системе слов — «знаков чувствований»[1] и не участвуют в формировании предикативных единиц в том смысле, как это имеет место по отношению к непроизводным междометиям. Но некоторые производные междометия входят в предложение не для выражения чувств, эмоций говорящего, а для выражения тех или иных модально-экспрессивных значений всего предложения или сказуемого. Выполняя данную функцию, междометия не свободны, а подчиняются легко выявляемым правилам словорасположения, а также определенным правилам интонирования и акцентуации.

В формировании предикативных единиц участвуют производные междометия двух групп: 1) междометие *эк* и его вариант *эка* и 2) отглагольные междометия *хлоп*, *бац*, *хвать*, *трах* и под.

1. Междометие *эк* (*эка*) участвует в формировании предложений разной структуры, с общим значением оценивающего акцентирования и высокой степени проявления предикативного признака. Междометие всегда находится в абсолютном начале предложения и несет на себе ударение, которое иногда может быть ослаблено. Выявляются следующие виды построений с междометием *эк* в качестве одного из конструирующих элементов: а) двусоставные личные предложения, в которых междометие, акцентируя все предложение в целом, в то же время в силу своего наречного происхождения тяготеет к глагольному сказуемому: *Эк ты храпишь! Эк он обрадовался! Эк ты напугал меня!*; б) односоставные личные глагольные и именные предложения; междометие в них выступает в той же функции: *Эк мерзавец, ведь мне ничего не сказал. Эк улепетывает! Эк налакался!* в) односоставные неличные предложения; междометие, акцентируя все предложение в целом, тяготеет к главному члену: *Эк тебя разнесло, а? Цыц, проклятые! Эк на вас погибели нет*; г) в предложениях разной структуры, включающих в себя местоименные слова *как*, *куда*, *когда*, *какой*, следы прежнего значения междометия *эк*, поглощаясь местоименным значением этих слов, совсем утрачиваются и междометие сближается с частицей: *Эк шпага как исцарапалась! Эк цену какую завернули! Эк ты когда хватился насчет ученья.*

Междометие *эк* может сочетаться с частицей *ведь*; этим усиливается общее модально-экспрессивное значение всей конструкции: *Эк ведь оказия! Эк ведь спит!*

Вариант междометия *эк* — *эка* выступает в той же функции и в тех же типах конструкций, что и *эк*, находится всегда в начале предложения и несет на себе ударение (в ряде случаев ударение может быть ослаблено, так же как и на *эк*): *Эка, бездельник, как расписывает! Эка врать здоров ты! Эка винищем от тебя разит как! Эка народу валится*[2].

Особую конструкцию представляют собой предложения типа *Эк его заливается!* Грамматический остов конструкции здесь очень четок, словопорядок строго закреплен: междометие, местоимение 3-го лица в форме

[1] А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 372.

[2] В односоставных именных предложениях — определенно-личных и номинативных — *эка* сохраняет свое местоименное значение, например: *Эка ночь-то! Эка добрая баба!*

родительного-винительного падежа[1] и глагол в личной форме, называющий действие лица, обозначенного местоимением. Значение этой конструкции — то же, что у всех других построений с междометием *як*.

2. Глагольные междометия *хлоп*, *бац*, *трах*, *хвать* и некоторые другие отличаются от междометных глагольных форм (*шмыг*, *топ*, *бух*, *жик*, *шасть*, *мах* и под.) полной утратой лексического значения. Такие междометия обозначают не конкретные действия, а «мгновенные, неожиданные и потому не вполне покоренные сознанию явления — проявления времени, света, звука, механического движения. Есть сходство в их значении со значением однократных глаголов, но в последних явление представляется более сознательным и поэтому оформленным»[2]. Потебня называет такие формы «глагольными или предикативными частицами»[3], видя их отличие от междометий в том, что эти частицы сохраняют «способность требовать дополнения»[4]. Однако глагольное междометие, обозначающее мгновенное и неожиданное действие вообще, этой способностью не обладает; ср.: «Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор, на постоялый, *хлоп*, въезжает троешник» (Лесков, Воительница). Здесь *хлоп* относится к предикативной основе предложения (*въезжает троешник*), показывая неожиданность и неподготовленность того, о чем сообщается; никакого другого значения, тем более восходящего к соответствующему глаголу значения лексического (ср. *хлопнуть*), у этой формы нет.

А. А. Шахматов относит такие слова к «глагольным наречиям бытия, состояния»[5]. Однако в другом месте он называет их «глагольными междометиями»[6]. Дважды рассматривая предложение: «Я байдюжа прибираю сабе пасуду, а Пронюшка стала станавить пираги — хроп! а вон видеть гастей (Обоянск. Машк. 55)», Шахматов соответственно видит в *хроп* то «придаточное сказуемое, выраженное наречием»[7], то «междометно-глагольное безличное предложение»[8]. Однако представляется более правомерным рассматривать *хроп* как глагольное междометие, входящее в состав последней части сложного предложения (*хроп! а вон видеть гастей*), имеющей модальное значение неожиданности и неподготовленности. В этом смысле вполне обоснованно не соглашается с Шахматовым А. И. Германович[9]; однако его собственное объяснение данной конструкции вызывает возражения (см. ниже).

Глагольные междометия входят в состав предложения в качестве его синтаксического форманта, вносящего значение быстроты, неожиданности и неподготовленности. Такое междометие может находиться или непосредственно в начале предложения [«Можно мне так дальше жить? Да

---

[1] «Неясен винит[ельный] падеж в таких предложениях, как: *Як его залиевается*. Женитьба, II, 7; может быть, под влиянием *пусть его залиевается*» (А. А. Шахматов, указ. соч., § 428, стр. 328).

[2] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. IV, М.— Л., 1941, стр. 189. Д. В. Бубрих, называя такие междометия «изобразительными речениями», которые обычно бывают «вплетены в синтаксическую ткань предложения», писал, что они «еще не называют, а только условно изображают явления... Они изображают звучания, звучания, связанные с движениями, движения, связанные со звучанием, просто движения, а дальше и состояния, внешний вид предметов и т. п.» (Д. В. Бубрих, Грамматика литературного коми языка, Л., 1949, стр. 197 и 196).

[3] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. IV, стр. 189—190.

[4] Там же, стр. 188.

[5] См. А. А. Шахматов, указ. соч., § 585, стр. 503; § 282, стр. 228.

[6] Там же, § 103, стр. 113.

[7] Там же, стр. 228.

[8] Там же, стр. 113.

[9] А. И. Германович, Глаголы типа «толк», «шасть», «Изв. Крымского пед. ин-та», т. XIV, Кафедра русского языка, Симферополь, 1949, стр. 46.

ить это хорошо, бедный ли богатый урожай. А ну, *хлоп* неурожай?» (Шолохов, Поднятая целина)], или перед его предикативной основой, после вынесенных вперед второстепенных членов [«—Ты стараешься не забывать того, чему тебя учили, а там — *хвать!* — оказывается, что все это вздор...» (Тургенев, Отцы и дети); «—... Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, например, и вдруг *трах!* следователь» (Мамин-Сибиряк, Золото)].

Анализируя подобные построения, А. И. Германович полагает, что глагольное междометие, «приближаясь по функции к глагольной связке», входит здесь в состав «аналитической формы»[1]. Однако во всех приводимых в статье примерах автор неверно представляет интонационную сторону данных построений, полагая, что глагольное междометие в произношении сливается с личной формой глагола и не отделяется от нее паузой. Так, в приведенном выше примере из «Воительницы» Лескова А. И. Германович, стремясь изобразить сочетание *хлоп* и *въезжает* как аналитическую форму глагола, опускает имеющуюся в тексте между этими словами — и в данном случае несомненно значимую — запятую; получается *хлоп‿въезжает* (*трах‿приезжает*, *шасть‿является*, *хлоп‿уходит*, *бац‿приезжает* и т. п.)— произнесение, невозможное в живой речи, где после глагольного междометия всегда проходит интонационное членение. В русском языке нет аналитических форм типа *хлоп въезжает*; междометные формы *хлоп*, *бац* и т. п. не имеют никакого отношения к связке, так как им чужды какие-либо ее функции. Лишенные лексических значений глагольные междометия *хлоп*, *бац*, *трах*, *хвать* и некоторые другие входят в состав предложения любой структуры в качестве его синтаксического компонента, всегда интонационно обособляемого и имеющего в составе предложения свое определенное место.

Глагольные междометия могут входить в состав глагольного сказуемого с тем же значением неожиданного и неподготовленного действия: «—Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — *бац*! сделал предложение... как снег на голову...» (Чехов, Попрыгунья). Однако наиболее обычное место таких междометий — перед группой членов предложения, объединяющихся вокруг сказуемого; в этом случае междометие не является составным элементом сказуемого, а функционирует в составе предложения в качестве слова, сообщающего определенное модально-экспрессивное значение целому отрезку предложения: «И все будет, все будет около меня же круги давать, все суживая да суживая радиус, и — *хлоп*! прямо мне в рот и влетит...» (Достоевский, Преступление и наказание)[2].

Итак:

1. Непроизводные междометия, одиночные и в сочетании с другими словами служебного характера, могут входить в состав предикативной единицы в качестве ее синтаксического компонента; вместе с знаменательными словами такое междометие грамматически значимо: оно формирует предложение или сказуемое определенного типа.

2. В предикативных единицах определенных типов грамматический характер функционирования междометий и междометных сочетаний связан со строго определенными условиями словорасположения, интонирования и акцентуации.

---

[1] А. И. Германович, Глаголы типа «толк», «шасть», стр. 34, 45—46, 53.

[2] От описанных построений следует отличать предикативные единицы, конструируемые при участии сложных частиц *хвать и*, *глядь и*, интонационно всегда сливающихся с глаголом: *глядь и приходит письмо*; *хвать и свалился как сноп*.

3. Входя в состав предикативной единицы в качестве ее конструктивного элемента, непроизводное междометие или междометное сочетание вносит в соответствующее построение то или иное модально-экспрессивное значение; в этом — отличие грамматически значимого междометия от междометия, свободно «присоединяющегося» к предложению: такое «свободное» междометие, выражая в предложении те или иные чувства, эмоции, не определяет собою его общего модального значения.

4. Производные междометия, внося в предложение (так же, как и междометия непроизводные) определенные модально-экспрессивные значения, не свободны в своем употреблении: их функционирование в составе конструкции определяется соответствующими правилами языка

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1957

В. МАХЕК

СЛАВЯНСКАЯ КЛЕТЬ И ЕЕ НАЗВАНИЕ

Задача современного исследования славянских древностей заключается в детальной разработке синтетического учения Любора Нидерле[1] не только в той его части, где оно обращается к изучению материальной стороны, но и в отношении языка.

Если археологи и этнографы оказываются в затруднительном положении при объяснении возникновения отдельных явлений материальной культуры, они обычно обращаются к языкознанию, связывая происхождение предмета с происхождением его названия. При этом суждения языковедов приобретают большое значение, и тем хуже для науки, если они несостоятельны. Мы позволим себе показать это на примерах терминов, обозначающих части жилого дома или же самый дом.

Славянский термин *jьstъba*, обозначающий отапливаемую избу, являющуюся главной жилой частью дома, большинство языковедов объясняло как германское заимствование (*stuba*). С этим мнением вынужден был согласиться и Нидерле. Так называемый трехчастный славянский дом (т. е. состоящий из избы, сеней и чулана) он считал перенятым от германцев, из франкской империи, хотя единственным доводом в пользу этого было мнимое происхождение слова *jьstъba* из германского *stuba*. В то же время некоторые факты из истории реалий, например славянское происхождение печи и ее названия, прямо противоречат этому предположению, на что указывал и сам Нидерле. Отдельные исследователи не верили в германское происхождение слова *jьstъba*, так как другие слова, несомненно заимствованные из германского, в славянском языке никогда не развивали *jь* или *i* перед *s*. Эти исследователи считали, что *jьstъba* заимствовано непосредственно из романской языковой области и что (*j*)ь является заменой романского безударного начального *e*. Позволю себе заметить, что я склонен разделять второй взгляд и что мною предложена и новая этимология романского слова (~франц. *étuve*)[2]: оно происходит не из **extūja* (как полагал Мерингер и после него все остальные), а из **aestuva*, являющегося результатом сокращения латинского *aestuārium* (от *aestus* «жарко, жар»). Староримское подпольное отопление посредством «гипокауста» стало известно не только германцам, но и славянам — из Италии, а может быть из балканских провинций, через пленных солдат, торговцев, разных странников и путешественников. В настоящее время археология признает возможность торговых и культурных сношений между Русью и Римской империей. Если это действительно так, то гипотеза о франкском происхождении славянского трехчастного дома (для которого характерна именно «теплая» изба) должна быть оставлена.

---

[1] См. L. Niederle, Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní. Život starých slovanů, Praha: díl I, svazek 1—1911; I, 2—1913; II, 1, 2-е изд. —1924; III, 1—1921; III, 2—1925.

[2] См. V. Machek, Quelques mots slavo-germaniques, «Slavia», ročn. XXI, seš. 2—3, 1953, стр. 275—286.

Обычный славянский дом формировался без германского влияния. Герм. **hūsa* (др.-верх.-нем. *hūs*, теперь *Haus* и т. д.) можно считать, даже при неясности некоторых деталей фонетического процесса, источником славянских форм *chysъ, chysa, chyzъ, chyza*. Это слово обозначает у славян домишко, убогий, ветхий дом, хибарку, лачугу, чулан, оно не простой синоним слова *domъ*. По-видимому, хотя славянам и было известно германское слово, но германские дома того времени казались им более ветхими и не могли быть для них образцом чего-то более совершенного, достойного подражания. Мы встречаемся здесь с известным явлением, когда народ употребляет иностранные слова, подчеркивая негодность или ветхость предмета (например, чеш. диалект. *ćácha* «грубый заменитель обуви» из нем. *Schuh*).

Точно так же происхождение помещения для скота (хлева) может быть объяснено иначе, чем это делалось до сих пор. Единственное, чем могли здесь руководствоваться археологи, была этимология слова, по нашему мнению, ошибочная. Языковеды искали до сих пор происхождение этого слова в готском языке, а именно или в гот. *hlija* «σκηνή» («палатка, лачуга»), или же в гот. *hlaiw* «μνημεῖον», «τάφος» («могила»). Первое предположение неудовлетворительно ни с фонетической стороны, ни по значению. Второе же нельзя принять хотя бы потому, что трудно усмотреть какую-либо связь между понятиями «могила» и «хлев». Очевидно, Нидерле имел основание выразить свои сомнения относительно связи названия славянского хлева с *hlaiw*[1]. Нидерле считал, что предположение, будто бы славяне в первые века н. э. копали по немецкому образцу такие напоминающие могилы ямы для скота, совершенно противоречит данным археологии. Кроме того, остается неясным, как могло *hlaiw* в эпоху Вульфилы стать обозначением только могилы, если несколько раньше это название перешло к славянам в значении жилища, приюта для людей и животных. Мы бы предложили сопоставить слово *chlěvъ* с лат. *caulae*, имеющим то же значение. Если мы примем переход $k > ch$ (наблюдающийся в целом ряде других случаев) и перестановку сонантов *l* и *v* (как известно, сонанты легко подвергаются таким перестановкам), то фонетически не соотнесенными останутся лишь *ā/e*. Перестановка и различие *ā/ě* могут указывать на субстратное происхождение слов *chlěvъ* и *caulae*. Ср. различие в слав. *rěpa* и в лат. *rāpa* с тем же значением. Здесь, как и у многих других названий растений, фонетические различия, по всей вероятности, объясняются принадлежностью этих слов неиндоевропейскому языковому субстрату[2]. Связь *chlěvъ/caulae* свидетельствует о том, что предки славян и латинян восприняли устройство хлева от более древнего, неиндоевропейского населения Европы, от тех земледельцев и скотоводов-аборигенов, которые впоследствии были покорены воинственными индоевропейскими племенами. Таким образом, пересмотрев вновь соответствующие термины, можно до известной степени осветить процессы развития славянской материальной и духовной культуры. Приведенные примеры обязывают нас сделать это и в отношении других терминов.

В настоящей статье мы хотели бы заняться исследованием названия славянской клети. Слово *klěti* у древних славян означало — как и до сих пор *klětis* у литовцев — самостоятельный рубленый из добротных бревен домик без окон, с крепкой крышей, служащий прежде всего складом съестных припасов и мелких хозяйственных предметов. Он хорошо защищал от непогоды, различных грызунов, насекомых, летучих мышей. Постройку располагали на крестьянском дворе таким образом, чтобы она

[1] L. Niederle, указ. соч., I, 2, стр. 809.
[2] См. V. Machek, указ. соч., стр. 266—267.

была на виду, на небольшом расстоянии от жилого дома, что делалось из опасения воровства (ср. современное расположение клети, например, в валашской области — восточная Моравия)[1]. В клети находились наиболее ценные запасы, клеть была центральной кладовой и местом, где хранилось «достояние» всего дома, всей семьи. В этом первоначальном виде она еще сохранилась во многих местах[2]. Приведенное описание можно уточнить некоторыми подробностями. Так, можно полагать, что пол клети сначала немного возвышался над уровнем земли или двора благодаря наличию вертикальных столбов, на которых стояла вся постройка. Этих столбов могло быть четыре, реже два и иногда один[3]. Высота их, первоначально составлявшая приблизительно 1—2 м, со временем снижалась, пока, наконец, от них не остались под каждым углом домика врытые в землю чурбаны высотой около 30 см.[4]. Вместо них мог быть и кирпичный фундамент[5]. В клети делали, хотя и не всегда, потолок, так что пространство клети разделялось на нижнюю часть под потолком (более сырую и холодную) и на верхнюю («чердак»), находившуюся между потолком и крышей (более сухая часть). Крыша была добротной, чтобы воры не могли ее проломить: старые типы клети имели так называемую слеговую крышу, где основание кровли образуют слеги — длинные, горизонтально расположенные бревна, концы которых лежат на бревнах передней и задней стен. В слеговой крыше отсутствуют какие-либо столбики, сохи, кроквы. Зеленин указывает, что крыша этого типа особенно часто встречается у белорусской клети[6].

Клеть была не только кладовой; она издавна служила (особенно ее верхняя часть) и для другой цели: в ней стояла кровать, на которой спали девочка-подросток (дочь хозяина) или молодожены (женатый сын хозяина со своей молодой женой). Это назначение клети известно всем славянам, а также балтам; в литовских и латышских народных песнях клеть очень часто упоминается как спальня молодой девушки или молодой четы.

Так выглядела обычная клеть, которая встречалась в обширных крестьянских дворах, с трех или четырех сторон окруженных полем или садом. Однако в тех местах, где начинали экономно пользоваться землей, при так называемом «уличном» типе деревень, или там, где нехватало строительного материала, а также в бедных хозяйствах, клеть — первоначально самостоятельная постройка — пристраивалась к сеням жилого дома в виде «чулана». Вместе с жилой избой и сенями (где находилась «черная кухня») она составляет тот трехчастный дом, о котором упоминалось выше. Для клети всегда характерно отсутствие очага; это холодное и очень темное помещение. Иначе и быть не могло, так как запасы могли бы испортиться.

Самостоятельная клеть иногда утрачивает свою первоначальную функцию. Так, в сербских задругах *клет* (*клијет*) становится отдельным жилым домиком для семьи женатого сына начальника задруги. «Сколько женатых задругарей, столько клетей стоит вокруг родного дома (кучи); их назы-

[1] См. A. Václavík, Luhačovské zálesí, Luhačovice, 1930, стр. 117.

[2] См.: L. Niederle, указ. соч., I.2, стр. 748—774; D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin — Leipzig, 1927, стр. 285; K. Moszyński, Kultura ludowa słowian, część I, Kraków, 1929, стр. 55.

[3] См. K. Moszyński, указ. соч., стр. 504 (а также рисунки).

[4] См. там же, стр. 481, 528, 543.

[5] См., например, рисунок К. Мошинского (указ. соч., стр 539): под каждым углом клети вместо столба находится квадратное основание со сторонами шириной в $2^1/_2$ кирпича (около 80 см); на другом рисунке показана клеть с целым фундаментом из камня (стр. 528).

[6] См. D. Zelenin, указ. соч., стр. 266.

вают иначе *bajam* или просто *зграда*, *колиба*, *стаја*; они бывают обыкновенно без очагов»[1]. В Чехии клеть становится жилищем для старого хозяина, который передал двор в собственность сыну, а сам с женой удалился «на покой». В других местах это название переносится на убогие, ветхие домишки вообще, на «предсенник» и на подклеть, т. е. погреб или подвал. Само название *klěť* в некоторых местах исчезает, уступая место иноязычным словам: у западных славян для обозначения самостоятельной клети преобладает немецкое название *Speicher* (откуда чеш. *špejchar*, польск. *śpichrz* и т. д.). Для обозначения клети, пристроенной к сеням, чаще встречается слово *komora*.

Клеть известна всем славянам как исконная часть сельского двора; она имеет почти повсеместно распространенное общее название. Это говорит о том, что клеть была известна уже праславянам и что название *klěť* праславянское. Та же постройка и mutatis mutandis название существует и у балтов. Подобная постройка встречается и у северогерманских народов, где она называется *búr*, у эстонцев (*ait*, *кепоs*, *čom*), у поволжских финнов[2], у венгров, а также в Северной Азии[3].

Вместе с постройкой славянское слово *klěť* проникло в некоторых местах и к немцам: из него возникло ср.-верх.-нем. *glêt* «хибарка, чулан, подклеть»[4].

Происхождение клети как домика для запасов имеет два источника. Этнографы говорят, что она является последней ступенью эволюции северных (угро-финских и сибирских) помещений, приспособленных для хранения съестных припасов. Первоначальным наиболее примитивным способом хранения съестных припасов (мяса пойманных животных) было хранение их на ветвях дерева; при этом с нижней части ствола сдиралась кора, чтобы хищные звери не могли влезть наверх. Для этой же цели прикрепляли горизонтальный квадратный помост под ветвями. Из этих помостов (дощатых площадок), помещенных на стволах деревьев, впоследствии получились лабазы на столбиках; дерево над помостом срезалось, помост становился полом плетеного или рубленого помещения для хранения, большего или меньшего размера. Впоследствии крытое помещение становится лабазом для хранения не только съестных припасов, но и одежды, орудий и других предметов. Мнение, согласно которому клеть ведет свое начало от постройки типа бани, ошибочно[5]. Лабазы на деревьях являются до сих пор характерными постройками в лесистых местностях Северной Европы, т. е. в финских, карельских, лапландских областях и в Сибири[6]. Они находятся иногда довольно далеко от жилища владельца (вплоть до нескольких сот метров); несмотря на то, что в них хранятся порой очень ценные вещи, на них не бывает замков, так как в этих краях нет воровства. Войти в клеть, однако, не трудно; под клетью

[1] L. Niederle, указ. соч., I, 2, стр. 754.

[2] См. там же, стр. 758.

[3] См. H. Winkler, Zur Völkerkunde von Osteuropa, Breslau, 1912 (Beilage zum «Jahresberichte des Johannesgymnasiums zu Breslau»), стр. 27.

[4] Ср. M. Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 27-e Aufl., Leipzig, 1953, стр. 74.

[5] См., например, у Е. Ашепкова («Русское народное зодчество в Западной Сибири», б. м., 1950, стр. 31): «Образуемый из ряда венцов сруб (стопа), оборудованный окнами, дверью, полом и потолком, дает клеть — своеобразный укрупненный модуль древнерусского гражданского строительства.

Первую жилую ячейку можно, пожалуй, видеть в крестьянской бане, напоминающей своим низким срубом, отапливаемым «по-черному», грубо сложенной каменкой, старинную курную клеть в миниатюре. Те же волоковые окна, то же отсутствие перегородок, делящих помещение на части. Часто отсутствует двускатная крыша».

[6] См. U. T. Sirelius, Jagd und Fischerei in Finnland, Berlin — Leipzig, 1934, стр. 22.

лежит на земле обрубок ствола с нарезами, представляющими собой примитивные ступеньки (см. рис. 1), который может быть приставлен любым прохожим к дверце этой клети.

Возникновение такого лабаза в лесистой местности — вполне естественное явление. Это изобретение людей, живущих в лесу и промышляющих охотой. Лабаз переняли другие жители лесных местностей, например

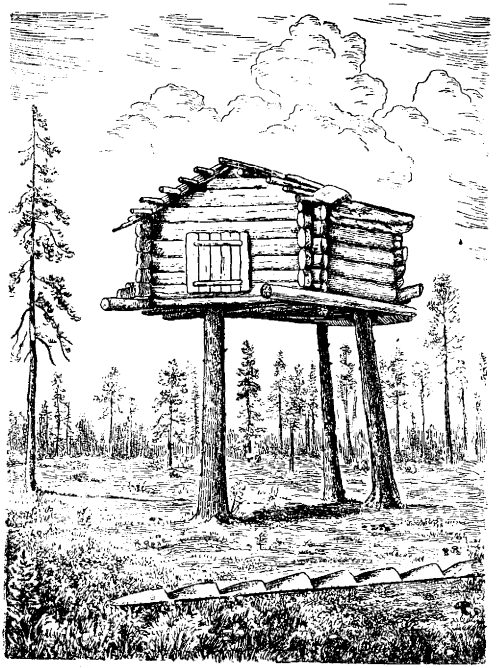


Рис. 1. Остяцкий лабаз для хранения продуктов, устроенный на столбах (Анепков, Русское народное зодчество в Западной Сибири, стр. 65)

лесорубы, и перенесли его ближе к сельским постройкам; при этом ствол дерева или столбики постепенно понижались и превратились, наконец, в низкие чурбаны или камни призматической формы для фундамента. Однако общий вид сельских клетей так явно приближается к северным лабазам на деревьях, что связь между ними совершенно очевидна. Из этого следует, что славянская клеть возникла в лесу, а не в болотистых краях или на открытой местности.

Название *klěti* до сих пор еще не было удовлетворительно объяснено. Последнее толкование этого слова в этимологическом словаре Фасмера допускает родство с литов. диалект. *klaimas*[1] «сарай», «амбар» (это слово

[1] См. M. Vasmer, Russ. etym. Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 569.

сохранил только Гейтлер[1]), которое само по себе неясно. Далее допускается — разумеется, предполагая так называемое «чередование гортанных» (т. е. индоевропейское *k'* наряду с *k*, что должно было бы дать литов. *š* рядом с *k*),— родство с литов. *šlìtė* «лестница», *at-šleimas*, *at-šlaimas* «передний двор», греч. *κλισίά* «палатка», «избушка», лат. *clitellae* «вьючное седло», ирландск. *cliath* «плетень», «вязанка хворосту», гот. *hleiþra* «палатка, хибарка», др.-верх.-нем. *leitara* «лестница». На первый взгляд кажется, что сопоставление слов со значением «палатка, хибарка» не должно вызывать сомнений. Однако дело осложняется тем, что указанное сниженное значение, которое иногда имеет славянское слово *klětь*, является вторичным и поздним. Впрочем приведенные иноязычные слова (за исключением *klaimas*) являются производными от корня *k'lei-* «клонить», звуковой состав которого не допускает сопоставления со словом *k'lětь*. Готио связывал слово *klaimas* с латыш. *klīt* «рассеяться» (перен.) и с некоторыми другими словами[2], хотя здесь также нельзя усмотреть возможности существования какой-либо семантической связи с *klětь*. Следовательно, этот путь должен быть оставлен. Для объяснения этимологии слова *klětь* следует привлечь иные сопоставления.

Уменьшительное **klětьka* или **klět'a*, **klět'ьka* обозначает у славян не только маленький домик или маленький чуланчик, но и клетку для птиц, ср. чеш. *klec*, ст.-чеш. *klécka*, словац. *klietka*, луж. *klětka*, польск. *klatka*, русск. *клетка*, болг. *клет(ка)*, укр. *клïтка*, сербо-хорв. *клиjетка*, словин. *kletka*. Знаменательно, что для птичьей клетки нет другого термина, производного от слова, обозначающего какую-нибудь иную постройку (например, от слов *domъ*, *chyža*, *chata*, *koliba* и т. д.). Это можно хорошо объяснить, имея в виду один карельский обычай. Карельские охотники держат живых птиц в помещении, очень напоминающем лесную клеть, только совсем маленькую. Сходство действительно разительно: «клетка» стоит на высоте приблизительно 2 метров над землей, на одном-двух стволах, обрубленных на этой высоте; она представляет собой миниатюрный сруб из коротких бревен, крытый сверху (рис. 2). В упомянутой книге финского этнолога У. Т. Сирелиуса имеются два рисунка таких «клеток», сделанные по фотографии. Один из них с берегов реки Пинеги в бывшей Олонецкой губернии. Эта миниатюрная постройка служит помещением для содержания птиц и является, безусловно, прямым предком нашей птичьей клетки — легкой, п е р е н о с н о й, но имеющей все то же основное назначение — служить местом «заключения» птиц.

Другая разновидность постройки показана на рис. 3а. Это голубятня из Румынии. Рисунок во многом напоминает примитивное помещение для содержания живых птиц, изображенное на рис. 2. Только опорный столб (первоначально ствол дерева, у которого была срублена крона), а также и само помещение, в котором содержат птиц, здесь немного выше. Существуют и другие, более развитые формы такого типа постройки. В Чехословакии такая голубятня стоит на высоком столбе, а будочки для голубей делаются уже не из прутьев (как в Румынии), а из искусно сделанных дощечек одного размера (рис. 3б). Их происхождение от более примитивных построек для содержания птиц очевидно, хотя они уже не носят названия *klec*. Мы считаем, что и славянская клеть (большая) возникла под непосредственным влиянием описанной примитивной постройки. Простые деревянные и плетеные лабазы, поставленные на стволах, постепенно принимали вид примитивных птичьих «клеток» (помещений, где содержали птиц), т. е. вид маленькой бревенчатой постройки. Оба

[1] L. G e i t l e r, Litauische Studien, Prag, 1875, стр. 91.

[2] См. Р. Г о т и о, Литовские этимологии, «Сб. статей, посвященных... Филиппу Федоровичу Фортунатову... 1872—1902», Варшава, 1902, стр. 401—403.

рода построек объединились в представлении славян — они имеют одно название, причем меньшая постройка обозначена, естественно, словом уменьшительного образования. Итак, славянская клеть возникла из двух источников: из помоста для хранения запасов и из примитивной птичьей клетки.

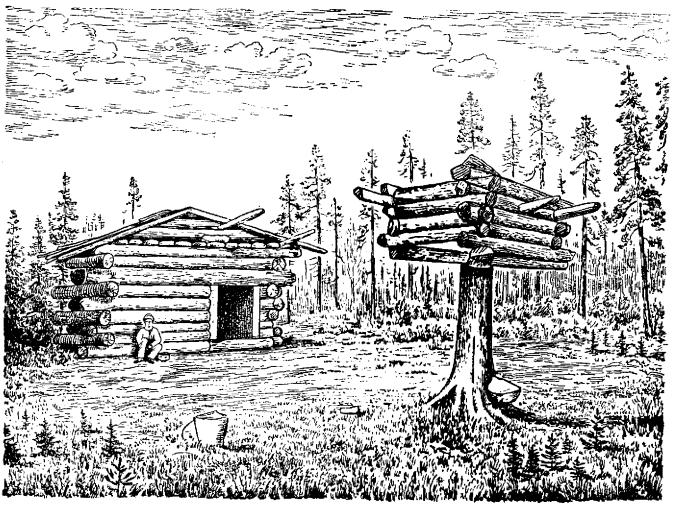


Рис. 2. Карельская баня и клетка для пойманных птиц (по фотографии У. Т. Сирелиуса)

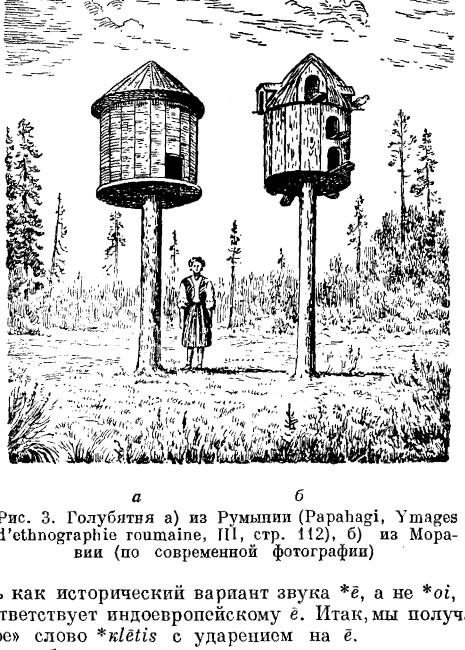
Поскольку славянская клеть по своему устройству гораздо ближе к помещению, в котором охотники держали птиц, чем к примитивной площадке и корзине для хранения съестных припасов, я считаю, что истоки названия *klěťь* надо искать в названии этой охотничьей постройки для содержания птиц. Попытаемся проанализировать слово *klěťь* с этой точки зрения.

Прежде всего обратим наше внимание на балтийские названия клети (литов. *klėtis*, латыш. *klẽts*). Их обычно считали славянскими заимствованиями[1], хотя этому противоречит интонация балтийских языков (в заимствованном слове в литовском языке должно было бы быть *ẽ*, но здесь постоянно встречается *ė́*). Это обстоятельство дало основание Эндзелину считать слова *klėtis* — *klěťь* прародственными, восходящими к одному источнику[2]. Это же мнение относительно соответствующего латышского

[1] См.: A. Brückner, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877, стр. 94; A. Leskien, Die Bildung der Nomina im Litauischen, «Abhandlungen der phil.-hist. Kl. der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften», Bd. XII, Leipzig, 1891, стр. 235; R. Meringer, Wörter und Sachen, «Indogerm. Forschungen», Bd. XVI, Heft 1—2, 1904, стр. 124; А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, вып. V, М., 1912, стр. 319; E. Berneker, Slav. etym. Wörterbuch, Bd. I, 2-e Aufl., Heidelberg, 1924, стр. 518.

[2] См. И. Эндзелин, Славяно-балтийские этюды, Харьков, 1911, стр. 197.

слова находим в его латышском словаре[1]. В настоящее время этот взгляд разделяет и Фасмер[2]. Данная точка зрения является единственно правильной, так как свидетельство интонации бесспорно и не допускает сомнений. Таким образом, возникновение рассматриваемого слова отодвигается к балтийско-славянскому периоду. Славянское *ě* в таком случае мы дол-



а *б*

Рис. 3. Голубятня а) из Румынии (Papahagi, Ymages d'ethnographie roumaine, III, стр. 112), б) из Моравии (по современной фотографии)

жны понимать как исторический вариант звука **ē*, а не **oi*, так как балтийское *ē* соответствует индоевропейскому *ē*. Итак, мы получаем «балтийско-славянское» слово **klētis* с ударением на *ē*.

Что касается образования слова, то естественно считать *-ti-* суффиксальным элементом, как это и делалось раньше. Основу **klē-* можно связать с индоевропейским корнем **kleu-*, значение которого («ограничивать кого-нибудь в движениях, сжимать его, теснить, comprimere, constringere») легко соотносится с представлением об охотничьей клетке, поскольку находящиеся в ней птицы действительно совершенно «ограничены в движении». Дифтонг *-ēu* редуцировался в *ē*, т. е. потерял свой второй компонент, что часто наблюдается у долгих дифтонгов. Нулевая ступень, которую мы были бы вправе ожидать перед суффиксом *ti*, здесь не представлена. Возможно, это означает, что в то время, когда возникло слово *klētis*, ослабление корня перед *ti* уже не было обязательным.

Корень *klēu-*[3] представлен в славянских языках и другими формами,

[1] См. K. Mülenbachs, Latviešu valodas vārdnīca, red., papild., turpin. J. Endzelīns, sēj. II, Riga, 1925—1927, стр. 225.

[2] См. M. Vasmer, указ. словарь, стр. 569.

[3] См. о нем J. Pokorny, Indogerm. etym. Wörterbuch, Bern, 1953—1956, стр. 604.

сохраняющими его первичное значение. Это прежде всего слово *klevy* (plur. tantum). Насколько я могу утверждать, оно сохранилось в виде реликта только на территории чешского языка, а именно в его северо-восточном, окраинном, диалекте. Слово обозначает капкан для ловли зверей, который действительно «зажимает» пойманного зверя (обыкновенно его лапу). Это, несомненно, поствербальная форма от глагола *kleviti* < **klěviti*.

Глагол *kleviti* представлен также в северо-восточном (крконошском) наречии в виде возвратного глагола *kleviti se* «ежиться, пожиматься (от холода, боли)» и отглагольного образования *sklevený* «сгорбленный». Поскольку рассматриваемый глагол и слово *klevy* сосуществуют в пределах одного наречия, нет сомнения в том, что оба слова связаны друг с другом, тем более, что *kleviti se*, собственно говоря, означает «сжиматься». Интересно, что в глаголе **lěviti*, который является своего рода семантическим антиподом глагола **klěviti* (укр. *лівити* «дать поблажку», чеш. *po-leviti* «ослабеть», «утихнуть»), представлено сходное фонетическое развитие. Соответствующий литовский глагол звучит *liáuju* (*liáunu*), *liáviau*, *liáuti* (ср. *kliáuju*). Эта пара корней с долгим дифтонгом, *kleu-* и *lĕu-*, со взаимно противоположным значением, хорошо демонстрирует фонетическое развитие дифтонга *ĕu* (других примеров, настолько же прозрачных в фонетическом отношении, почти нет).

Рефлекс того же корня встречаем в славянских названиях западни, которая также «зажимает» животных, крепко их держит; ср. чеш. *klepec*, польск. *klepiec*, русск. *клапец*, словац. *klepec*, *klopec*, *chlopec*, *šlopec* (западня для ловли медведей). Вероятно, и здесь был сначала корень *kleu-*, но уже в праславянскую эпоху его заменял корень *klep-*, закрепившийся в некоторых формах. См. также *klepeto* «клешня» (клешня сжимает, стискивает пойманную добычу).

Сходное значение имеет греч. κλοιός, κλωός «оковы на шее преступника», «ошейник для собак». Некоторые ученые сомневаются в его родстве со слав. *klětь*, но мне кажется, что эти сомнения напрасны. Старейшая форма греческого слова κλωϜιός соответствует славянскому корню как по форме (*ōu* под аблаутом), так и по значению (речь идет о предметах, *стесняющих свободу движений тех, кто их носит*). Может быть, сюда можно отнести и позднее κλωβός «птичья клетка».

Греческий глагол κλείω (κλήω, -κληίω) имеет значение «закрываю; запираю на деревянный засов, на ключ». То же основное значение (разумеется, с некоторыми оттенками) имеют производные от него приставочные глаголы: ἀποκλείω «загораживаю, не допускаю», ἐκκλείω и παρακλείω «исключаю, не допускаю», ἐπικλείω «прикрываю», κατακλείω «закрываю, обхватываю, окружаю», περικλείω «окружаю» (например, противника; *Местность окружена горной цепью*). Греческие глаголы несут в себе представление о з а к л ю ч е н и и, лишении свободы передвижения, запирании, а не об «отпирании». Соответствующее существительное κλείς (род. падеж κλειδός, ион. κληίς) — это «засов, ключ». Ключ здесь понимается как приспособление для запирания чего-то, что раньше было свободным (но не для о т п и р а н и я чего-то запертого). То же самое можно наблюдать в лат. *clavis* и *claudō* (здесь *d* можно, вероятно, объяснить, как в *crēdō* = др.-инд. *śrad dádhami* из **dhē-* «класть», т. е. *clavi-dō* происходит из *cl.vi(m) dō* первоначально «засовом задвигаю что-нибудь»).

В славянском языке есть существительное *kl'učь* и глагол *kl'učiti*. Этот глагол обозначает также «сжимать, compīmere» (а не антоним «освобождать»): ср. ст.-слав. *kl'učiti*, *zakl'učiti*, русск. *заключить*, *исключить*, укр. *заключити*, белорус. *заключыць*, сербо.-хорв. *заключати*, словин. *zakl'učìti*, болг. *заключа*, словац. *zakl'účit*. В чешском языке имеется *klíčiti* «сжи-

мать» (например, пальцы: ст.-чеш. *cirogra klíčí a zlamuje prsty a články rukú* «болезнь *cheiragra* вывертывает и ломает пальцы и суставы рук»), употребляемое также и в переносном смысле (*klíčiti mysl*, откуда *klíčiti, sklíčovati koho* «печалить кого-нибудь»); ср. также *obklíčiti* «cingere, окружать» (например, неприятеля; крепость, которую я хочу взять и т. п.). Суффиксальное *č* этих глаголов, скорее всего, является суффиксом nominis instrumenti (ср. *bíčь* от *biti*). Мы предполагаем приблизительно следующую эволюцию глагола *klěu-jō*: **kleu-jō* > **kl'ujǫ*, инф. *klěuti* > **kl'uti*; от основы *kl'u-* образуется *kl'u-čь-*. Наряду с этим существовал глагол IV класса 3-го лица ед. числа (сохранившийся в *klevíti*) **kleu-ei-ti* > *klžvitь*. Ввиду того, что запирание (дома и т. п.) связано с употреблением ключа, возник новый отыменный глагол от *kl'učь*— (*za*)*kl'učiti* и итератив *zakl'učati*. Итак, первоначальное значение слова *ключ* — приспособление для запирания. Наши современники понимают слово *ключ* скорее в противоположном смысле. Уже чешский словарь Юнгмана определяет ключ, как «приспособление, которым отпирают замок или запор»[1]. Современный язык знает *ключ к загадке, ключ для определения растений, ключ к девичьему сердцу* и т. п.

В балтийских языках имеются фонетические соответствия рассмотренных слов, однако прямого совпадения значений не наблюдается. В литовском языке есть *kliáujuos*, praet. *kliőviaus*, инф. *kliáutis* (из* *kleu-jō*), что означает уже не «constringere», а «льнуть», «быть связанным», а также «дружить, относиться с доверием и симпатией к кому-нибудь». Ср. русские глаголы *замкнуть, замыкать* «claudere», но также и *примкнуть, примыкать* (к какой-либо группе, т. е. относиться дружески, преданно). Еще более отошла от первоначального значения форма со слабой ступенью корня, например литов. *kliūvù* (*kliūnù*), *kliúti*. Для того чтобы объяснить позднейшее развитие семантики этого глагола, обратим внимание на значение, помещенное в словаре М. Нидермана[2] под номером 2. Глагол *kliūti* означает в этом случае «возбраняю», «препятствую» (ср. некоторые приставочные образования с тем же значением от греч. κλείω). Имея в виду этот семантический вариант литовского *kliūti*, можно легко объяснить другие его значения, а именно помещенные у Нидермана под номером 1 — «виснуть», «зацепляться», «задевать за что-нибудь», под номером 3 — «быть опасным, неприятным», «являться чем-то злым», под номером 4 — «преодолевать встречающиеся препятствия», «оказаться в неприятном положении». Точно так же объясняется семантическое развитие латышского *kl'ūt*, значение которого («случайно или против своей воли очутиться в каком-нибудь положении, обычно нежелательном») соответствует 4-му значению литовского глагола. В своем наиболее отвлеченном значении — «стать (кем или чем)» — этот глагол участвует в образовании форм страдательного залога.

В свете этих семантических процессов, представленных у литовских и латышских глаголов, рассмотрим славянское *kl'učiti*. Помимо своего первичного значения («comprimere, constringere»), русск. *ключить* имеет значение «включать», «содержать в себе», а также «причинить кому-либо что-нибудь неприятное»; возвратный глагол *приключиться* означает «произойти», «случиться» (о чем-то неприятном или внезапном, несожиданном: *несчастье приключилось*) (ср. 3-е значение литовского *kliūti* по Нидерману). Полагаем, что приведенные глаголы можно связать с *kleu*-«constrin-

[1] См. J. Jungmann, Slownjk česko-německý, djl II, Praha, 1836, стр. 68—69.
[2] M. Niedermann, A. Senn, F. Brender, Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, Litauisch-Deutsch, Bd. I, Heidelberg, 1932, стр. 495.

gere»; однако, заметим попутно, что мы не видим возможности, в отличие от Бернекера, Траутмана, Фасмера, отнести к этой группе слово *kl'uka* (ср. русск. *клюка* «палка с загнутым верхним концом»).

*

Если вышеприведенные примеры правильны, то клеть имеет название, относившееся первоначально к охотничьей примитивной постройке, где держали живых птиц. Название восходит к «балтийско-славянской» эпохе, о которой можно с уверенностью утверждать, что тогда предки славян занимались охотой в лесах. Этим и объясняется своеобразное объединение в качестве двух источников клети помоста для хранения запасов и примитивной птичьей клетки. Корень в слове *klěťь* имел первоначальное значение «constringere», которое впоследствии дало начало ряду новых, более отвлеченных, значений. Сохранение корня *kleu-* ставит балтийско-славянский язык рядом с латинским и греческим языками, в которых от этого же корня также образовались семьи слов, хотя развитие их значений шло в иных направлениях, чем в балтийских и славянских языках.

№ 1 1957

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Создание электронных вычислительных машин, автоматически производящих большие серии арифметических и логических операций, поставило перед учеными новую проблему использования этих машин для осуществления перевода текстов с одного языка на другой.

К осуществлению идеи перевода посредством электронной машины приступили ученые А. Д. Бут и У. Уивер в 1946 г. Первоначально они представляли себе перевод лишь как простой подстрочник к тексту; машине в процессе перевода отводилась вспомогательная роль «запоминания» словарных единиц и их выдачи. В 1948 г. Р. Г. Риченс предложил несколько расширить сферу действия машины с тем, чтобы она путем сравнения слова в тексте с соответствующей основой в словаре не только выдавала основу слова на языке перевода, но и по «остатку» (окончанию) могла снабдить основу слова в переводе некоторой грамматической информацией. Начиная с 1948 г. проблемой механического перевода занимаются специалист по китайскому языку Э. Рейфлер, специалисты по германским языкам В. А. Освальд и С. Л. Флетчер, специалист по испанскому языку У. Булл, профессор философии И. Бар-Хиллел и другие.

В 1950 г. Э. Рейфлер предложил осуществить перевод по принципу «машина плюс два человека». Согласно этому принципу, при машине предполагалось иметь двух редакторов, знающих только по одному языку: первый редактор («пре-редактор») должен преобразовывать оригинальный текст в удобную для машины форму (т. е. устранять лексическую и грамматическую омонимию, полисемию и т. д.), а второй («пост-редактор») — редактировать полученный при помощи машины перевод (т. е. менять там, где это необходимо, порядок слов, подбирать нужные синонимы и исправлять возможные ошибки) [1]. От идеи «пре-редактирования» сторонники этого принципа впоследствии отказались.

В 1952 г. С. Додд предложил проект «идеального языка», на котором должен быть написан материал, подлежащий переводу. В этом «идеальном языке» порядок слов должен быть строго фиксирован, а окончания — заменены служебными словами [2]. С. Додд полагал, что если к этим двум правилам добавить сравнительно ограниченный словарь и по возможности придерживаться фонетического написания, то проблема механического перевода с такого языка не будет представлять особых трудностей.

Среди специалистов, занимающихся вопросами машинного перевода, существует и другое направление, сторонники которого пытаются решить возникающие при машинном переводе лингвистические проблемы. Так, например, В. А. Освальд и С. Л. Флетчер подробно исследовали вопрос о возможности машинного перевода с немецкого языка на английский с точки зрения синтаксиса этих языков [3]. Аналогичные вопросы перевода с русского языка на английский анализируются в статье К. Харпера, специалиста по славянским языкам [4]. Ряд исследователей (В. А. Освальд и и Р. Г. Лоусон, А. Г. Эттингер, И. Бар-Хиллел) рассматривают вопросы, связанные с задачами составления машинного словаря [5]; некоторые ученые (Л. и А. Вундхейлер,

[1] См. E. Reifler, Studies in mechanical translation, 1950 (мимеограф. изд.).

[2] S. C. Dodd, Model English, сб. «Machine translation of languages», New York — London, 1955.

[3] V. A. Oswald and St. L. Fletcher, Proposals for mechanical resolution of German syntax patterns, «The modern language forum», vol. XXXVI, № 3—4, Los Angeles, California, 1951.

[4] K. E. Harper, A preliminary study of Russian, сб. «Machine translation of languages».

[5] См.: V. A. Oswald, R. H. Lawson, An idioglossary for mechanical translation, «The modern language forum», vol. XXXVIII, № 3—4, 1953, Los-Angeles, California; G. Oethinger, The design of an automatic Russian-English technical dictionary, сб. «Machine translation of languages»; его же, Distribution of word length in technical Russian», «Mechanical translation», vol. I, № 3, Cambridge, Mass., 1954; Y. Bar-Hillel, Idioms, сб. «Machine translation of languages».

В. Ингве и др.) предпринимают попытки применения логических методов для построения «машинного» синтаксиса [1].

В начале 1954 г. в США Л. Достертом, П. Гарвином и П. Шериданом впервые был практически осуществлен механический перевод с русского языка на английский на машине ИБМ-701 [2]. Таким образом, реальность машинного перевода не подлежит сомнению. В настоящее время вопрос состоит в том, чтобы найти наиболее эффективный путь его осуществления.

Задача настоящей статьи — осветить языковедческие вопросы, которые возникают в связи с разработкой проблемы машинного перевода. Эти вопросы имеют тем более важное значение, что в настоящее время именно они являются основными для решения проблемы машинного перевода [3].

Для машинного перевода требуется решение двух комплексов языковедческих вопросов, связанных с составлением, во-первых, словаря, а во-вторых, свода грамматических правил. Оба круга вопросов, разумеется, взаимосвязаны. Однако поскольку каждый из них имеет свою специфику, целесообразно рассматривать их отдельно.

Машинный перевод предполагает создание двуязычного словаря особого типа, отличающегося от обычных двуязычных словарей (как общих, так и терминологических) своим словником и структурой, а также грамматическим оформлением и принципом перевода слова.

Поскольку при помощи машины предполагается сначала переводить только научно-техническую литературу, то на первых порах целесообразно ограничиться составлением отдельных отраслевых словарей. Каждый такой отраслевой словарь должен содержать наряду с терминологическими также и нетерминологические слова, употребляемые в научно-технической литературе данной специальности.

В этой связи представляют интерес исследования В. А. Освальда и Р. Х. Лоусона, составивших словарь по нейрохирургии с применением статистических методов подсчета и отбора слов [4]. Освальд и Лоусон подвергли обследованию 16 специальных статей на немецком языке. Выписанные из первой статьи и распределенные по частям речи слова сопоставлялись поочередно со словами остальных статей. Дополнения вносились до тех пор, пока не были зафиксированы все более или менее употребительные в нейрохирургии слова. Оказалось, что уже примерно с четырнадцатой статьи дополнения вносили очень мало нового.

Обследование частоты употребления слов в специальных текстах является крайне важным для составления машинного словаря. Оно дает возможность правильно отобрать лексический материал. При этом допускается, что некоторое количество слов не будет занесено в словарь и, следовательно, в тексте останется без перевода. Тем не менее не следует перегружать словарь пассивным материалом и этим увеличивать время поиска слов [5].

Возникает вопрос, в каком виде следует поместить в словаре отобранный материал. Во всех экспериментальных переводах словарь состоял либо полностью, либо частично из основ, а не из грамматически оформленных слов. Правила же словопроизводства и словосложения, по возможности, следует программировать. Это не всегда удается, поскольку многие малопродуктивные и непродуктивные словообразовательные средства (например, немецкие суффиксы *-nis* и *-sal*, английский суффикс *-age*) не имеют стандартного перевода в русском языке, т.е. при переводе соответствующих слов употребляются русские слова, оформленные различными суффиксами (ср. нем. *Hindernis* «препятствие», *Finsternis* «темнота»; англ. *drainage* «осушение», *advantage* «преимущество» и т. п.). Поэтому слова с подобными суффиксами правильнее внести в словарь в виде отдельных статей.

---

[1] L. and A. Wundheiler, Some logical concepts for syntax, сб. «Machine translation of languages»; V. H. Yngve, Syntax and the problem of multiple meaning, там же.

[2] Результаты, полученные при этом, освещались на страницах нашей печати См.: Реферативный журнал «Математика», 1954, № 10; журналы «Природа», 1955, № 8 и ВЯ, 1955, № 6.

[3] Интересно, что это обстоятельство отмечается и руководителем первого опыта машинного перевода в США Л. Достертом (см. L. Dostert, The Georgetown — I. B. M. experiment, сб. «Machine translation of languages», стр. 124).

[4] См. V. A. Oswald, R. H. Lawson, указ. соч.

[5] При составлении словаря для машинного перевода можно пользоваться уже готовыми подсчетами частотности слов и включать в словарь нетерминологическую лексику с наибольшими показателями частотности. Интересен, например, «Подсчет ходовых слов русского литературного языка» под ред. Г. Джоссельсона (H. H. Josselson, The Russian word count, Detroit, 1953), где указывается частотность 2 тысяч слов, встречающихся в произведениях художественной литературы, в публицистике и научной литературе.

Вопрос о стандартизации перевода не менее важен и для наиболее продуктивных суффиксов, так как одному иностранному суффиксу почти всегда соответствуют несколько русских. Так, нем. (или англ.) суффиксу *-er* может соответствовать любой из русских суффиксов, образующих nomina agentis: *-ец* (и его производные), *-ик* (*-ник*), *-щик* (и его производные), *-тель* (*-итель*), *-ач* и т. п. Даже в тех случаях, когда какому-либо иностранному суффиксу чаще всего соответствует определенный суффикс русского языка (ср. например, нем. *-ung* и русск. *-ение*), все же имеется очень много исключений, которые приходится учитывать. В настоящее время можно наметить следующие пути установления соответствий в области словообразования: во-первых, основы с нестандартным переводом словообразующего суффикса (как непродуктивного, так и продуктивного) можно вводить в словарь целиком; во-вторых, переводящие основы в словаре можно снабдить специальными пометами, указывающими, при помощи какого суффикса от данной основы образуется то или иное новое слово.

Особой задачей (по крайней мере, для машинного перевода с немецкого языка) является составление правил перевода сложных слов[1]. При отсутствии таких правил словарь не дал бы возможности переводить сложные слова типа *Gefrierpunktsernicdrigung* «понижение точки замерзания», *Bleidioxydschicht* «слой перекиси свинца» и т. п., которые очень распространены в научно-технической литературе. Между тем перевод этих сложных слов производится по элементарнейшим правилам, допускающим формализацию[2]. Важность разработки правил словообразования состоит в том, что при их помощи машина в ряде случаев сможет дать перевод неологизмов.

Одним из наиболее сложных вопросов, связанных с составлением словаря, является вопрос однозначности перевода. Для достижения максимальной однозначности в словаре не должны учитываться различные стилистические синонимы того или иного переводящего слова, а иногда и идеографические синонимы (если они не имеют особого значения для данной области науки и техники). В случае, когда одно и то же слово в разных областях научной литературы имеет различный перевод, переводное соответствие можно снабдить специальной пометой и при введении текста в машину вводить соответствующую информацию о специфике текста. Например, англ. *propagation* обычно переводится как «распространение», а с пометой (биол.) — как «размножение».

Одним из средств достижения однозначности является введение в словарь сочетаний, в которых данное слово имеет перевод, сильно отличающийся от основного переводящего соответствия. При выборе соответствий необходимо учитывать не только частоту их употребления, но и стандартность образования их грамматических форм. Например, для немецкого глагола *aufnehmen*, помимо переводящего слова, выражающего его основное значение, и перевода некоторых сочетаний с этим глаголом (например, *den Betrieb aufnehmen* «начать работу»), нужно дать и другие его переводные соответствия: «вбирать (в себя)», «поглощать». При этом первое соответствие придется, повидимому, исключить, так как от глагола «вбирать» трудно образовать причастие страдательного залога, а это в ряде случаев будет необходимо (ср. *Nunmehr wird die ätherische Lösung von aufgenommen Wasser befreit* — из учебника химии). Рациональнее принять второе соответствие, так как от глагола «поглощать» указанное причастие может быть образовано.

Наконец, могут встретиться случаи, когда общелитературное слово и омонимичный ему термин одновременно употребляются в данной области научно-технической литературы [ср., например, нем. *Lösung* «решение» и (хим.) «раствор»]. Для правильного выбора переводящего слова нужно дать его в сочетании с другим словом из текста (*Lösung der Aufgabe*, *der Frage*); если же это окажется трудно выполнимым, придется указать оба варианта перевода и предоставить читателю выбор нужного значения. Таким же образом, видимо, придется поступить и с рядом многозначных терминов типа франц. *courant* «ток, течение, поток».

Как явствует из вышеизложенного, вопрос о переводе слова связан с проблемой сочетаемости. Перевод фразеологически связанных словосочетаний представляет значительные трудности, так как подобные словосочетания не имеют дословных соответствий в различных языках. Возможно несколько способов перевода так называемых идиоматических словосочетаний:

1. Составить отдельный словарь, устанавливающий соответствие между идиоматическими словосочетаниями двух языков. Тогда машина должна начинать перевод

---

[1] Значительный интерес представляет в этой связи статья Э. Рейфлера (E. Reifler, Mechanical resolution of the constituents of German substanitive compounds, «Mechanical translation», vol. II, № 1, 1955).

[2] Необходимо предусмотреть случаи, в которых применение подобных правил может привести к абсурду (ср., например, *Stickstoff* «азот», а не «удушливый газ» и т. п.). Во избежание этого соответствующие основы в словаре следует снабдить пометами, указывающими, с какими соединительными элементами они выступают в словосложении, и тем самым предупредить возможность неверного перевода слов типа *Arbeitsamt* «биржа труда» (*Arbeit* + *s* + *Amt*), а не «рабочий бархат» (*Arbeit* + *Samt*).

проверкой каждого словосочетания в этом словаре. Если в тексте не найдено ни одного из зафиксированных в словаре словосочетаний, то перевод осуществляется пословно.

2. Снабдить слово (например, франц. *difference* «разница») определенным знаком, указывающим на сочетаемость слова с другими словами; посредством этого знака отослать машину к следующей статье, в которой приводится данное слово в определенном словосочетании (например, *difference de phase*) и русский эквивалент этого словосочетания («разность фазы»).

3. Использовать предложенный И. Бар-Хиллелом метод исключительно пословного перевода идиоматических словосочетаний[1]. Бар-Хиллел полагает, что в подавляющем большинстве случаев пословный перевод будет удовлетворительным, особенно если учитывать, что определенные словосочетания имеют соответствующие кальки в нескольких языках, например франц. *perdre la tête* и русск. *потерять голову*. Подобные словосочетания могут быть разложены на компоненты без указания на сочетаемость. Однако способ пословного перевода не разрешает всех трудностей, возникающих при переводе идиоматических словосочетаний.

В словаре необходимо учесть случаи омонимии фразеологически связанных и свободных словосочетаний. Например, нем. *Alten Mann erschlagen* в качестве идиоматического словосочетания, употребляющегося в горнозаводском деле, на русский язык переводится как «попасть на старую выработку». Между тем возможен и пословный перевод этого словосочетания — «убить старого человека». Очевидно, некоторые идиоматические словосочетания должны сопровождаться в словаре указаниями на возможность также пословного их перевода.

При анализе машиной переводимого текста возникает необходимость определения грамматической формы, в которой слово выступает в данном контексте. Машина должна располагать сведениями о том, какие формы возможны у данного слова. С этой целью все основы слов, вводимые в словарь, следует снабдить грамматическими пометами и в первую очередь — сведениями о том, к какому разряду слов принадлежит данное. Внутри разрядов слов выделяются группы в зависимости от типов образования тех или иных грамматических форм. Например, внутри глагола различаются группы, по-разному образующие временные формы; внутри существительного — группы, по-разному образующие множественное число, и т. д.

При переводе с французского языка необходимо знать о каждом глаголе, к какой группе (по типу образования форм времени и наклонения) он принадлежит. Традиционно-грамматическое деление глаголов на три группы при этом оказывается недостаточным, так как в третью группу объединяются фактически очень различные типы. Так называемую третью группу глаголов целесообразно разбить на несколько групп, внутри которых формы времени и наклонения образуются единообразно. Выделение новых групп удается осуществить в том случае, если формы с чередованием звуков в основах и супплетивностью считать различными вариантами одной и той же основы и давать их в словаре отдельно. Тогда многие глаголы будут представлены несколькими основами (например, глагол *écrire* — двумя: *écri*, являющейся основой инфинитива, причастия прошедшего времени, ед. числа настоящего изъявительного, будущего времени, и *écriv*, являющейся основой причастия настоящего времени, мн. числа настоящего изъявительного, прошедшего простого времени, настоящего сослагательного). В то же время выясняется невозможность отнести некоторые глаголы (из-за специфики образования отдельных их форм) к какой-нибудь из выделенных групп. Специфические формы таких глаголов представляют собой исключения и, очевидно, должны содержаться в словаре в виде отдельных словоформ. Согласно этому, глагол *faire* в словаре должен быть представлен группой основ: *fai*, *fais*, *fe*, *fass* и отдельными словоформами *faites* — 2-е лицо мн. числа наст. времени изъявит. наклонения и *font* — 3-е лицо мн. числа наст. времени изъявит. наклонения.

После того как для слова в тексте отыскана соответствующая основа в словаре, грамматические пометы при этой основе отсылают к таблицам, в которых перечислены окончания, возможные у данного слова. Путем сравнения окончания, оставшегося после отсечения основы анализируемой словоформы, с окончаниями, содержащимися в таблице, устанавливается, какое грамматическое значение передает данная словоформа. Например, в переводимом тексте встретилась форма *écrivons*. В словаре содержатся две основы: *écri* и *écriv*. После сравнения с данными словаря от *écrivons* отсекается большая по длине основа, в результате чего остается окончание *-ons*. В словаре содержатся также указания на то, к какой группе относится этот глагол. В отдельной таблице отмечены все окончания глаголов этой группы. Среди них путем сравнения отыскивается окончание *-ons*. В таблице указано, что оно соответствует 1-му лицу множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения. Таким образом, мы получили полную информацию о данной словоформе.

Следует оговорить один очень существенный момент. В таблицу грамматических

---

[1] Y. Bar-Hillel, Some linguistic problems connected with machine translation, «Philosophy of science», vol. 20, № 3, Baltimore-2, Md., 1953.

форм включаются не все формы, возможные для данного разряда слов, но лишь достаточно часто встречающиеся. Поэтому прежде чем решить вопрос о том, какие грамматические формы следует учесть в грамматических правилах, нужно провести анализ частоты их употребления[1]. Малоупотребительные грамматические формы можно не включать в программу для машины. Так, при переводе с французского, по-видимому, можно не вносить в грамматические таблицы такую глагольную временную форму, как imparfait du subjonctif, встречающуюся в языке научной литературы очень редко, за исключением только 3-го лица единственного числа.

В отношении грамматики задача перевода состоит в том, чтобы значения, выражаемые морфологическими и синтаксическими категориями языка оригинала, возможно точнее передать грамматическими категориями того языка, на который осуществляется перевод. Эта задача возникает и в условиях обычного перевода, но при машинном переводе пути решения ее представляют ряд особенностей, которые определяются тем, что машина не может оперировать смысловыми связями, имеющимися в тексте[2]. В силу этого фраза при машинном переводе должна быть подвергнута анализу только по формальным признакам. Говоря о формальном анализе явлений языка, мы должны помнить, что именно такой анализ в принципе всегда имеет место при разборе текста на иностранном языке человеком, который плохо владеет этим языком[3]. Весь процесс перевода слагается из двух моментов: из анализа текста по структурным признакам и из построения перевода на основе информации, полученной при анализе.

Возможности формального лингвистического анализа существенно различаются в зависимости от структуры языка. Соответственно различным будет и подход к проблеме машинного перевода с разных языков. В языках синтетических большую долю информации о том, в какой синтаксической функции и грамматической форме выступает то или иное слово, несут словоизменительные аффиксы. Русский язык, например, располагает богатыми формальными возможностями, поэтому в нем очень легко строить однозначные в формальном отношении предложения[4]. В немецком языке формальных возможностей меньше, так как имеет место значительная омонимичность формантов, например *-(e)n* является окончанием всех косвенных падежей существительных слабого склонения (*des Menschen*), суффиксом множественного числа существительного (*die Frauen*), окончанием прилагательного (*die guten Frauen*), окончанием 1-го и 3-го лица множественного числа глагола (*marschieren*), формами инфинитива и т. п. Формальный анализ в английском языке представляется еще более сложным вследствие омонимичности многих аффиксов (например, *-(e)s, -ing, -ed*) и явления конверсии. Так, например, словоформа *moves* может обозначать либо множественное число существительного («движения — шаги»), либо 3-е лицо единственного числа настоящего времени глагола («движется»). Поэтому для такого сочетания, как *Soviet peace moves*, однозначный формальный анализ невозможен.

Из вышеизложенного следует, что в области грамматики одной из основных лингвистических проблем, возникающих при машинном переводе с западноевропейских языков на русский, является проблема грамматической омонимии.

---

[1] Ср. данные о частотности грамматических категорий и форм русского языка, приведенные Г. Джоссельсоном (см. H. H. Josselson, указ. соч.). Автор приводит показатели частоты употребления отдельных падежных форм существительного, степеней сравнения прилагательного, глагольных видов (соверш. вид. 57,5%, несоверш.— 42,5%), форм наклонения (изъявительное соверш. вида 85,4%, повелительное соверш. вида 0,4%, сослагательное соверш. вида 1%, неопределенная форма соверш. вида 13,2%; изъявительное несоверш. вида 85,7%, повелительное несоверш. вида 0,5%, сослагательное несоверш. вида 0,3%, неопределенная форма несоверш. вида 13,5%), временных форм (наст. вр. несоверш. вида 33,6%, прош. вр. несоверш. вида 66,1%, будущ. вр. 0,3%), форм лица и пр.

[2] Вопросу о влиянии контекста на однозначность перевода посвящена статья A. Каплана (A. Kaplan, An experimental study of ambiguity and context, «Mechanical translation», vol. II, № 2, 1955).

[3] См. Л. В. Щерба, Перспективы преподавания иностранных языков в школе, сб. «Иностр. язык в школе», М., 1944, стр. 9.

[4] Широкие формальные возможности русского языка способствовали успеху первого опыта машинного перевода (с русского языка на английский). Наличие развитой системы падежных окончаний позволило установить такие соответствия, как *-ом* например, в форме *отношением*) — *by* перед знаменательным словом (*by relation*), *-у* (например, в форме *радиусу*)—*to* и т. п. Подобные правила, однако, имеют ограниченную приложимость. Они неприменимы для перевода с английского языка на русский. При более детальной разработке практики перевода с русского языка возникает проблема многозначности формантов. В частности, вопрос о многозначности *-ся* в глаголе (около 20 значений!) уже привлек внимание исследователей. См. J. W. Perry, A practical development problem, сб. «Machine translation of anguages».

Для устранения грамматической омонимии необходимо разбить все слова на определенные разряды, или классы, целиком исходя при этом из формальных признаков. При чисто формальном распределении слов по классам слова, основы которых могут образовывать без аффиксации различные части речи (например, нем. *gut* — прилагательное и наречие, англ. *turn*— глагол и существительное), и слова, основы которых могут образовывать только одну часть речи (нем. *eisern* «железный», англ. *establish* «устанавливать»), должны быть отнесены к разным классам. В словаре основы с многозначной морфологической характеристикой должны нести соответствующую пометку: например *gut* — «прилагательное-наречие», *turn* — «существительное-глагол» и т. п. Это дает возможность сформулировать правила, которые позволяют по окружению определить принадлежность соответствующего слова к той или иной части речи и лишь после этого осуществлять перевод.

Задача формального анализа требует учета еще одного важного фактора, каким является п о р я д о к с л о в. Проблема порядка слов возникает в случае омонимии членов предложения, например формального совпадения подлежащего и прямого дополнения в английском, немецком и французском языках. Сложными и до сих пор не получившими решения являются вопросы о том, как далеко могут отстоять друг от друга синтаксически связанные слова, а также вопрос об инверсии, наличие которой может привести к полному искажению смысла переводимого текста.

Для формального анализа фразы можно использовать ряд вспомогательных приемов, в том числе прием снятия многозначности, предложенный И. Бар-Хиллелом[1]. Суть этого приема состоит в следующем. Бар-Хиллел выделяет два опорных класса слов: имена и предикативные слова, а для всех остальных слов указывает возможность вхождения их в атрибутивные или предикативные сочетания. Слова, относящиеся к классу имен, обозначаются знаком «n», слова, относящиеся к классу предикативных слов,— знаком «s». Для того чтобы указать, в какое словосочетание (атрибутивное или предикативное) входит данное слово, этому слову в качестве своеобразного «знаменателя» приписывается соответственно знак «n» или «s», который Бар-Хиллел называет аргументом данного элемента. Если некоторый элемент (т. е. слово) связан с другим элементом, стоящим от него справа, то аргумент первого ставится в квадратных скобках; если же он связан с элементом, стоящим от него слева, то его аргумент заключается в круглые скобки. Так, предложение *Poor John sleeps* изображается формулой $\frac{n}{[n]}\,n\,\frac{s}{(n)}$. После составления формулы Бар-Хиллел предлагает, отвлекаясь от конкретных значений элементов, поступить с полученной цепочкой символов, как с дробями, т. е. сокращать их. Аргументы, стоящие в квадратных скобках, сокращают вправо, а аргументы, стоящие в круглых скобках,— влево. После сокращения должно остаться одно «s» (предикативная связь). Иной результат будет указывать на отсутствие синтаксической связанности элементов данной последовательности.

Методом подобной индексации в принципе можно выразить какие угодно сложные связи. Например, такая последовательность, как $\frac{s}{(n)}\,\frac{n}{[n]}\,n\,\frac{s}{(n)}\,\frac{n}{[n]}\,\frac{n}{[n]}\,n$, при постепенном упрощении дает «s». Действительно, данная последовательность может символизировать предложение типа: *John knew that Paul was a poor man.*

Наиболее ценным в приеме Бар-Хиллела является указание на то, что целый ряд одних и тех же слов в разных окружениях может иметь разные индексы, т. е. входить в словосочетания различного грамматического типа. Поочередно приписывая словам фразы различные индексы, можно установить принадлежность этих слов к грамматическим классам и тем самым сократить степень неоднозначности перевода, а в некоторых случаях достичь однозначности.

Одним из важных общих вопросов машинного перевода является вопрос о выделении отрезков текста, в пределах которых действуют составленные для машины правила. В качестве такого отрезка удобнее всего взять предложение, границы которого отмечаются знаками препинания: точкой, точкой с запятой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. Однако вопрос усложняется тем, что употребление знаков препинания не всегда бывает однозначным. Так, точка ставится после порядковых числительных в немецком и английском языках; восклицательный знак используется в математике как знак факториала (ср. 5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 и т. п.). Кроме того, между двумя точками может стоять очень длинный период, перевод которого из-за большого количества слов разного типа может представлять значительные трудности. Поэтому возникла необходимость дать формальные правила употребления знаков препинания, включая запятую. Попытка выработки подобных правил была предпринята в отношении немецкого языка. Были составлены правила, устанавливающие, в каком окружении запятая является концом предложения (boundary mark), и позволяющие

[1] Y. Bar-Hillel, A quasi-arithmetical notation for syntactic description, «Language», vol. 29, № 1, Baltimore-2, Md., 1953.

ограничить отрезок текста, непосредственно подлежащий переводу[1]. Кроме знаков препинания необходимо было найти формальные структурные признаки законченности отрывка. Такими признаками, по-видимому, могут служить рамочная конструкция (только для немецкого языка), подчинительные или сочинительные союзы в последующем тексте и т. п.

В заключение необходимо остановиться на вопросе о границах машинного перевода. Поскольку не все вопросы словаря и грамматики можно решить чисто формально, в переводе неизбежно будет оставаться непереведенным незначительный процент слов и выражений, а также будут иметь место некоторые погрешности против нормы сочетаемости слов и стилистического употребления грамматических конструкций. Не приходится говорить о том, что проблемы, которые по самой своей природе требуют творческого подхода, также не могут быть решены в процессе машинного перевода. Признание этих ограничений отнюдь не ставит под сомнение самую идею машинного перевода, а только еще раз подтверждает, что машины могут выполнять задачи такого рода, облегчая труд человека, но не заменяя его.

Т. Н. Молошная, В. А. Пурто, И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг

[1] V. A. Oswald and St. L. Fletcher, указ. соч.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Реформатский. **Введение в языкознание.**— М., Учпедгиз, 1955. 400 стр.

Рецензируемая книга состоит из семи разделов: 1) «Введение»; 2) «Лексикология»; 3) «Фонетика»; 4) «Грамматика»; 5) «Письмо»; 6)«Классификация языков»; 7) «Происхождение языка. Образование и историческое развитие языков». Во «Введении» рассматриваются общие свойства языка и разъясняются такие основные понятия, как структура и система языка, язык и речь, синхрония и диахрония в языкознании.

В разделе «Лексикология» обосновывается взгляд на слово как основную единицу языка, на язык именно как язык слов: «...и в грамматике, и в фонетике мы рассматриваем именно грамматические формы и звуковой состав слов» (стр. 33). Поскольку основной функцией слова является называние, а называние предполагает обобщение, центральным вопросом лексикологии является соотношение слова и понятия. Это соотношение рассматривается, во-первых, с точки зрения различия в способе выражения понятия в морфеме и слове и, во-вторых, в плане классификации слов. От морфем (в плане способности выражать понятия) слово отличается большей конкретностью: если в морфеме понятие выражается в чистом виде, абстрагируясь от многообразия вещей, отвечающих данному понятию, то в слове понятие конкретизируется, прикрепляясь к названию вещей и явлений (стр. 34). При классификации слов необходимо учитывать, что не всякое слово выражает понятие. Это касается прежде всего междометий. В то же время и собственные имена, «соотносясь с классом вещей, имеют свое значение в назывании и только, никаких понятий они не выражают» (стр. 36). Однако соотношение собственных и нарицательных имен очень сложно. Между этими двумя классами слов постоянно происходит обмен: нарицательные имена превращаются в собственные и собственные в нарицательные. Для понимания существа этих процессов необходимо детальное изучение разных случаев. Приводимое на стр. 37—42 краткое изложение данного вопроса представляет собой одну из наиболее интересных его трактовок.

Особыми свойствами с точки зрения способности к называнию предмета и выражению понятия обладают, далее, местоимения, числительные и служебные слова. Присоединение к этим двум признакам третьего — способности быть членом предложения — дает основу для общего определения типов слов в языке (стр. 43).

В разделе «Лексикология» привлекает внимание также интересная трактовка вопросов полисемии и омонимии на основе «равноименности» (стр. 47—49), ясное изложение сложного вопроса о словарном составе языка и его основном словарном фонде (стр. 97—112), богатый свежим материалом раздел об изменениях словарного состава языка. Таким образом, раздел «Лексикология» раскрывает природу слова как основной единицы языка и словарного состава в разнообразии составляющих его единиц, разъясняет существо процессов, свойственных лексике, характер и пути происходящих в ней изменений.

Изложение в разделе «Фонетика» начинается с подробного описания материальной звуковой стороны языка — сведения из акустики, анатомия речевого аппарата и физиология звуков речи, общие классификации звуков речи, независимо от тех функций которые те или другие их модификации могут выполнять в отдельных языках. Далее следует фонетическое описание р е ч и — «линейная» трактовка звуковой стороны языка. *Описание построено по принципу:* от крупных единиц к более мелким, поэтому позиционные изменения звуков выступают в ф о н е т и ч е с к о м аспекте как п р о ц е с с ы, закономерно вытекающие из объективных свойств речи.

Ознакомление с акустическими и артикуляционными свойствами звуков речи (т. е. с тем, что обеспечивает их «перцептивную функцию») позволяет обратиться к сигнификативной функции, *«к способности* различать звуковой материей значимые элементы языка» (стр. 172). Основным понятием при изучении сигнификативной функции звуков речи являются ф о н е м ы, которые определяются как «минимальные единицы звукового строя языка, служащие для складывания и различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений» (стр. 174). «Звуки объединяются в фонемы не по акустической или артикуляционной близости, а по общности ф у н к ц и о н а л ь н о й, т. е. если в зависимости от условий произношения (характера слога, отстояния от ударного слога, соседства с теми или другими звуками и т. п.) звуки произносятся

по-разному, но выполняют ту же функцию, т. е. образуют тот же корень или тот же грамматический элемент слова (приставку, суффикс, окончание),— это разновидности той же фонемы» (там же). Как видно из приведенных выдержек, фонологическая концепция автора не отличается от той, которая была выражена в его книге 1947 г. и которая свидетельствует о его принадлежности к так называемой «московской школе фонологов». Как известно, преимуществом этой концепции является то, что она уже была применена для описания звуковой системы языка не в отдельном фонетическом курсе, а в составе общего курса[1], т. е. в увязке с морфологической системой (ясно, что звуки речи реально существуют только в составе звуковых оболочек слов и морфем, т. е. только в функции различения этих звуковых оболочек). Сущность фонематического анализа на основе данного понимания его природы разъясняется автором на следующем примере: «Для определения количества фонем в языке необходимо понимание позиций, так как подсчет фонем может быть осуществлен только на основании сравнения сильных позиций, причем надо брать морфемы, а не слова, и определять состав фонем каждой морфемы независимо от тех позиционных условий, в которые они попадают в слове; например, в слове *детский* (д'эцкай) сначала определяется состав фонем корня, [д'], [э] — прямо, а замыкающая согласная — из сопоставления с *деток*, *деточка*; состав фонем суффикса определяется сопоставлением с аналогично образованными прилагательными, где суффикс не следует за *т*, *д*, например, *конский*, *морской*, *дамский*; состав фонем флексий определяется сопоставлением с прилагательными, имеющими ударение на окончании: *морской*, *худой*; в результате выявлен весь фонемный состав слова: [д'эт-ск-ой]» (стр. 181).

Раздел «Грамматика» построен следующим образом: 1) что такое грамматика (ее общие свойства, отличие ее от других сторон языка — фонетики и лексикологии); 2) грамматические способы, встречающиеся вообще в языках,— аффиксация, агглютинация и фузия, внутренняя флексия и чередование, повторы, сложения, способ служебных слов, порядка слов, ударения и т. п. и обусловливающийся предпочитанием того или другого способа синтетический и аналитический строй языков; 3) грамматические категории; 4) части речи и 5) синтаксические единицы языка.

В этом разделе выделяются две основные проблемы: во-первых, проблема характера грамматической абстракции и, во-вторых, вопрос о том, каким образом мысли благодаря грамматике получают материальную оболочку, необходимую для речевого общения. Абстракция имеется и в лексике: «любое слово в языке соотносится не с отдельной индивидуальной вещью, а с целым классом вещей, что обязательно предполагает абстрагирование от отдельного и индивидуального» (стр. 191—192). Но грамматическая абстракция качественно отличается от лексической: для грамматики разные слова, например *нос*, *стол*, *дуб*, *топор*, *вокзал*,—«это то же самое, так как у всех этих слов, очень различных по лексическому значению, грамматика одинаковая...» (стр. 193); все эти разные слова одинаково сочетаются с грамматическими окончаниями *-а*, *-у*, *-ом*, *-е*, *-ы*, *-ов* и т. п., а только это обстоятельство и существенно для грамматики.

Каждое грамматическое явление всегда имеет две стороны: внутреннюю—грамматическое значение, и внешнюю — грамматический способ выражения значения. Природа грамматического значения и его разновидностей выясняется из сопоставления с лексическим значением. При этом выявляются следующие противопоставления: конкретное (лексическое) — абстрактное (реляционное); вещественное — грамматическое; самостоятельное — несамостоятельное. В этих трех парах первые и вторые члены оказываются обычно взаимно соответствующими. Например, в словоформе *столам* стол является «конкретным» (в том условном употреблении этого термина, который оправдывается противопоставлением «лексической абстракции низшего порядка» «грамматической абстракции»), «вещественным» и «самостоятельным», а *-ам* — «абстрактным», «грамматическим» и «несамостоятельным». Однако в таком, например, случае, как *стол-ик-ам*, появляется необходимость введения еще одного понятия — «деривационное значение»: *-ик-*, с одной стороны, несамостоятелен, подобно *-ам*; с другой же стороны, он принципиально отличается от *-ам* наличием «конкретности», что сближает его со *стол-*. Материальным выражением грамматических значений, как реляционных, так и деривационных, является грамматический способ. Описанию различных грамматических способов уделяется около трети изложения, посвященного грамматике.

Как можно было видеть из приведенного перечня вопросов, рассматриваемых в разделе «Грамматика», А. А. Реформатский не проводит четкого деления грамматики на «морфологию» и «синтаксис». При изложении этого раздела автор отправляется от грамматической абстракции как основы для определения природы грамматического значения и затем сосредоточивает внимание на характеристике разных способов его выражения. Хотя такие «способы выражения грамматических значений», как порядок слов и служебные слова, и относятся, очевидно, к синтаксису, в принятом понимании

[1] См. Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I — Фонетика и морфология, М., 1945.

этого термина, и хотя попутно в связи с обсуждением грамматических способов и затрагивается вопрос о линейности речи, вопрос о «синтаксисе» там не ставится. Понятие это вводится в связи с обсуждением «синтаксических единиц языка» (стр. 252 и сл.). А. А. Реформатский пишет: «Что же в языке позволяет ему выполнять эту его главнейшую роль — функцию общения? — Это синтаксис. Именно в области синтаксиса возникает момент сообщения, коммуникации». Коммуникация же заключается в том, что одно названное определяется другим. Отсюда «зерно коммуникации» — синтагма, понимаемая как «сочетание двух членов, связанных тем или иным подчинительным отношением» (стр. 253). Членами синтагмы могут быть слова, части слов и словосочетания. Отношения между членами синтагмы могут быть предикативными и непредикативными. Непредикативные подразделяются на атрибутивные, объективные и релятивные, причем отношения между членами синтагмы могут быть выражены согласованием, управлением и примыканием. Предложение — это высказывание, содержащее предикативную синтагму. Хотя основой коммуникации является синтагма, коммуникация возможна и несинтагматическим способом — посредством сочинения.

Завершается раздел «Грамматика» кратким сообщением о том, что различные способы коммуникативного соединения элементов могут встретиться в одном сложном предложении, которое будет составлять сложное синтаксическое целое (стр. 273). Таким образом, в отличие от фонетики, где изложение строилось по принципу «от крупных единиц к более мелким», здесь принят порядок «от элементов к сложным целым». От способа изложения, принятого во всех остальных разделах (так же, как и в других частях «Грамматики»), отличаются страницы, посвященные грамматической категории и грамматической форме (стр. 200 и сл.) (отчасти сходным с этими разделами по характеру изложения является лишь параграф «Предложение»). Если всюду автор говорит только «от себя», излагает определенные концепции позитивно как таковые, не касаясь того, высказывались ли подобные соображения Э. Сепиром, Ф. де Соссюром или каким-либо другим языковедом и какие вообще по этому вопросу возможны точки зрения, то в вопросах о грамматической форме и грамматической категории автор сосредоточивает внимание не столько на утверждении данной положительной концепции, сколько на предостережении против неправильного понимания, характеристике некоторых систем, указании трудностей, возникающих в связи с рассмотрением этих вопросов, и т. п.

Интересен, компактен и хорошо иллюстрирован раздел «Письмо», включающий не только общую характеристику письма, его этапы и формы развития, но и более общие вопросы, такие, как орфография и транскрипция. В разделе «Классификация языков» делается попытка полной генеалогической классификации языков мира, излагаются история и методы классификации языков. Вопрос о сравнительном методе в языкознании написан с учетом современных работ советских ученых. Со знанием дела и на уровне современного советского языкознания написан 7-й раздел, посвященный вопросам происхождения языка, образования и исторического развития языков.

Книга в целом представляет собой ценное учебное пособие. Она — результат многолетней научной и педагогической работы одного из наиболее квалифицированных наших языковедов, плод длительного творческого размышления и систематического собирания тонко подмечаемых языковых фактов. Книга явится ценным пособием не только для студентов педагогических институтов, но и для преподавателей и аспирантов. В то же время следует отметить и недостатки, имеющиеся в этом труде. Так, одним из существенных недостатков является отсутствие в ряде случаев точных определений применяемых понятий. Например, не определены понятия «язык», «слово», «форма слова» (или «грамматическая форма»), «понятие», «стилистические различия», «номинация», «грамматическая категория». Есть, правда, несколько частичных объяснений понятия «грамматическая категория», но они вряд ли помогают проникновению в сущность данной лингвистической категории: «Грамматические категории — это прежде всего совокупность элементов языка (слов, их значимых частей, их сочетаний), образующие грамматические общности... грамматическая категория — это совокупность элементов языка (слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенная грамматическим значением» (стр. 200—201); «Грамматические категории — это объединения, группы, совокупности однородных грамматических явлений и прежде всего совокупности однородных грамматически слов и их форм» (стр. 245); «Форма» — это, очевидно, «соотношение грамматического значения и грамматического способа в их единстве» (стр. 205)?

В отдельных случаях можно отметить некоторую противоречивость изложения. Так, на стр. 17 отсутствие необходимой связи между названием вещи и ее природой объясняется ссылкой на «теорию знака». Однако приводимые в том же абзаце примеры омонимии по существу опровергают правомерность этого объяснения, так как наличие в языке омонимии как раз является одним из наиболее наглядных нарушений «закона знака» языком.

Вызывает сомнение, можно ли, признавая необходимость различать язык и речь,

относить к «значимым единицам языка» морфемы, слова и предложения, как это сделано на стр. 16 и 21? Входит ли в язык конкретное предложение *Ну!* (Поезжай!) так же, как в него входят фонема, морфема и слово? Нельзя не напомнить, что в разделе «Грамматика» предложение определяется как «высказывание, содержащее предикативную синтагму», а «синтагма» в принятом в книге понимании не является ли всегда речевой «транспозицией», «актуализацией» составляющих ее элементов языка?

Раздел «Лексикология» заставляет поставить следующие вопросы. Как уже отмечалось выше, основным для лексикологии является вопрос о соотношении слова и понятия, поэтому совершенно закономерно, что в рассматриваемой книге именно с этого вопроса начинается изложение данного раздела. Однако некоторые трудности, связанные с разъяснением вопроса о слове и понятии, автором не вполне разрешены. Во-первых, не вполне ясной остается природа различного рода обобщений или абстракций, необходимых для образования различного рода понятий. Если исходить из того, что сказано на стр. 34 (4-й абзац), то следует прийти к выводу, что собственно обобщение или образование понятий свойственно лишь морфемам, а не словам, поскольку понятие вообще не может образоваться иначе, как абстрагируясь от многообразия вещей. Вместе с тем на стр. 191–192 указывается, что любое слово, соотнося не с отдельной, индивидуальной вещью, а с целым классом вещей, обязательно предполагает абстрагирование, потому что в языке вообще есть только общее. Поскольку же грамматическая абстракция представляет собой еще более высокую абстракцию, качественно отличную, по-видимому, не только от «конкретной абстракции» слова, но и от «абстрактной абстракции» морфемы, общая картина очень усложняется.

Дальнейшее изложение вносит дополнительные затруднения. Во-первых, получается, что слова будто бы вообще выводятся из языка и переводятся в сферу речи, поскольку собственной функцией слова, по мнению автора, является функция называния, номинативная функция или «номинация слова» (стр. 34). Но слов как таковых, по-видимому, представить себе нельзя, если верно то, что сказано в начале следующей, 35-й страницы: «Самое интересное здесь состоит в том, что, поступая в распоряжение грамматики, эти абстрактные корни-значения делаются конкретными значениями в связи с номинацией, делаются словами (разрядка моя.— *О. А.*), необходимыми для речевого общения». Иными словами, получается, что слово возникает только тогда, когда происходит «актуализация» двух соположенных элементов языка, двух морфем — «вещественной» и «реляционной».

Некоторые недоумения возникают также в связи с вопросом об отношениях между значением, предметом и понятием. Читатель, как будто, может попытаться уяснить для себя данный вопрос, отожествив понятие со значением или «сигнификацией». Однако этому препятствуют такие высказывания: «...значение [собственных имен] исчерпывается их номинативной функцией» (стр. 37); «числительные выражают понятия... не связанные с реальными вещами»; они «как слова начинают называть то понятие, которое они обозначают» (стр. 45); не помогает решению вопроса и употребление автором термина «слово-понятие» (стр. 45). Нельзя не заметить в этой связи, что упоминание о «суппозиции» не совсем удачно. Ведь разные «суппозиции» — не особое свойство тех или других типов слов, а общая всем словам способность употребляться по потребности, во-первых, для называния данного реального предмета (реальная суппозиция), во-вторых, для выражения понятия, отвлеченного от совокупности реальных предметов (формальная суппозиция) и, наконец, для обозначения себя самого (вербальная суппозиция). Слово *три*, также как и другие числительные, отличается не способностью к «подстановке» (суппозиция), а тем, что в «формальной суппозиции» оно отвлекается не от класса предметов, а от класса классов предметов. Поскольку применяемые автором термины вряд ли хорошо известны рядовому студенту, то, думается, эту область знания с ее трудной терминологией затрагивать лишь вскользь невозможно.

Бо́льшая четкость в изложении основных вопросов семасиологии безусловно способствовала бы внесению бо́льшей ясности и в вопрос о синонимах (которые в параллель к «равноименности», может быть, имело бы смысл подвести под «разноименность»?), антонимах и особенно о служебных словах. Ведь в форме понятий отражаются не только предметы и явления, но и их связи и отношения. Поскольку определенное понятие сформировано и закреплено в определенном языковом выражении, данное языковое выражение может использоваться для называния всех частных случаев или проявлений того общего, что явилось основой для его возникновения. Поэтому и абстрагированное от разных конкретных случаев своего реального существования отношение, будучи однажды познано и в виде слова закреплено в языке, легко может быть названо, поскольку оно представляет собой столь же реальный и объективно-существующий «предмет», как и те реальные предметы, которые находятся друг к другу в данном отношении. Так, например, если «отношение нахождения на поверхности» выражено в такой фразе, как *книга на столе*, посредством предлога *на*, то трудно понять, какие могут быть основания для того, чтобы характеризовать это слово (предлог *на*) как «неспособное к называнию вещей»? Ведь понимать в такого

рода контекстах под «вещью» только так называемые «конкретные предметы» — столы, стулья и т. п., по принципу, что их можно потрогать или что они «координированы во времени и пространстве», значит переносить вопрос совсем в другую «суппозицию», отвлекаться от основного предмета языкознания.

Выше уже ставился вопрос о некоторой неясности в разграничении терминов «слово» и «морфема», «слово» и «предложение» в семасиологическом плане. По-видимому, с этим связаны и известные сомнения, которые вызывает трактовка некоторых видов словообразования и словосложения. Так, например, неоднократно (стр. 86, 229) говорится о «субстантивации глагола» посредством артикля в английском языке: *play* «играй», *the play* «игра» (а в русском языке вследствие отсутствия артикля приходится прибегать к морфологическим способам словообразования). Думается, что такая постановка вопроса связана с указывавшейся уже некоторой неточностью в трактовке понятия «слово». Как известно, англ. [plei] значит не только «играй»; это звуковая оболочка нескольких омонимичных словоформ, соответствующих русским *играю, играем, играете, играешь, играть, играй, играйте*. Все эти словоформы входят в парадигму глагола *play* вместе с такими словоформами, как *plays, playing, played*; [plei] же в *the play* — словоформа существительного *play*, входящая в его парадигму вместе с *play's, plays'*. Соотношение между двумя омонимичными [plei] есть поэтому в такой же степени отношение м о р ф о л о г и ч е с к о г о с л о в о о б р а з о в а н и я, как и в русском языке. К этой же серии явлений относятся и такие случаи, как *голова-минер* (!). Ведь *голова* по-русски — с л о в о, а [hed] в *head-miner* — м о р ф е м а, часть сложного слова. Далее, в сложном прилагательном *singsong* — *sing*не слово, не инфинитив, а м о р ф е м а, так же как и *-song* морфема, а не существительное (данная огласовка в этом виде словообразовании закономерно повторяется в *wig-wag, riff-raff* и др.). То же относится и к немецким примерам (стр. 224—226). В случаях с *-s-* — это, конечно, не цепь «форм родительного падежа», а сложение основ посредством соединительной согласной *-s-* (ср. также примеры на стр. 235 внизу).

В отношении раздела «Грамматика» основные сомнения уже были высказаны выше. Теперь остается обратить внимание лишь на следующее. Как убедительно показано в рецензируемой книге, грамматическое явление слагается из грамматического значения и грамматического способа выражения. Эти две стороны — внутренняя и внешняя — два обязательных аспекта рассмотрения любого грамматического явления (стр. 195). Как можно судить из сказанного далее о «деривационном» значении (стр. 197 и сл.), грамматический способ выражения является настолько важным моментом при определении явления как «грамматического», что несмотря на наличие в деривационном значении известной «конкретности», оно все же относится к грамматическим явлениям.

Совершенно понятными являются также соображения о грамматических значениях в синтетических языках (стр. 243), которые, в полном соответствии с тем, что было сказано о реляционном значении и о трудностях, связанных с определением природы значения деривационного, выступают как несамостоятельные, дополнительные по отношению к основному — самостоятельному, лексическому, вещественному значению слова.

Однако дальше возникают неясности, причем начинаются они уже с того не вполне четкого определения грамматической категории, о котором было сказано выше. В этом определении, отступая от сказанного о двусторонности всякого грамматического явления, автор выдвигает на первое место «значение» (стр. 245). Определяющим для грамматической категории оказывается уже не г р а м м а т и ч е с к и й, «дополнительный» способ выражения и не обязательное единство грамматического выражения и грамматического значения, а «общее грамматическое значение».

Грамматическое значение есть «реляционное» значение, или «значение отношения». Взятое в обязательной и неразрывной связи с его специфически грамматическим д о п о л н и т е л ь н ы м выражением, оно играет важную и вполне определенную роль в составе грамматических явлений языка, объединенных в грамматические категории. Взятое же отдельно от своего специфически грамматического выражения в качестве основы для выделения «грамматических» явлений языка, оно дает повод для непомерного расширения пределов «грамматики», фактического стирания границ лексикологии и грамматики, так как «значения», выражаемые в одних языках грамматически, дополнительно, посредством аффиксов, порядка и т. п., в других выражаются как с а м о с т о я т е л ь н ы е отдельными словами (стр. 223).

Но является ли то обстоятельство, что значение, выражаемое в данном языке словами, в «других языках» выражается дополнительными, грамматическими способами, основанием для того, чтобы в определенном языке считать данные слова в целом «грамматическими», называть свойственное определенному языку употребление данной категории слов «грамматическим явлением»? И далее: что значит «то же значение» или «такие же грамматические оттенки»? Можно ли серьезно думать, что, например, английский предлог *with* имеет то же значение, что русский творительный падеж (если конечно, иметь в виду подлинную природу обоих языковых явлений, а не возможность их приблизительного ситуативного соответствия в некоторых контекстах)? Можно ли приписать английским артиклям грамматическое значение и вообще считать их «грам-

матическими» словами на том лишь основании, что некоторые из передаваемых ими значений оказываются, грубо говоря, соответствующими тем, которые передаются в русском языке грамматическим способом порядка слов? А главное — где же тогда граница лексики и грамматики? Если вместе с де-Соссюром, Вандриесом и многими другими крупнейшими языковедами считать, что этой границы нет, тогда естественно обратить внимание на определение «чистых значений», существующих идеально и воплощающихся в разных языках то в словах, то в аффиксах, то в особенностях синтаксического построения. Если же лексические явления и явления грамматические считать принципиально различными, видеть одну из важных задач современного языкознания в определении границ лексикологии и грамматики как основных лингвистических дисциплин (а именно такого мнения придерживается А. А. Реформатский), то вопросы о служебных словах, о словообразовании и словосложении и др. потребуют серьезного рассмотрения на основе исследования внутренних закономерностей именно данного языка со всеми свойственными ему особенностями в неразрывном единстве содержания и выражения составляющих его лингвистических единиц (конкретно таких, как нем. *kein*, англ. *some*, *по* и др., см. стр. 231).

При этом нельзя упускать из вида также того обстоятельства, что «лексическое и грамматическое выражение» есть нечто принципиально отличное от фонетической (звуковой) дифференциации оболочек слов и морфем. Словоформы *му́ка* и *муки́*, *кру́жки* и *кружки́* (стр. 236) различаются лексическим значением и местом в различных парадигмах соответствующих слов. Такое же фонетическое средство, как ударение, различает не слова и не словоформы, а лишь звуковые оболочки данных словоформ.

Больше всего сомнений вызывает, думается, раздел VI. Во-первых, надо ли в учебном пособии «Введение в языкознание» давать подробности в классификации языков? Но уж если это делать, то необходимо обеспечить самую тщательную вычитку и проверку редких и трудных названий, уточнить, следует ли говорить *урья* или *орья*, *будажарати* или *гуджарати*, *мон* и *кхмер* или *мон-кхмер*, *вэньян* или *воньян* и т. п., а также тщательно проверить факты, связанные с численностью того или другого народа, их географическим нахождением и т. п. По-видимому, в этой части в первом издании далеко не все необходимое было сделано.

В параграфах, посвященных изложению существа сравнительно-исторического метода в языкознании, не лишним было бы, по-видимому, дать также характеристику современных структуральных реконструкций языка-основы. Можно было бы также дать сведения о современном состоянии типологического сравнения и оценку известного увлечения типологией представителями некоторых лингвистических школ в ущерб сравнительно-историческому исследованию.

Заметим еще, что при подготовке книги к печати автору не удалось избежать некоторого количества досадных ошибок[1].

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий общий вывод: отмеченные неясности и недочеты могут без особого труда быть устранены во втором издании учебника. В целом же — это интересная и полезная книга, охватывающая разные аспекты того сложнейшего явления, каким является язык; это удавшаяся попытка всестороннего освещения вопросов языкознания на базе определенной научной концепции.

О. С. Ахманова

В. Г. Адмони. **Введение в синтаксис современного немецкого языка.** — М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. 392 стр.

Вышедшая в 1955 г. в свет книга В. Г. Адмони «Введение в синтаксис современного немецкого языка», несомненно, заслуживает внимания советских германистов, поскольку в ней впервые в отечественном языкознании делается попытка изложить основы синтаксиса современного немецкого языка в научно-теоретическом плане. Система

---

[1] В связи с данным замечанием рецензента необходимо обратить внимание на материал, полученный редакцией от ст. преподавателя кафедры английского языка Смоленского педагогического института В. Д. Ившина. В. Д. Ившин отмечает, что в книге А. А. Реформатского «Введение в языкознание» имеется ряд ошибок и неточностей, которые нужно было бы устранить при редактировании книги. В качестве примера таких ошибок, неточностей и опечаток В. Д. Ившин приводит следующие: написание английского местоимения *he* — *hem* вместо правильного *he* — *him* (стр. 25), *conwersio* вместо *conversio* (стр. 59), *wolf* [wu:f] вместо *wolf* [wulf] (стр. 100), *Hohle* вместо *Höhle* (стр. 151), *bee* вместо правильного написания *be* (стр. 232), *doughter* вместо правильного *daughter* (стр. 235 и 315); название западной части Англии *Wallis* вместо *Wales* (стр. 326), *Горьковский край* вместо *Горьковская область* (стр. 332), *Алтайская АССР* вместо *Алтайский край* (стр. 332), *Хакасская АССР* вместо *Хакасская автономная область* (стр. 332), *Тувинская Народная Республика* вместо *Тувинская автономная область* (стр. 332) и др.— *Ред.*

взглядов, излагаемая автором, явилась итогом многолетнего чтения В. Г. Адмони курса лекций по теоретической грамматике немецкого языка, самостоятельных исследований, тщательного изучения специальной литературы. Автор критически использовал большой материал по вопросам синтаксиса, имеющийся в немецкой грамматической литературе, в частности труды Пауля, Риса, Бехагеля, Зюттерлина, Вильмансa по вопросу о словосочетании, работы Эрдмана, Бехагеля, Пауля, Зюттерлина по проблеме порядка слов и др. Вместе с тем книга отличается оригинальностью построения и своеобразной трактовкой целого ряда вопросов синтаксиса. В отчетливой форме предстают в ней те концепции, которые намечались в самых ранних работах В. Г. Адмони (например, система аспектов предложения)[1], а также проблемы, разработанные позднее («монофлексия» в группе существительного, двусоставность предложения, «расширенное сказуемое» и многие другие).

Работа состоит из трех частей и введения, в котором содержатся определения самых общих понятий языкознания: грамматики, грамматических категорий, синтаксиса как раздела грамматики, понятия грамматической формы и т. д.

Первая, наиболее обширная часть книги (стр. 38—248) посвящена анализу предложения как основной коммуникативной единицы, которая «непосредственно реализует основную функцию языка, а именно оформляет речевое общение между людьми, являясь законченным высказыванием и выражением законченной мысли и получая свое особое грамматическое оформление» (стр. 13).

В этой части книги даются подлинно грамматические, а не «логические» определения главных членов предложения (стр. 50, 52), самого предложения (стр. 38) и др. При рассмотрении любой проблемы синтаксиса автор постоянно учитывает отражение в предложении определенного отношения к объективной действительности, которое и составляет реальное, логическое содержание предложения. Стремлением всесторонне осветить социальную функцию языка как средства общения людей объясняется новый и на первый взгляд необычный подход к анализу предложения по его семи различным аспектам, которые складываются «у предложения в процессе выполнения им его роли единицы речевого общения, выражающей законченную мысль» (стр. 3).

Все эти аспекты в той или иной степени разрабатывались в трудах различных германистов. Однако заслугой автора работы «Введение в синтаксис» является сведение их в стройную систему и рассмотрение их как определенных синтаксических категорий, обеспечивающих анализ наиболее устойчивых и характерных грамматических типов предложения, закономерно сложившихся в процессе длительного исторического развития языка. Ведь «в каждом из этих аспектов предложения различаются между собой и по своему содержанию, и по своей конкретной языковой форме» (стр. 43) (разрядка наша.— *Авт.*).

Наряду с освещением всей специфики синтаксического строя немецкого языка большое внимание автор уделяет здесь раскрытию сущности таких важных синтаксических понятий, как предикативное и сказуемое отношения, «психологическое подлежащее», взаимоотношение «логического субъекта» и «логического предиката» с подлежащим и сказуемым и др. Весьма обстоятельно рассматриваются причины несовпадения грамматического членения предложения с его психологическим и логическим членением и расхождения сказуемного отношения (отношения подлежащего и сказуемого) с предикативным отношением, связывающим два компонента при построении предложения.

Предметом второй части книги В. Г. Адмони (стр. 249—364) являются подчинительные словосочетания, рассматриваемые автором как синтаксические группы в составе предложения. Выделение словосочетания как особого раздела синтаксиса производится впервые в советской германистике и заслуживает, с нашей точки зрения, положительной оценки.

Проблема словосочетаний имеет значение не только для синтаксиса немецкого языка, но и для всей синтаксической науки в целом. Большое внимание вопросам словосочетания уделяется в русском языкознании (см. работы Фортунатова, Пешковского, Виноградова, Сухотина, Петерсона и др.). Рассмотрению словосочетаний специально посвящена первая часть второго тома академической «Грамматики русского языка». Значительный фактический материал по этому вопросу мы находим в трудах немецких лингвистов — Риса, Бехагеля, Зюттерлина, Блюмеля и др. Однако В. Г. Адмони по-новому осмысляет эти данные, выделяя те характерные свойства словосочетаний, которые специфичны именно для грамматического строя немецкого языка. Подчеркивая роль синтаксических групп как посредника между словом и предложением, он указывает на тот важный момент, что для характеристики зависимого члена в немецком предложении важнее всего знать его связь с определенной частью речи, а не с членом предложения. При этом В. Г. Адмони рассматривает словосочетания на базе изучения общих тенденций развития немецкого языка. Словосочетания даны автором в их

[1] См. В. Адмони, Структура предложения, сб. «Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении», М.—Л., 1935.

цельности, с учетом всех входящих в них звеньев. Особенно это касается группы существительного с его определениями.

В третьей части книги (стр. 365—385) рассматривается порядок слов, который играет для немецкого языка особо важную роль как средство организации не только предложения, но и словосочетания. При анализе функций порядка слов основное внимание справедливо уделяется структурной его функции как наиболее существенной для немецкого языка.

В. Г. Адмони опровергает то неправильное мнение, будто бы тенденция к известной фиксации порядка слов в немецком языке является свидетельством общей тенденции немецкого языка к аналитическому строю (стр. 369). Он отмечает, что в отличие от *английского языка фиксированность места в немецком языке не выполняет* функции грамматической, синтаксической характеристики слов (стр. 367), и считает, что рамочная конструкция, при помощи которой осуществляется структурная функция порядка слов в немецком языке, способствует обеспечению «цельности и организации предложения (или синтаксической группы) как определенного, законченного единства» (стр. 371).

Заслуга разработки этой существенной проблемы в советском языкознании принадлежит именно В. Г. Адмони. В трудах немецких ученых она отмечается лишь вскользь, даже у Эрдмана[1]. Бехагель больше внимания уделяет «закону нарастающих членов предложения», т. е. формальному объему слов, и закону постановки рядом связанных в мысли слов, чем структурной функции.

Странным, однако, кажется то, что в начале книги, перечисляя различные типы синтаксических связей и придавая большое значение ритмико-интонационному моменту в организации предложения, В. Г. Адмони называет порядок слов в немецком языке лишь «дополнительным способом оформления синтаксической структуры предложения и словосочетания» вследствие его большой «подвижности» (стр. 23). Это замечание не увязывается с той большой ролью, которую как будто бы он сам фактически отводит порядку слов [ср. § 30 — об отношении тождества, § 57 — о формах выражения познавательной установки говорящего, § 61 — об эмоциональном содержании предложения, § 87 — о рамочной конструкции в предложении, § 88 — о закономерных отступлениях от рамочной конструкции, главу X (в первой части книги) — о классификации предложений в зависимости от цели высказывания и др.].

Нельзя согласиться также с выражением «частичная фиксированность» порядка *слов в немецком языке* (стр. 35 и др.), *ибо в отношении немецкого порядка слов* надо говорить не о «частичной фиксированности», а о значительной связанности, хотя она проявляется и в другом плане, чем, скажем, в английском языке. Ведь даже местоположение второстепенных членов (дополнений, обстоятельств) в немецком предложении в значительной степени обусловлено тем, что они, участвуя в образовании рамки, *могут занимать в предложении то же место, что и неизменяемая часть сказуемого.*

Не кто иной, как сам В. Г. Адмони, предлагает в данной работе концепцию «расширенного сказуемого» (например, в предложениях типа *Er nimmt seine Bücher, Er ist hier*), вводит в употребление такие новые и важные термины, как «предикативное дополнение», «предикативное обстоятельство», «предикативное сравнение», «предикативный инфинитив». Все это, казалось бы, должно служить подтверждением большой связанности порядка слов в немецком языке.

К сожалению, В. Г. Адмони не увязывает свою концепцию «расширенного сказуемого» с проблемой порядка слов в немецком предложении. Нам кажется, что если бы этот вопрос был включен в третью часть книги, посвященную порядку слов, это сделало бы данный раздел значительно полнее и интереснее и способствовало бы расширению представления о специфике порядка слов, имеющего столь большое значение для строя немецкого предложения. Ведь не случайно даже «закономерные отступления от рамочной конструкции» играют определенную грамматическую и семантическую роль в смысле обособления или выделения, подчеркивания зарамочных членов.

Чрезвычайно положительным является стремление автора выявить своеобразие синтаксической структуры немецкого языка и показать структурные различия в строе немецкого и других языков. Довольно последовательно проводится также сопоставление синтаксических явлений немецкого и русского языков (при рассмотрении некоторых членов предложения, группы существительного и т. д.).

В книге содержится много интересных и важных наблюдений. Весьма ценными, например, являются замечания автора, сделанные им в связи с различными особенностями группы существительного — монофлективностью, употреблением рамочной конструкции, *различных видов определений*, артикля.

Большое значение придает автор вопросам словообразования, особенно субстантивации и образованию сложных существительных. Попутно заметим, что здесь сле-

[1] Лишь в последнее время эта проблема получила более широкое освещение. См.: E. Drach. Grundgedanken der deutschen Satzlehre, Frankfurt a. M., 1937; K. Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes, Berlin, 1955.

довало бы указать также и на словообразование сложных глаголов типа *freilassen, teilnehmen*, глаголов с отделяемыми приставками и на образование словосочетаний с глаголами (*типа Einfluß ausüben*), ибо все это тесно смыкается с проблемой двукомпонентного состава сказуемого, затрагиваемой в книге неоднократно.

В группе прилагательного В. Г. Адмони выделяет особый «приадъективный член», но от более подробного освещения его почему-то категорически отказывается в примечании, сделанном на стр. 74. О члене же, зависящем от наречия (очевидно, его следовало обозначить термином «приадвербный член»), в работе не упоминается совсем. Может быть, в отношении этих двух членов автор полагает, что «на базе намеченной здесь системы ведущих, наиболее глубоких и характерных явлений синтаксического строя немецкого языка сравнительно легко может быть понято место и значение других, не затронутых в книге частных синтаксических явлений»?

К сожалению, вопрос о «приадъективном члене» нельзя считать абсолютно ясным. Скорее следует признать его совершенно неясным. Эту проблему нельзя отнести к числу второстепенных вопросов синтаксиса, ибо она тесно связана с проблемой дополнения, обстоятельства и определения и в различных грамматиках освещается по-разному. Так, например, в теоретическом курсе современного немецкого языка Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой-Сокольской[1] и в грамматике немецкого языка Е. И. Шендельс[2] такой приадъективный член, как слово, управляемое предикативным прилагательным (*Er ist mir ähnlich*), рассматривается как дополнение. Такой же точки зрения придерживается В. Юнг[3]. Л. Зюттерлин, однако, выделяя подобный приадъективный член, не рассматривает его как дополнение[4]. Слова, зависящие от прилагательного, в таких группах, как: *rot vor Zorn, der ewig junge* и т. д., В. Юнг называет *определениями*. В *большинстве* же других грамматик такие члены чаще всего вообще не привлекают внимание авторов.

В. Г. Адмони совершенно прав, выделяя «приадъективный член» в группе прилагательного, так как дополнение он трактует как «второстепенный член, зависящий от глагола и обозначающий предмет, на который... направлено действие» (стр. 74). Однако отсутствие всякой попытки разобраться в этом запутанном вопросе, дифференцированно подойти к приадъективным членам, является существенным пробелом этой талантливой и интересной работы, полной верных наблюдений и тонких замечаний.

Отказ от всестороннего анализа приадъективных членов приводит к тому, что в различных примерах приадъективный член определяется по-разному. Например, в предложении: *Er ist mir ähnlich* (стр. 342) — *mir* называется определением к предикативному прилагательному, а в предложении: *Noch jetzt war ihm alles lieb* (стр. 152) — *ihm* определяется уже как косвенное дополнение. На стр. 355 в предложении *Es (das Gesicht) war ganz kindlich vor Zorn und Kummer* приадъективный член рассматривается как обстоятельство причины, хотя на стр. 74 обстоятельство определяется как «второстепенный член, зависящий от глагола».

Тщательно проводится В. Г. Адмони классификация сочинительных союзов при рассмотрении сложносочиненных предложений. Автор приходит к справедливому выводу, что границы между подлинными союзами и так называемыми полусоюзами весьма текучи, так как эти слова сходны по своему семантическому характеру и по характеру выражаемых ими связей.

Наиболее спорным в книге является сведение всех вопросов синтаксиса к рассмотрению предложения и словосочетания как уже сложившихся, данных языковых единств. Это является безусловно важным и обязательным, но не исключает необходимости рассмотрения проблемы становления предложения и словосочетания из отдельных слов, чему автор книги уделяет, по нашему мнению, недостаточное внимание. Ведь задача синтаксиса состоит не только в изучении готового предложения и словосочетания как элемента предложения, но и в изучении вопросов сочетаемости слов. Интересно было бы проследить характер сочетания слов в немецком языке: сочетание существительного с существительным (с предлогом или без него), глагола с существительным, глагола с наречием и т. д. В этом отношении примером может служить академическая «Грамматика русского языка», где обстоятельно анализируются все указанные проблемы.

Спорными представляются нам и некоторые другие вопросы, например, трактовка приложения. С одной стороны, оно рассматривается очень широко: как обособленное определение. Это значит, что к приложениям можно относить и обособленные прилагательные (на последнее указывает сам автор на стр. 309), и обособленные причастия, инфинитивы и т. д., хотя сам автор прямо об этом не говорит. С другой стороны, при-

[1] Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева-Сокольская, Современный немецкий язык, 2-е изд., Л., 1941.

[2] Е. И. Шендельс, Грамматика немецкого языка, 2-е изд., М., 1954.

[3] W. Jung, Kleine Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig 1954, стр. 48, 51.

[4] L. Sütterlin, Die deutsche Sprache der Gegenwart, Leipzig, 1910, стр. 338.

ложение получает узкую трактовку, так как, например, в группе *Doktor Müller* В. Г. Адмони считает слово *Doktor* просто определением (стр. 311), ибо это существительное не обособлено.

Одновременно В. Г. Адмони называет приложением субстантивированное прилагательное в словосочетании *Peter der Große* (стр. 308). Нам кажется, что приложение — совершенно особый вид определения и не следует смешивать его с обычным определением, хотя бы это и было обособленное прилагательное. А. А. Шахматов указывает, что приложение выражает особые аппозиционные отношения, возникающие между *названиями* субстанций и явлений, т. е. между существительными. Он увязывает аппозиционные отношения с предикативными, считая, что приложение в известных случаях может стать сказуемым[1]. В кандидатской диссертации М. П. Савцовой под приложением также понимается существительное или его эквиваленты, т. е. субстантивированные части речи[2]. Подобная точка зрения кажется нам более правильной.

Неясна также классификация предложений в зависимости от выраженных в них предикативных отношений: автор книги исходит иногда из формы, иногда из содержания предложения. Так, наряду с предложениями, выражающими отношение производителя действия и действия (§ 25 — стр. 115 и далее), отношения отдельного и общего (§ 29), отношения тождества (§ 30), выделяются предложения с прилагательным и причастием в качестве именного члена сказуемого (§ 27), предложения со страдательной формой глагола (§ 28) и т. д. В основу классификации положено разделение типов предложения по выражаемому сказуемым действию или состоянию (I тип) и качеству (собственно, все остальные типы). Иногда же на определение типа предложения влияет даже лексическое значение отдельных слов, входящих в состав сказуемого, например (см. стр. 155—156):

Ich habe Schmerzen
Er hatte Angst } — состояние

Da hatten wir eine Begegnung — действие

Эта неоднородность принципа классификации затрудняет понимание и может дать повод к тому, чтобы упрекнуть автора книги в чрезмерном логизировании. Очевидно, более объективным критерием при классификации предложений была бы грамматическая форма предложения, от рассмотрения которой следовало бы переходить к анализу содержания предложения (ср. стр. 148 — анализ грамматической ф о р м ы возвратной конструкции и з н а ч е н и й, которые она может выражать).

Не дает полной ясности глава, носящая название «Степень полноты предложения» (стр. 180—209). Автор предлагает делить все предложения с точки зрения их грамматической структуры на три группы: 1) нераспространенные предложения, состав которых ограничивается главными членами; 2) эллиптические предложения, в составе которых отсутствует хотя бы один из главных членов; 3) распространенные предложения, включающие не только главные, но и другие члены предложения.

Однако в действительности оказывается, что далеко не все предложения могут быть распределены по этим трем группам. К такому выводу приходит и сам автор, рассматривая конкретный языковой материал. Так, например, приходится признать существование предложений распространенных, но в то же время эллиптических [«Bitte, tritt ein... Nein, hier in dies Zimmer» (W. Bredel, Die Söhne)], т. е. таких, в которых отсутствуют один или оба главных члена, в то время как второстепенные, распространяющие члены предложения — налицо. Следовательно, рамки классификации предложений по трем группам оказываются слишком узкими.

Далее. В разделе об эллиптических предложениях указывается, что эллиптическими нельзя называть предложения, типологически отклоняющиеся от двусоставности (см. стр. 182 и сл.). Куда же относятся эти предложения, в которых постоянно отсутствует один главный член? Очевидно, наряду с тремя указанными типами предложений уместно было бы поставить вопрос о выделении в качестве отдельного типа односоставных предложений. Тем более, что в книге имеется раздел, специально посвященный их рассмотрению.

Одним из аспектов рассмотрения предложения является анализ м е с т а п р е д л о ж е н и я в р а з в е р н у т о й р е ч и. С точки зрения места и связи с другими предложениями в потоке речи, предложение, по мнению В. Г. Адмони, может быть: 1) самостоятельным, 2) составной частью сложносочиненного предложения и 3) состав-

---

[1] См. А. А. Ш а х м а т о в, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 279—280.

[2] См. М. П. С а в ц о в а, Приложение и его роль в современном немецком языке. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1956, стр. 2 и сл.

ной частью сложноподчиненного предложения (стр. 210)[1]. Далее последовательно рассматриваются эти три выделенных типа предложений. Остановимся на том, что вызывает здесь возражения или сомнения.

1. Место самостоятельного предложения в развернутой речи определяется следующим образом: «Самостоятельное предложение никак не выражает специальными грамматическими средствами свою связь с другими предложениями, хотя на самом деле определенная смысловая связь при наличии речевого контекста здесь все же постоянно имеет место» (стр. 210).

Нам кажется, что нельзя так решительно заявлять о том, что грамматические средства не участвуют в соединении так называемых самостоятельных предложений. К числу таких средств относятся, например, порядок слов, союзы и примыкающие к ним слова; определенное использование находят также модальные и временные формы глаголов — все это средства грамматические. Примером могут служить следующие контексты: «Träge kroch die Dämmerung über die Dächer. Der Tag war grausam heiß gewesen. Die Sonne hatte die Luft in den engen Gassen in eine flimmernde, lebendige Wolke, verwandelt...» (W. Bredel, Die Sansculotten von Gravilliers); «Andreas erhob sich. Dr. Berner auch» (W. Bredel, Das schweigende Dorf); «Der Kampf war sein Element. Und er hat gekämpft mit einer Leidenschaft, einer Zähigkeit, einem Erfolg, wie wenige» (F. Engels, Rede am Grabe von K. Marx).

2. Бессоюзные предложения рассматриваются автором книги как разновидность сложносочиненных предложений. Однако, как известно, существуют такие виды бессоюзных сложных предложений, которые не имеют себе аналогии в союзных сложносочиненных предложениях по типу связи их частей. Например: «In den Nachmittagsstunden desselben Tages wurde bei Brentens die Klingel gezogen: vor der Tür standen ein Mann und eine Frau mit einem Kind» (W. Bredel, Verwandte und Bekannte). Ср. также *в русском языке*: «Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь» (Пушкин, Капитанская дочка).

3. Третьей разновидностью предложений, выделяемых В. Г. Адмони в зависимости от их места в развернутой речи, являются такие, которые выступают как часть сложноподчиненного предложения. В центре внимания автора стоит вопрос о придаточном предложении. Совершенно справедливо указывается, что это предложение, подчиненное по своему грамматическому *положению*, *может*, с *точки зрения* общего содержания всего сложного комплекса, оказаться более важным и, таким образом, логически господствующим.

Существенным представляется вопрос о классификации придаточных предложений. Не имея возможности в кратком «Введении в синтаксис» дать полного их анализа, автор все-таки высказывает свою точку зрения на общие принципы их классификации (стр. 222). Однако он считает, что придаточные предложения *должны рассматриваться* лишь на основе их аналогии членам самостоятельного предложения. С этим мы не можем согласиться. В академической «Грамматике русского языка» (т. II, ч. 1-я, стр. 103) читаем: «...традиционная аналогия между так называемыми придаточными предложениями и членами простого предложения, проводившаяся прежде, а иногда проводимая и теперь с неуклонной и односторонней прямолинейностью, на самом деле может иметь лишь очень ограниченное и условное применение. Прежде всего ясно, что некоторые типы сложноподчиненных предложений (например, сравнительные, условные, следственные, уступительные, разные формы временных и др.) не имеют прямой аналогии с соответствующими видами обстоятельства как второстепенного члена предложения». Это положение в определенной степени справедливо и для немецкого языка. Ср.: «Auf dem Wege zu ihrer Tochter war Frau Hardekopf wiederholt von Bekannten gegrüßt worden, was sie indessen nicht bemerkt hatte...» (W. Bredel, Verwandte und Bekannte), «Er *schickte* ihn nach der Grafschaft Burgund, wozu sich eben ein anständiger Vorwand gab» (F. Schiller, Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande).

Некоторую неудовлетворенность оставляет у нас часть, посвященная рассмотрению подчинительных словосочетаний. Прежде всего вызывает сожаление отсутствие общего определения словосочетания как языковой единицы и соотношения его со словом и предложением. Все многообразие видов словосочетания сведено лишь к двум подчи-

[1] Мы не хотим полемизировать с автором о возможности употребления термина «предложение» по отношению к части сложного предложения. На неудовлетворительность этого термина уже указывалось в работах различных языковедов (см., например, Н. С. Поспелов, О грамматической природе сложного предложения, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950). Вывод, к которому приходит В. Г. Адмони в результате полемики с Г. Паулем, не совсем ясен: «...термины (главное предложение, подчиненное предложение) показывают, что мы имеем дело с какими-то специфическими разновидностями предложения, а не с предложениями в чистом виде. Но все же отсюда еще нельзя сделать вывод, что они с о в с е м не являются предложениями» (разрядка наша.— *Авт.*) (стр. 208).

нительным синтаксическим группам — группе существительного и группе глагола. Даже не упоминается о возможности существования других видов подчинительных групп (группы прилагательного, наречия); ни слова не говорится о сочинительных словосочетаниях.

Укажем еще на ряд более частных вопросов, вызывающих у нас сомнение. На стр. 27, например, *Riesen-*, *Heiden-*, *Groß-* именуются «полупрефиксами»[1], а *stock-*, *stein-* — приставками. Мы думаем, что *Heidenlärm*, *stockfinster* и т. п.— сложные слова идиоматического типа, а *Heiden-*, *stock-* и пр.— их компоненты. Не случайно и сам В. Г. Адмони говорит, что «такие приставки (*stock-*, *stein-*.— *Авт.*) могут быть связаны лишь с ограниченным количеством прилагательных» (стр. 27). А редкость употребления для приставок как раз не характерна.

Замечание о том, что «в группе причастия могут быть воспроизведены те синтаксические отношения, которые существуют в группе глагола» (стр. 203), нельзя считать исчерпывающим для характеристики группы причастия (особенно при распространенном определении), ибо в нем совершенно не учитывается тот факт, что причастие, помимо глагольных признаков, имеет еще и признаки прилагательного. Синтаксические отношения в группе глагола в предложениях *Der Kampf dauerte lange*; *Der Baumstamm wuchs krumm*; *Er erfüllte seine Pflicht treu*; *Sie antwortete richtig* и т. п. иные, чем в следующих группах причастий: *der lange dauernde Kampf*, *der krumm gewachsene Baumstamm*, *die treu erfüllte Pflicht*, *eine richtig beantwortete Frage*.

Следует остановиться также на вопросе о средствах синтаксической связи (см. стр. 15 и сл.). Нам представляется, что в основу выделения автором шести типов синтаксической связи не положен единый принцип; это приводит к смешению разнохарактерных явлений языка. Непонятно, почему рядом с такими средствами выражения синтаксической связи, как согласование и управление, рассматривается такое средство, как «свойственная определенным разрядам и формам слов способность закономерно сочетаться с другими словами определенных разрядов и форм, образуя с ними синтаксически в большей или меньшей степени завершенные конструкции» (стр. 17). В качестве иллюстрации характера этого средства связи приводится, в частности, способность склоняемого прилагательного сочетаться с существительным, что, с нашей точки зрения, является согласованием. Кроме того, понятия согласования и управления не находят себе в книге четкого определения, поэтому для читателя остается неясным, для чего автор, помимо управления, выделяет такое средство связи, как служебные слова, которое, по сути дела, перекрещивается с управлением.

Несколько упрощена в книге трактовка модального аспекта предложения (стр. 163—179). При перечислении средств выражения модальности отсутствует указание на роль интонации; в связи с этим остается неясным, каким образом выражается модальность в безглагольных предложениях, которые не содержат модальных слов.

В. Г. Адмони специально останавливается на понятии синтагмы. Весьма положительным кажется нам стремление автора рассматривать синтагматическое членение предложения в связи со специфическими особенностями строя предложения в немецком языке. Однако трактовка синтагматического членения как «в первую очередь и непосредственно» членения фонетического (стр. 100) кажется нам спорной; количество же иллюстрационного материала в этом разделе весьма ограничено и не подкрепляет в достаточной степени положения, выдвинутые В. Г. Адмони.

В работе встречаются отдельные неудачные выражения. Так, например, вызывает недоумение трактовка роли *es* в безличном предложении типа *es friert mich*. На стр. 111 читаем: «...известная „смутная" (?—*Авт.*) субъектность подлежащего может быть отмечена и здесь (*es* может быть воспринято как обобщенное обозначение тех сил и условий, которые вызывают соответствующее состояние у логического субъекта)».

В книге есть также ряд досадных редакционных погрешностей, которые необходимо учесть при ее переиздании. После указания на то, что «в немецкой грамматике... чаще всего дополнение рассматривается... как часть группы глагола или прилагательного» (стр. 325), в качестве иллюстрации этого положения приводится цитата из «Современного немецкого языка» Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой-Сокольской, где говорится, что «под дополнением понимают обычно член предложения, непосредственно подчиненный глаголу». (Последнюю мысль высказывает и сам В. Г. Адмони.) На стр. 361 вместо слов «в качестве предикативного прилагательного» следует сказать: «в качестве предикативного определения». В предложении *Ida bat Pauline...*, *Sie bald einmal zu besuchen* (стр. 357) инфинитивный оборот выражает не цель, а является дополнением. Ср. также определение междометий на стр. 193.

К сожалению, в книге содержится весьма небольшое количество примеров, что затрудняет подчас понимание мысли автора (например, на стр. 68—69, 70—78, 96 и др.).

Много имеется не замеченных корректором опечаток: стр. 171 (8 строка сверху), стр. 172 (19 строка сверху), стр. 223 (16 строка снизу), стр. 234 (4 строка снизу),

[1] Такой же точки зрения придерживается М. Д. Степанова в своей книге «Словообразование современного немецкого языка» (М., 1953).

стр. 378 (18 строка сверху) и др., что совершенно недопустимо в филологическом издании.

В заключение хочется подчеркнуть, что несмотря на указанные недочеты книга В. Г. Адмони очень ценна своей теоретической направленностью и может служить полезным пособием как для преподавателей, так и для студентов языковых вузов.

А. М. Искоз, Г. Н. Эйхбаум и Н. П. Фомина

Charles F. Hockett. **A manual of phonology.**— Baltimore, Waverly press, 1955. 246 стр. («International journal of american linguistics», vol. 21, № 4, 1955. Part 1. Indiana University publications in anthropology and linguistics. Memoir 11.)

В данной рецензии мы не ставим перед собой цель показать общее состояние разработки вопросов фонологии в американской лингвистике. Нашей задачей является ознакомление заинтересованного читателя с кругом вопросов, поставленных в «Руководстве по фонологии» профессора Чарльза Ф. Хоккета, автора многочисленных работ в данной области.

Монография задумана не как учебное пособие, а, скорее, как справочник по основным вопросам фонологии. Этой цели соответствует оригинальная композиция книги и включение библиографии в предметный указатель. Сам автор пишет о том, что «книга рассчитана на то, чтобы к ней можно было обратиться за справкой, а не на то, чтобы ее читали, конечно, не на то, чтобы ее прочитали целиком» (стр. 1)[1].

Весь материал распределен между семью разделами. В вводном разделе (стр. 1—23) излагаются методологические установки автора при изучении проблем фонологии. Первый раздел (стр. 23—42) содержит описание органов речи и замечания о фонетическом подходе к звукам речи. Самым большим по объему является второй раздел (стр. 42—143), посвященный типологии фонологических систем. В нем содержится интереснейший фактический материал, умело обобщенный и систематизированный. Этот раздел дополняет и развивает то, что в свое время было сделано Н. С. Трубецким[2]. Не менее интересен и третий раздел (стр. 143—175), являющийся теоретическим обоснованием предыдущего, так как в нем раскрываются принципы фонологического анализа. Такая последовательность в изложении материала объясняется тем, что автор предпочитает дедуктивный путь изучения; он неоднократно подчеркивает, что абстрагирование должно основываться на строгом исследовании эмпирически полученных данных. Небольшой четвертый раздел (стр. 175—180)— о структуре, модели и абстракции — является логическим развитием предшествующего. В пятом разделе (стр. 180—211) рассматриваются вопросы акустической фонетики, которая за последнее время особенно привлекает американских ученых. Последний раздел (стр. 211—221) — о функциональной нагрузке и аналитических нормах — завершает круг проблем, связанных с фонологией. В процессе изложения автор постепенно переходит от большой проблемы к самым мелким вопросам, в нее включенным. Примечания и предметный указатель дополняют работу. Книга содержит довольно полную библиографию по вопросам фонологии. Следует добавить, что рецензируемая монография является первой частью большого труда по всем отраслям языкознания, подготавливаемого автором.

Ч. Хоккет — типичный представитель американского направления структуральной лингвистики. Однако в своем «Руководстве по фонологии», где Хоккету удалось многое блестяще разработать и обобщить, он в ряде случаев отходит от установок дескриптивной лингвистики (как и от своих собственных высказываний в предыдущих работах) и оригинально развивает идеи пражской школы; об этом автор неоднократно упоминает сам (ср. стр. 1, 74, 154, 166 и др.).

Из проблем, которые затрагивает Хоккет в своей монографии, следует прежде всего остановиться на его трактовке системы языка, так как эта проблема является одной из центральных в современном языкознании. Ч. Хоккет дает общий набросок системы языка, определяя последний как «сложную систему привычек (habits)» (стр. 14). Система языка, по Хоккету, включает пять подсистем, три из которых являются центральными, а две — периферическими. К центральным системам относятся: грамматическая система — запас морфем и все возможности их сочетания, фонологическая система — запас фонем (или фонологических единиц) и все возможности их сочетания в данном языке и морфонематическая система, соединяющая две предыдущие[3]. Периферическими являются: семантическая система, которая «ассоциирует различные мор-

---

[1] Здесь и далее в скобках указываем страницы рецензируемой книги.

[2] См. N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, Prague, 1939.

[3] Ср. критику выделения морфонологии в самостоятельную область в статье А. А. Реформатского «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)» (сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955).

фемы и их соединения с определенными предметами или явлениями, или видами предметов и явлений, в мире вокруг нас» (стр. 14), и фонетическая система, которая служит своеобразным кодом для преобразования непрерывного потока фонем в звуковые волны.

В связи с этой схемой автор намечает и границы языка, отделяя от него некоторые явления, связанные со звукопроизводством (кашель, икота). С другой стороны, он указывает на переходные случаи, например: «язык» свиста индейского племени мазатеко, повторяющий мелодический рисунок языка этого племени; бой африканских барабанов, связанный с характером речений некоторых африканских языков; шепот, лишенный некоторых существенных особенностей звуковой речи, и, наконец, пение, в котором отсутствует тоновая окраска. От всех этих явлений система языка отличается, по мнению Ч. Хоккета, своим двойственным характером, т. е., во-первых, тем, что речевые сигналы имеют одновременно и фонологическую, и грамматическую структуры, а, во-вторых, тем, что система языка основана на контрастных противопоставлениях, между которыми нет переходных случаев. Хоккет чувствует разницу между языком и указанными выше явлениями, однако характерные особенности как смежных случаев коммуникации, так и самого языка могут быть определены лишь в связи с правильным пониманием сущности языка.

Систему языка Ч. Хоккет рассматривает в ее взаимоотношениях со структурой и моделью. Он разграничивает эти три понятия, хотя и не проводит четкого различия между системой (system) и моделью (pattern)[1]. Все свои рассуждения о характере системы языка Хоккет основывает на анализе фонологической системы, «существование которой принимается всеми как бесспорное» (стр. 147).

Приняв деление на язык и речь (в соссюровском плане), Хоккет пишет, что структура характерна для речи, а модель (или система) — для языка. Структура конкретна, ощутима, она *может быть предметом непосредственного наблюдения*, а модель — абстрактна, выводима на основании изучения структуры. «Модель — это о б ы ч а й (habit), структура — это п о в е д е н и е; модель — это я з ы к, структура — это р е ч ь; модель — это к у л ь т у р а, структура — это п р о я в л е н и е к у л ь т у р ы в п о в е д е н и и. Структура — это пространственно-временное расположение частей особого исторического явления, модель — это то, чему более или менее близко соответствует структура»,— поясняет он (стр. 176). Соотношение структуры и модели Хоккет сравнивает с платьем, которое имеет структуру, т. е. различные куски материи, соединенные друг с другом определенным образом; такую же структуру имеет и бумажная выкройка этого платья; и структура бумаги, и структура материи соответствуют одной и той же модели. Такое понимание структуры и модели является новым, но надо подумать над тем, приведет ли оно к положительным результатам.

Фонологическая система представляется Хоккету абстрактной математической схемой, проявляющейся в речи в виде «фонической субстанции», т. е. артикуляторных движений и звуковых волн. Хоккет подчеркивает, что «целью исследователя-фонолога является изучение и описание фонологической модели языка» (стр. 176). Однако Ч. Хоккет всюду отмечает, что к достижению этой цели надо идти эмпирически, т.е. от непосредственных наблюдений реально звучащей речи. О необходимости основывать рассуждения на тщательно собранном и обработанном материале какого-либо языка или языков Хоккет говорит во многих местах своей работы, подчеркивая, что «абстрактная схема, не полученная на основе эмпирических данных, остается чисто математической, не относящейся к языку» (стр. 225). Такое внимание к непосредственному наблюдению над языковыми фактами, требование вести анализ от конкретного к абстрактному красной нитью проходит через всю книгу Хоккета и положительно ее характеризует.

Следует также отметить, что Ч. Хоккет подходит к системе языка, так сказать, не с точки зрения планиметрии, а с точки зрения стереометрии. Фонологическая система, как она раскрывается в рецензируемой монографии, представляется в виде объемного явления, что обусловлено изучением ее по плоскостям, находящимся на разных уровнях. Хоккет предлагает проводить анализ системы, *либо поднимаясь от низших плоскостей к высшим*, либо наоборот. Он выбирает второй путь, так как, по его мнению, легче установить структуру более крупных единиц, потому что они яснее выделяются в звуковом потоке, а затем, постепенно спускаясь, дойти до анализа самых мельчайших, далее не делимых единиц.

Такое стереометрическое понимание системы подводит вплотную к рассмотрению принципов фонологического анализа, в основу которого Хоккет кладет изучение системы с точки зрения непосредственных составляющих (immediate constituents) —

[1] Возможно, что Хоккету мешает многозначность термина «система», который можно понимать (например, с точки зрения Сепира) как синоним к термину «модель» и как термин для обозначения совокупности каких-либо элементов, характеризующейся закономерностью их расположения.

составных частей какой-либо языковой единицы, включающих в себя более мелкие единицы, которые в свою очередь можно разложить на несколько составных частей, и т. д. Следует сказать, что уже в работах Блумфилда содержался намек на возможность подхода к изучению фонологической системы с точки зрения «иерархии» составляющих ее компонентов, а Л. Ельмслев и Е. Курилович применили этот принцип при анализе грамматической системы.

Анализ фонологических единиц Ч. Хоккет проводит очень тщательно, почти филигранно. Многие страницы этого раздела чрезвычайно интересны. За основу анализа он берет не слова и не морфемы, а определенные отрезки, которые можно выделить из непрерывного речевого потока. Таким отрезком речевого потока — речением (utterance) может быть и синтагма, и слог, и звук. Хоккет подчеркивает, что эти отрезки речи (речения) могут не совпадать со словами, как, например, в английском языке речения *find her* и *finder* с фонологической точки зрения могут рассматриваться как тождество, речение же *she's* включает два морфологических элемента, но никакой фонологической границы между этими элементами нет. Каждое из речений имеет определенную структуру, соответствующую модели.

Изучение непосредственных составляющих в каждой из плоскостей иерархического анализа, в конечном счете приводит к выделению неразложимого далее элемента, называемого первичным фонологическим составляющим (ultimate phonologic constituent)[1], по отношению к которому все вышестоящие элементы будут вторичными. Ч. Хоккет придает большое значение этим первичным фонологическим составляющим, так как «их совокупность и условия, в которых они встречаются по отношению друг к другу в речении, и составляют фонологическую модель языка» (стр. 43). На разных уровнях фонологическая модель будет иной. Так, например, если взять интонационную систему английского языка, то там первичными фонологическими составляющими будут являться три уровня высоты (pitch levels); в акцентуационной системе ими будет безударность; в системе же фонем односоставные единицы чрезвычайно редки, поскольку здесь чаще встречаются единицы, характеризуемые пучками первичных фонологических составляющих. Разные языки обладают различными первичными фонологическими составляющими, поэтому и их фонологические системы неодинаковы, поясняет Хоккет.

За самую крупную единицу, которая может быть подвергнута исследованию, автор принимает отрезок речи между двумя паузами — макросегмент. «Некоторые макросегменты состоят из одного слога; некоторые слоги состоят из одной вершины или из одного начала; некоторые вершины, исходы слогов состоят из одной фонемы. Так же только некоторые фонемы состоят из одного первичного составляющего, тогда как большинство фонем в любом языке состоит из пучка нескольких первичных составляющих» (стр. 126),— так намечает Хоккет простейший путь анализа. Первичными фонологическими составляющими фонемы являются ее артикуляторные свойства. Идея такого анализа, как мы знаем, не нова и ведет свое начало еще от Бодуэна де Куртенэ — Щербы — Трубецкого. Новым является подход к этому анализу с точки зрения иерархических взаимоотношений, нашедший довольно широкое распространение в Америке.

Ч. Хоккет очень тщательно анализирует все типы речений, начиная с макросегментов. Он подчеркивает то, что при фонологическом исследовании нельзя ограничиваться старой «фонологией слова» (Wortphonologie), которая либо пропускала, либо не разграничивала многие фонологически значимые явления, как, например, интонационные контрасты. Хоккет намечает ряд вопросов, от разрешения которых зависит полнота анализа: «сколько в данной единице непосредственных составляющих; какая часть анализируемой единицы относится к каждому из непосредственных составляющих; каково, в целом, физическое расположение непосредственных составляющих; в какой конструкции они находятся; где еще встречается данный непосредственный составляющий; какие еще элементы разделяют с этим непосредственным составляющим „привилегию" встречаться именно в данной единице» (стр. 150). Автор замечает, что эти вопросы не могут изучаться поочередно, так как они взаимно перекрещиваются.

Ч. Хоккет дает многочисленные и, как было указано выше, очень интересные примеры анализа макросегментов, отдельных слов (с точки зрения их слогового деления, так как именно слог он рассматривает в качестве следующей иерархической единицы), слогов и, наконец, фонем. В качестве образца анализа можно привести один из наиболее простых примеров Ч. Хоккета. В английском слове *scrimp* «скряга», представляющем один слог, можно выделить начало [scr], вершину [i] и конец [mp], которые являются элементами одинакового структурного уровня. Однако, учитывая, что для английского языка характерна более тесная связь между вершиной и концом слога, чем между началом и вершиной, нужно признать непосредственными составляющими

[1] Этот «первичный фонологический составляющий» Хоккета, по существу, совпадает с тем, что называют «отличительной чертой, характеристикой, компонентом, дифференциальным признаком» и т. п. фонемы и других фонологических единиц.

этого слога начало [scr] и соединение вершины с концом [imp]. Последнее является ядром всей конструкции, а первое, т. е. начало, занимает подчиненное положение, потому что оно не обязательно для структуры слога в английском языке (так как могут существовать слоги, состоящие из соединения вершины и конца или просто из вершины), следовательно, подчиненная единица в структуре этого слога предшествует центральной. Далее можно показать использование этих двух непосредственных составляющих в других окружениях: в качестве начала слога сочетание [scr] встречается в *scratch*, *scrape*, в качестве слогораздела—в *describe*, *escrow*. По использованию [scr] в этих положениях его можно сравнить с [spl, squ, kr] в *splash—desplay*, *squelch — esquire*, *crate — acrid*, но не с сочетанием [sk], так как последнее встречается, помимо этих позиций, и в конце слога: *ask*, а [scr] в конце слога не может стоять. Аналогичным образом, т. е. с точки зрения использования в разных положениях, можно разобрать и второй непосредственный составляющий [imp].

Спускаясь ниже по иерархической лестнице, надо исследовать [imp] уже как отдельно взятую единицу, в свою очередь распадающуюся на два непосредственных составляющих: [i] — вершина и [mp] — конец слога, причем ядром будет являться [i], так как в языке могут быть слоги, состоящие лишь из вершины, но не из одного конца. Далее проводится анализ вновь выделенных непосредственных составляющих по их использованию. Вслед за изучением этой плоскости можно перейти к анализу отдельных фонем и выделить их непосредственные составляющие, которые и будут первичными фонологическими составляющими, поскольку далее разлагать их невозможно. Таковыми будут в первую очередь место образования и способ образования, а затем — работа голосовых связок, участие полости носа, губ и т. д.

Согласно этому же принципу, Ч. Хоккет анализирует и другие речения. Так, например, при анализе макросегментов он выделяет в качестве непосредственных составляющих интонацию и «остаток» и указывает на то, что они всегда сосуществуют в речи, хотя и в этом случае можно выделить ядро, которым является интонация, так как она может оформлять и другие «остатки», играющие второстепенную роль. На основании анализа примеров такого рода Хоккет приходит к выводу, что непосредственные составляющие могут находиться либо в субординационном (как в случае [imp]), либо в координационном соотношении (как в последнем примере).

Нужно отметить, что Хоккет отдает должное и тем принципам фонологического анализа, которые он называет старыми эвристическими (так как они уже давно выдвинуты в фонологии) и которые связаны с чрезвычайно важной проблемой выяснения тождества фонологических единиц. Этих принципов четыре: 1) контраста и дополнения, 2) фонетического тождества или различия, 3) равновесия модели и 4) экономии. Автор все же отводит им второстепенную, вспомогательную роль сравнительно с принципами анализа по непосредственным составляющим.

В заключение Хоккет указывает, что среди языковедов нет еще единства во взглядах на то, каким образом разлагать фонемы, слоговые стыки, ударения и интонационные особенности на первичные фонологические составляющие; поэтому, перечисляя попытки других языковедов и полемизируя с ними, он ограничивается лишь определением проблем эмпирического и логического порядков в этой области.

Достойно внимания, что характеристику принципов фонологического анализа Хоккет начинает с описания приемов исследования речевого материала (подбор и сравнение). Первый из них описывается автором наиболее подробно, так как раньше этот прием не привлекал внимания европейских ученых (кроме Трубецкого). В основу подбора Хоккет кладет непосредственное наблюдение в языковой среде, придавая большое значение знанию изучаемого языка и подвергая резкой критике тенденцию некоторых лингвистов производить анализ без знания изучаемого языка в угоду ложной, как ее называет Хоккет, объективности. Период подбора заканчивается, когда обнаружены все фонологически существенные различия, и наступает период сравнений, основанный на анализе по непосредственным составляющим.

Мы изложили принципы, выдвигаемые Хоккетом, потому что в советской лингвистической литературе за последнее время мало освещалось изучение фонологических проблем в зарубежном языкознании, книга же Хоккета дает интересный материал для размышлений о целесообразности применения тех или других методов и приемов.

К анализу фонемы Хоккет подходит в результате анализа (по принципу иерархии) крупных отрезков речи (макросегментов) и их непосредственных составляющих. Разобрав очень подробно и интересно различные виды интонации как одного из непосредственных составляющих макросегмента, Хоккет дает не менее тщательный анализ слога. Он высказывает много интересных соображений о структуре слога, о характере слоговых стыков, о взаимоотношении ударных и безударных слогов и лишь затем останавливается на анализе особенностей фонемы.

Ч. Хоккет употребляет термин «фонема» в том понимании, которое было характерно для пражской лингвистической школы. Он считает, что в американском языкознании неправомерно расширены границы применения этого термина, так как в него включаются и интонация, и соединение звуков, и ударение, и различные типы звуков. Тер-

мин же «сегментальная фонема», употребляемый в Америке для обозначения фонологической единицы, меньшей, чем слог, но большей, чем первичный фонологический составляющий, автор считает слишком громоздким.

Тем не менее четко сформулированного определения фонемы Ч. Хоккет не дает[1], может быть, потому, что его больше привлекает установление фонологической структуры с точки зрения системы первичных фонологических составляющих. Правда, он отмечает, что фонемы, как и другие фонологические единицы, физически не существуют в речевом сигнале, так как в звуковом потоке мы выделяем лишь реализацию (representation) фонем.

Большое место в «Руководстве» занимает классификация фонем по условиям их использования в составе слога. Хоккет придерживается деления фонем на вокоиды и контоиды, но не всегда последовательно и больше склоняется к традиционному делению на гласные и согласные.

Анализируя гласные, Хоккет приходит к выводу, что непосредственные составляющие могут находиться в отношении координации друг с другом (так, на примере фонемы [i] мы видим координацию верхнего подъема и переднего ряда); бывают, однако, и случаи субординационного отношения, примером которого является назальность носовых гласных, занимающая подчиненное положение, так как гласные могут встречаться и без нее.

Останавливаясь на вопросах классификации гласных и согласных, Ч. Хоккет рассматривает теорию вариантов (аллофонов), нейтрализации фонем, «архифонемы» и т. п.; он разбирает пражскую и американскую традиции в решении этих проблем и делает попытку осветить их при помощи анализа по непосредственным составляющим. Нельзя сказать, что автору это удалось. Хоккет подходит к фонологической системе не как к совокупности элементов, а как к сети контрастов, в которой элементы рассматриваются лишь как конечные пункты контрастов; он определяет фонему как «функциональное ничто, характеризуемое лишь своим отличием от других фонем» (стр. 193). Хоккет переоценивает влияние окружения, перенося на него часть особенностей, присущих фонеме; так, например: нарастание или падение звонкости английских согласных, зависящие от их позиции в начале или в конце слога, автор рассматривает в качестве аллофонов такой структурной единицы, как стык слогов.

В заключение анализа фонем автор «Руководства» рекомендует изучить их еще с точки зрения текстовой частности, т. е. по их использованию в потоке речи, потому что в гавайском языке, например, число согласных фонем значительно превышает число гласных, однако текстовая частотность последних гораздо выше, так как в слоге гласный обязателен, а согласный — нет.

Таким образом, Ч. Хоккет рассматривает проблему фонемы наряду с вопросами изучения других фонологических единиц, не выделяя ее в качестве центральной проблемы фонологии. Между тем в основу системы фонем какого-либо языка необходимо класть материальные единицы, связанные с основной функцией языка — служить средством общения — и характеризуемые совокупностью определенных признаков. Поэтому построение фонологической системы языка на основе лишь этих признаков, т. е. первичных фонологических составляющих, не представляется возможным.

Материал «Руководства» позволяет сделать общий вывод относительно возможности использования иерархического анализа по непосредственным составляющим: если не видеть в нем самоцели, то его можно применять в качестве рабочего приема при фонологическом исследовании (при условии внесения в него соответствующих методологических корректив). Гораздо сложнее обстоит дело с проблемой стереометрического характера фонологической системы, обсуждение ее вышло бы за рамки рецензии, поскольку оно связано с решением общей проблемы системного характера языка в целом.

Мы остановились на основных проблемах, освещенных в «Руководстве». Следует прибавить к вышеизложенному, что книга Хоккета содержит весьма интересный раздел об акустическом анализе звуков речи при помощи последних достижений современной техники. Акустическая фонетика после выхода в свет первой работы в этой области[2] находится в центре внимания американских фонетистов. Некоторые из них, как, например, Б. Блох, склонны считать введение спектрального анализа в изучение звуков речи полным переворотом в фонологии, создающим условия для выяснения всех нерешенных вопросов. Ч. Хоккет тем более интересуется акустической фонетикой, что, по его мнению, основным постулатом фонологии является утверждение того, что говорящие на данном языке воспринимают одни речевые явления как тождественные, а другие явления — как различные, независимо от их артикуляционных харак-

[1] Ср. об определении фонемы последнюю, важную в методологическом отношении статью Б. Трнки: B. T r n k a, Určování fonému, «Acta universitatis Carolinae», 1954-7 — Philologica et historica, Pragae, 1954.

[2] M. J o o s, Acoustic phonetics («Language», vol. 24, № 2, Suppl. — «Language monograph», № 23), Baltimore-2, Md., 1948.

теристик, т. е. за основу анализа берется акустический эффект, а потом уже учитываются артикуляционные особенности речений (§ 31). В данном разделе поставлена весьма *сложная проблема соответствия фонологической структуры речения его акустической регистрации*. Попутно даны сведения о новейших аппаратах, применяемых при экспериментальном изучении звуков речи — спектрографе и искусственном воспроизводителе речи, который «читает» спектрограммы, даже если они нарисованы от руки.

Ч. Хоккет дает анализ новых интересных спектрограмм. Он описывает акустические коррелятивы гласных и согласных, приводит много схем, способствующих познанию сущности основных формантов гласных и т. п. Однако выводы автора по этому разделу далеко не оптимистичны, так как, во-первых, акустическая запись совершенно не похожа на графическую запись, в которой один и тот же звук всегда фиксируется одним и тем же знаком, а, во-вторых, если анализ гласных и дает положительные результаты, то анализ согласных пока ощутимых результатов еще не дал. Хоккет более осторожен, чем другие языковеды, восторженно приветствовавшие акустическую фонетику (Блох, Якобсон, Джус и др.); правда, при этом он оставляет за будущим окончательное решение всей проблемы.

Рецензируя «Руководство», нельзя не отметить, что Ч. Хоккет весьма часто прибегает к математическим формулам, чертежам и диаграммам, что придает живость и наглядность изложению. Однако использование формул не всегда достигает желаемой цели. Так, например, Хоккет выводит формулу для подсчета возможных сочетаний фонем, на основе которых создаются слова. Но, во-первых, как он сам указывает, не все сочетания фонем реально существуют в языке, а, во-вторых, добавим мы, никакая формула подобного рода не отразит богатства словарного состава какого-либо языка, с его многозначностью и омонимией.

Помимо основных проблем, Ч. Хоккет затрагивает много смежных вопросов, представляющих интерес для фонетистов [например, вопрос о соотношении фонологической структуры одного и того же речения, произнесенного в разных темпах (§ 64), и т. п.]. В краткой рецензии очень трудно охватить весь материал книги (ее объем — свыше двухсот страниц), содержащей много положительного, интересного, и все же весьма противоречивой. Часть замечаний была нами сделана попутно, здесь же мы вкратце остановимся на методологических установках работы. Хоккет рассматривает язык как одно из проявлений поведения человека. Вместе с тем автору не удается (и это вполне естественно) совсем обойти вопрос о коммуникативной функции языка; действие ее он сначала ограничивает двумя индивидами (§ 0), а затем распространяет на ряд индивидов, обладающих «общим ядром» структуры и всеобщностью модели, которые обеспечивают взаимопонимание (§ 03).

Раскрывая далее схему внутренних процессов речевой коммуникации, Хоккет совершенно игнорирует физиологическую основу их и, что самое главное, наличие сознания у человека. Он даже считает возможным «построить искусственную модель, которая могла бы говорить и понимать речь, как это делают люди» (стр. 4). При всем желании, Хоккет не может быть последователен в этом своем утверждении и вынужден отметить ниже (стр. 14), что человек способен думать, запоминать, «планировать» высказывание, самому же совершенному искусственному аппарату это недоступно. Но вместо попытки разобраться во всей сложности вопросов, Хоккет торопится отвести их в сторону, указывая, что ставить эти вопросы (хотя они и могут быть очень важны) неправильно, так как человек в этом отношении (за исключением способности речи), по его мнению, не отличается от животного, например льва, хранящего знания о том, как поймать газель. По этим причинам автор не считает указанные вопросы лингвистическими.

Аналогично решает Ч. Хоккет и проблему «понимания», сущность которого, на его взгляд, заключается в том, что во внутренних аппаратах осуществления коммуникации говорящего происходит последовательно ряд процессов, завершающихся выпуском звуковых волн через «речевой передатчик», как называет Хоккет органы речи. Звуковые волны достигают «речевого приемника», т. е. органов слуха, и в аппаратах слушающего происходит ряд обратных процессов, которые совпадают с рядом процессов, совершившихся в аппаратах говорящего. Если такое совпадение налицо — значит «понимание» осуществилось, коммуникация достигла цели. Это рассуждение представляет собою яркий пример механистического подхода к языку. Попытка проникнуть в сущность внутренних процессов коммуникации потерпела крах из-за неправильного, более того, ненаучного подхода к проблеме.

Игнорирование сознания у человека привело Ч. Хоккета, как и многих других языковедов, к отрицанию семантической стороны языка. В свою очередь это заставляет его рассматривать лексическую систему языка как побочную подсистему, связанную не с содержанием, а с формой в языке (стр. 16); сравнивать «значение» в языке с показанием стрелки спидометра (стр. 4); подчеркивать, что звуковой поток речи анализируется вне связи с каким-либо его семантическим делением, потому что эта связь отсутствует; наконец, интерпретировать чисто механически случаи фонетических оговорок типа *pass me the piscuits* (вм. *biscuits*) и «понимания» их, хотя в таких случаях именно семан-

тическая сторона обусловливает «понимание». Нельзя примириться с игнорированием смысловой стороны высказывания. В том-то и заключается новое в изучении звуков речи в XX в., что они, во-первых, стали рассматриваться в плане связи с семантикой, а, во-вторых, начали изучаться как система; причем первое определило второе, поскольку из множества реально произносимых звуков оказалось возможным выделить ограниченное их число.

Исходя при фонологическом анализе лишь из акустического эффекта, отражающего позиционные условия использования фонем, Хоккет на деле приходит к смешению фонетического и фонологического планов, несмотря на утверждение их различия. В результате смешения фонетики и фонологии в «Руководстве» оказалось много неточностей в употреблении терминов; можно привести хотя бы один пример: наряду с утверждением, что фонологическая система — это абстракция, в пятом разделе делается попытка найти акустические коррелятивы к ней, т. е. к абстракции.

Не останавливаясь на более мелких недочетах, добавим только, что в книге много непривычной терминологии, но читатель быстро осваивается с ней, потому что Ч. Хоккет не оставляет ни одного термина без разъяснения.

Общее ознакомление с «Руководством по фонологии», выделяющимся среди других работ (Пайка, Блоха, Трэджера, Джуса, Харриса, Фогелина и др.) по охвату материала, по глубине анализа и оригинальности решения многих проблем, заставляет нас отметить труд Ч. Ф. Хоккета в целом как крупное событие в лингвистической жизни Америки.

Н. А. Слюсарева

НОВЫЕ РАБОТЫ ПРОФЕССОРА М. МОИНА [1]

Несколько лет тому назад иранский языковед доктор Мохаммед Моин, профессор Тегеранского университета, начал издавать отдельными выпусками свой новый труд, названный им «Tärh-e dästur-e zäban-e farsi» («Проект грамматики персидского языка»). К настоящему времени Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина располагает тремя первыми выпусками. Выпуск первый (1952) называется «Qaedeha-ye jam' där zäban-e farsi» («Правила образования множественного числа в персидском языке»), выпуск второй (1953) — «Esm-e mäsdär» («Имя действия»), выпуск третий (1953) — «Ezafe» («Изафет»).

Новые работы проф. М. Моина, одного из виднейших представителей языковедной науки современного Ирана, несомненно, свидетельствуют о значительных успехах, которых добились иранские языковеды в изучении современных и древних иранских языков. Иранских лингвистов, по-видимому, больше не удовлетворяют старые грамматические традиции, унаследованные еще от арабской, так называемой классической грамматики. Они стремятся, отказавшись от старых схем, создать грамматику персидского языка на более высоком, современном уровне. Внимание к отдельным научным проблемам дало возможность М. Моину и некоторым другим иранским лингвистам перейти от традиционно-схематичного изложения правил грамматики к изучению и описанию отдельных грамматических явлений. Однако полностью освободиться от устарелых традиций иранским языковедам пока еще не удается, о чем свидетельствуют и новые работы М. Моина.

В рецензируемых работах проявляется внимание их автора к отдельным грамматическим явлениям, глубокое знание фактов классического и современного языка и стремление тщательно описать их с целью как можно детальнее и объективнее охарактеризовать так называемые «правила употребления» и все «исключения» из этих правил. Вместе с тем в этих работах все еще игнорируются многие центральные проблемы лексикологии, морфологии, синтаксиса, все еще недостаточными оказываются выводы и теоретические обобщения.

Новые тенденции развития иранского языкознания в сочетании с сохраняющимися старыми традициями определили подход проф. Моина к иллюстративному материалу. Автор привлекает к исследованию не только современный литературный язык, но также и материалы тегеранского просторечия. Обращение к изучению современного литературного языка и живых говоров крайне важно для развития иранского языкознания, так как еще совсем недавно даже элементарные грамматики для начальных школ строились исключительно на материале классического персидского языка. Эту старую традицию едва ли не первыми нарушили иранские филологи М. Бехар, Р. Ясе-

[1] M. Moin, Tärh-e dästur-e zäban-e farsi, [вып.] 1—3, Teheran, «Zävvar», 1952—1953.

ми, А. Кариб и др., авторы коллективного труда по грамматике персидского языка для средних школ[1]. В то же время проф. Моин оказался не в силах полностью преодолеть старую традицию: он пользуется фактами классического персидского языка наряду с данными современного литературного языка и живых говоров, пренебрегая периодизацией новоперсидского языка и отождествляя классический персидский язык X—XV вв. с языком современного Ирана. Такой подход к материалу во многих случаях не может не привести к антиисторизму.

Остановимся на разборе каждого из выпусков.

Первый выпуск, посвященный множественному числу в персидском языке, содержит три раздела: 1) Показатели множественного числа (стр. 1—61), 2) «Ломаные» формы множественного числа (стр. 61—70) и 3) Выводы (стр. 71).

В первом выпуске тщательно исследуются все показатели множественного числа, рассматриваются многочисленные частные случаи присоединения суффиксов множественного числа к именам с различными окончаниями, излагаются правила употребления арабских «ломаных» форм множественного числа. В конце выпуска автор дает краткие выводы, в которых, кроме перечня показателей множественного числа в персидском языке, содержатся также некоторые методические указания по вопросу о том, как следует употреблять те или иные показатели множественного числа, как следует относиться к арабским «ломаным» формам и т. д. В этих выводах М. Моину не удалось сделать более или менее широких теоретических обобщений на основе анализа того богатого материала, которым он располагает. Так, автор совершенно не затрагивает таких проблем, как соотношение форм множественного и единственного числа; роль показателей множественного числа в словообразовании; собирательные имена существительные; так называемое неоформленное множественное число, когда имя существительное, не имеющее показателей множественного числа, выражает значение множественности (например, *Där in šəhr mädräse ziyad äst* «В этом городе много школ»); разграничение употребления суффиксов множественного числа у существительных разных типов, у фразеологических единиц и т. д. Недостаточно внимания уделено редуплицированным формам и прочим видам парных или повторных сочетаний, которые имеют самое непосредственное отношение к теме первого выпуска.

М. Моин не замечает, что категория множественного числа в персидском языке является такой проблемой, которая не может быть разрешена одним лишь тщательным и тонким описанием многочисленных фактов и деталей, связанных только с употреблением «внешних» показателей множественного числа. Автор не учитывает всей сложности вопросов, связанных с проблемой множественного числа, что отрицательно сказывается и на самом описании фактов, которые автор собирает так тщательно. Например, даже путем простого описания можно было бы охарактеризовать роль показателей множественного числа в словообразовании (ср. *anjaha* «там», *durha* «далеко, даль, далекие места»; *äsrha* «вечерами, по вечерам»; *moradäliha* «люди, подобные Морадали» и т. д.), однако М. Моин этого не делает.

Относительно оформления множественного числа сложных слов М. Моин пишет: «В сложных словах, состоящих из mozaf (определяемое или дополняемое в изафетной конструкции.— *Л. П.*) и mozafoneleyh (определение или дополнение в изафетной конструкции.—*Л. П.*), показатель множественного числа присоединяется к mozaf», и далее, наряду с примерами типа *bozorg-e qoum* «старейшина племени» — *bozorgan-e qoum, särdar-e sepäh* «начальник войска» — *särdaran-e sepäh*, автор указывает также *qafelesalar* «начальник каравана» — *qafelesalaran, särdärd* «головная боль»— *särdärdha* и др. (стр. 35). Это утверждение М. Моина о «присоединении» показателей множественного числа к mozaf и все его примеры еще раз показывают, что автор недостаточно учитывает всю сложность вопросов, им разбираемых.

М. Моин смешивает сложные слова (типа *qafelesalar*) и изафетные словосочетания (типа *bozorg-e qoum*), которые различаются не только своей структурой, но и оформлением. Так, показатель множественного числа в словосочетаниях присоединяется к первому компоненту — определяемому (mozaf), а в сложных словах — к концу сложного слова. Что касается терминов mozaf и mozafoneleyh, то употребление их, будучи правомерным и общепринятым в отношении словосочетаний, совершенно недопустимо в применении к сложным словам.

Совершенно не случайно, что в третьем выпуске, посвященном изафету и изафетной конструкции (см. ниже), автор столкнулся с неизбежностью как-то отграничить изафетные словосочетания от сложных слов. В этом выпуске автор в известной мере восполняет пробелы первого выпуска. Тем не менее явления лексики, морфологии и синтаксиса часто смешиваются. Этот недостаток присущ не только рецензируемым выпускам, но и некоторым другим известным нам работам иранских языковедов.

---

[1] См. «Dästur-e zäban-e farsi bäraye salha-ye ävväl vä dovvom vä sevvom vä čehartom-e däbirestanha» («Грамматика персидского языка. Для 1—4 классов средней школы»), Teheran: [т.] I — 1949; [т.] II — 1950.

Второй выпуск посвящен характеристике esm-e mäsdär («имен действия») и их классификации. Выясняя разницу между понятиями mäsdär и esm-e mäsdär, автор приходит к справедливому выводу о том, что их нельзя смешивать. По мнению М. Моина, esm-e mäsdär (или hasel-e mäsdär) имеет значение результата действия; понятия времени и процесса в нем выражены слабо (ср. *daneš* «знание, наука» от *danestän* «знать»). Под масдаром же автор понимает только инфинитивную форму глагола, которая совмещает в себе как субстантивные, так и глагольные признаки.

Далее в выпуске дается описание суффиксов отглагольных имен — их происхождения, произношения и способов присоединения, уточняется вопрос о том, к каким глагольным основам эти суффиксы не могут быть присоединены, какие из них присоединяются к неглагольным основам и т. д. Этот раздел написан с присущими автору тщательностью и наблюдательностью.

Путем анализа обширного языкового материала А. Моин выделяет четыре специальных показателя esm-e mäsdär и, в соответствии с ними, намечает четыре группы имен действия, которые получили у него следующие названия: первая группа — esm-e mäsdär-e šini (имена действия на *-eš*), вторая группа — esm-e mäsdär-e yai (имена действия на *-i*), третья группа — esm-e mäsdär-e hai (имена действия на *-e* или так называемое «*h*-немое»), четвертая группа — esm-e mäsdär-e ari (имена действия на *-ar*). Основную часть выпуска (более ста страниц) автор посвящает характеристике этих четырех групп.

При внимательном рассмотрении указанных групп прежде всего бросается в глаза слишком широкое пониманию терминов esm-e mäsdär или hasel-e mäsdär. Под этими терминами М. Моин объединяет совершенно различные имена существительные, обозначающие, как выясняется, не только действие и его результат, но и отвлеченные понятия (например, *doi* «двойственность», *zibai* «красота», *zendegi* «жизнь», *färmanfärmai* «господство», *amadegi* «готовность» и т. д.). Остается непонятным, на каком основании автор соединяет под рубрикой esm-e mäsdär эти совершенно различные по своему происхождению и семантике имена существительные. Многие из них образованы не от глагола и не выражают ни действия, ни его результата. Классификация esm-e mäsdär явно непоследовательна, она не основана на каком-нибудь одном или нескольких определенных признаках. Если в основу классификации класть только суффиксы, то это ничего не даст для выявления сущности имен действия. Известно, что суффиксы многозначны; кроме того, производное слово вместе с суффиксом может получить значительное переосмысление и выйти из разряда esm-e mäsdär. Вряд ли, например, к именам действия можно отнести такие слова, как *xoreš* «пища» (от *xordän* «кушать») и особенно *bästäni* «мороженое» (от *bästän* «закрывать»). Остается неясным также, почему взяты только эти суффиксы, а не другие, поскольку речь идет о столь расширенном понимании термина esm-e mäsdär.

Второй выпуск, как и первый, изобилует интересными примерами, приводятся редчайшие случаи образования имен действия. Однако вопрос о существе и типах имен действия в этом выпуске решается неудовлетворительно.

Третий выпуск представляет особый интерес для иранистов, так как он посвящен мало исследованной проблеме изафета и изафетной связи. Как известно, изафетная связь составляет одну из наиболее характерных черт грамматического строя многих иранских языков.

Изафетная связь является специфическим синтаксическим приемом соединения слов при помощи дополнительной частицы, помещаемой между словами. В персидском языке (как и в таджикском и некоторых других иранских языках и диалектах) можно иногда встретить до десяти слов, объединенных в одно словосочетание определительного (атрибутивного) типа при помощи изафетной частицы, которая повторяется при каждом определяемом. Такое словосочетание в нормативных грамматиках получило образное наименование «изафетной цепи». В изафетную связь могут вступать многие части речи; при образовании различных типов изафетных словосочетаний проявляются сложные закономерности, связанные с грамматической природой как части речи, так и самой изафетной частицы.

В существующих грамматиках и специальных исследованиях по синтаксису как персидского, так и таджикского языков[1] вопросы, связанные с природой и функциями изафета, не получили еще достаточного теоретического освещения.

Поэтому вполне оправдан тот большой интерес, с которым каждый иранист приступает к чтению любой новой работы, посвященной изафету. Однако работа проф. М. Моина оставляет у читателя чувство неудовлетворенности. Несмотря на богатый материал и тщательное описание отдельных фактов, работа, ввиду недостаточности тео-

[1] См.: А. К. Арендс, Краткий синтаксис современного персидского литературного языка, М.— Л., 1941; Б. Ниязмухамедов, Синтаксис простого предложения в современном таджикском литературном языке. Докт. диссерт., Л., 1948; Д. Т. Таджиев, Категория связи определения с определяемым в современном таджикском литературном языке. Канд. диссерт., Л., 1951.

ретических обобщений, не дает ответов на основные вопросы, связанные с проблемой изафета. При всем этом нельзя сказать, что работа М. Моина не углубляет наших знаний в области изафета и изафетной связи слов. Конкретные наблюдения, особенно в отношении так называемого fākk-e ezafe («выпадение изафета»), представляют большой интерес и, несомненно, послужат материалом для дальнейших исследований в этой области.

Выпуск состоит из трех небольших глав и выводов. В первой, вводной главе автор, соглашаясь с традиционным мнением персидских грамматик о наличии в персидском языке четырех «состояний» имени (арабский термин *halāt* «состояние» соотносителен с понятием «падеж»), приводит краткие сведения, характеризующие, по его мнению, падежную систему древнеперсидского языка, языка Авесты и современного персидского языка. Как известно, персидский язык не обладает падежной системой и, следовательно, нет оснований говорить о падежах или падежных отношениях применительно к этому языку.

Характеризуя изафетную конструкцию, М. Моин в конце вводной главы приходит к совершенно правильному выводу о том, что эта конструкция коренным образом отличается от сложного слова своим свободным объединением членов конструкции; при этом справедливо указывается (хотя и без достаточных мотивировок), что изафетная конструкция может превратиться в сложное слово.

Второй главе выпуска автор дает название «Moqayese» («Сравнение»), имея в виду сопоставление изафетных конструкций в персидском литературном языке и в иранских диалектах, с одной стороны, и способов выражения атрибутивных отношений в иранских языках и некоторых других языках индоевропейской системы (английский, французский, немецкий), с другой; это «сравнение» весьма кратко и схематично.

Интерес представляют приведенные автором некоторые данные о местных иранских диалектах, одни из которых (сангесари, натанзи, гольпаегани, ширази, казеруни и др.) не отличаются (или мало отличаются) от персидского литературного языка в отношении атрибутивной конструкции, другие же (мазандерани, гиляки и др.) — существенно отличаются (в этих диалектах определение стоит перед определяемым).

При сопоставлении персидского изафета и конструкций с родительным падежом в немецком языке, предлогом *de* во французском языке и так называемым поссессивным падежом в английском языке автор смешивает грамматическую форму и значение выражаемое этой формой. Так, например, сравнивая персидский изафет со способом выражения атрибутивных отношений во французском языке, М. Моин пишет: «Показателем изафета во французском языке является *de*, который называется предлогом и ставится между определением и определяемым» (стр. 13). Автора, по-видимому, не смущает то обстоятельство, что атрибутивные отношения имеют в разных языках свое особое грамматическое выражение. Подобный подход автора к явлениям языка еще раз показывает, что он не сумел решительно порвать со старой абстрактно-логистической традицией, все еще господствующей в трудах иранских лингвистов.

В третьей, наиболее полной главе выпуска подробно рассматриваются написание и звучание изафетной частицы в разных позициях, состав изафетной конструкции и особенно подробно указываются многочисленные частные случаи «выпадения» изафета. Правильно отмечая, что пропуск изафета иногда вызывается требованиями стихотворного метра (если примеры взяты из поэзии), автор все же не смог до конца правильно разобраться в явлении, именуемом fākk-e ezafe. Недостаточно было отметить все случаи «выпадения» изафета и сделать лишь одно замечание, касающееся пропуска изафета в поэзии, как это сделал М. Моин. Необходимо, по нашему мнению, сгруппировать случаи fākk-e ezafe и дать им теоретическое истолкование.

Следует прежде всего отграничить случаи выпадения изафета, которые представляют собою результат длительного исторического процесса лексикализации изафетных словосочетаний, от возможных случаев искусственной ломки изафетной конструкции в поэзии. В последнем случае стихотворный размер только помогает узнать, читался в данном конкретном примере изафет или нет. Например, по произведениям Фердоуси и Саади мы знаем, что в словах *sārmaye* «достояние», «богатство» и *dārbar* «царский двор» по требованию метра читался краткий гласный звук (*sār-e maye*, *dār-e bar*). Можно предположить, что это была изафетная частица, а современные слова *sārmaye* и *dārbar* исторически являлись словосочетаниями. Но доказательно ли это в полной мере? По-видимому, нет, так как, например, в полустишии *yeki qātre baran ze ābri čākid* «Упала одна капля дождя с облака» (Саади) по требованию усеченного мутакариба гласный звук между *qātre* и *baran* не произносится (сочетание *yeki gātre baran* представляет собой две полные стопы), но это, разумеется, еще не значит, что изафет между *qātre* и *baran* в ту эпоху не читался. Данные поэзии призваны, таким образом, лишь дополнить лингвистический анализ трансформации изафетных словосочетаний (этимология составных частей, вопросы соотношения словосочетания и сложного слова, проблема изафетных фразеологических единиц, вопросы ударения и т. д.).

Не следует, однако, считать выпадение изафета непременным следствием процесса

лексикализации. Приходится учитывать явления аналогии, когда сложное слово может появиться в результате подражания существующим словообразовательным моделям. Например, если слово *sărnize* «штык» восходит к изафетному словосочетанию (ср. среднеперсидское *sār-i nēzak*), то это еще не значит, что другое, аналогичное сложное слово появилось также в результате лексикализации изафетного словосочетания; ср. появившееся сравнительно недавно слово *sărpasban* «старший полицейский», которое не восходит к изафетной конструкции. Необходимо считаться и с тем, что в персидском языке существует немало как простых и сложных фразеологических единиц, между элементами которых читается изафет, так и отдельных промежуточных между словосочетанием и сложным словом явлений, в которых изафет присутствует обязательно, а иногда — факультативно.

Таким образом, общая проблема fākk-e ezafe является весьма сложной, включающей в себя ряд частных проблем, которые М. Моин обходит молчанием.

В четвертой главе третьего выпуска под названием «Fayede-ye ezafe» («Польза изафета») М. Моин дает выводы о «пользе» (fayede) и «назначении» (qărăz) изафета. По мнению автора, «польза» и «назначение» изафета заключается в том, что при помощи изафетной конструкции можно обозначить как определенный предмет или лицо (автор называет это «назначение» изафета tă'rif), так и предмет вообще (последнее «назначение» именуется tăxsis). Эти выводы вряд ли соответствуют огромному материалу по изафетным словосочетаниям, собранному и тщательно обработанному автором.

Наши замечания по трем рецензируемым выпускам «Проекта грамматики персидского языка» проф. М. Моина касаются главным образом теоретической и методологической стороны выпусков. В остальном недочеты этих трех выпусков несущественны. Они нисколько не умаляют ценности тщательно собранного богатого фактического материала, за который иранисты должны быть благодарны М. Моину.

Л. С. Пейсиков

Pierre Guiraud. **La sémantique.**— Paris, Presses Universitaires de France, 1955. 118 стр.

Во многих появившихся за последние годы работах советских и зарубежных лингвистов указывалось на необходимость более ясного понимания основных вопросов, связанных с изучением словарного состава языка. К таким вопросам, в частности, относятся: уточнение предмета изучения и задач семантики, разработка принципов семасиологического исследования, уяснение соотношения семантики и лексикологии, семантики и этимологии, семантики и других смежных наук[1].

В этом плане новая книга французского ученого П. Гиро, посвященная теоретическим проблемам семантики, представляет несомненный интерес для советского читателя. Неясность, существующая в отношении предмета семантики и даже самого термина «семантика», объясняется, по мнению автора, неразграничением круга взаимосвязанных и соприкасающихся, но разных теоретических проблем, охватывающих различные аспекты сложного семантического процесса. Последний включает в себя возникновение «мысленного образа» вещи в уме говорящего (l'image mentale), образование звуков и расположение их в определенном порядке, возникновение соответствующего образа вещи в уме собеседника и т. д. Таким образом, процесс общения охватывает круг проблем, входящих в область логики, психологии, физиологии, акустики и лингвистики.

Эти проблемы распадаются, по П. Гиро, на три большие группы: а) п с и х о л о г и ч е с к и е — особенности процесса общения и сущность знака; б) л о г и ч е с к и е — отношение знака к реальной действительности и в) л и н г в и с т и ч е с к и е — проблема слова как предмета изучения, отношения между формой и смыслом слова, отношения между словами и т. д.

Следует различать три семантические науки: семантику общую, или, как ее называет автор, психо-социологию знака, семантику философскую и семантику как таковую, т. е. семантику лингвистическую, которой и посвящена данная работа.

П. Гиро различает смысл (sens) и значение (signification) слова. Значение, по мнению П. Гиро,— психологический процесс, а смысл — статическая величина, результат этого процесса. По существу, предметом лингвистической семантики является изучение смысла, а не значения слова, но между смыслом и значением имеется тесная связь.

В соответствии с этим лингвистическая семантика выдвигает две основные проблемы:

---

[1] См., например, О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, № 3 (особенно стр. 4—11).

1. Проблему смысла слова. В нее входят следующие вопросы: почему данное слово имеет то или иное значение? имеет ли это слово другой смысл? как, почему и когда слово приобрело данный смысл? каково отношение этого слова к другим словам языка?

2. Проблему значения слова: в чем сущность слова и какова его функция? условия, обеспечивающие выполнение этой функции слова.

В первых двух главах П. Гиро излагает свою концепцию значения слова. Третья глава посвящена вопросам изменения смысла слова и возможных форм этих изменений. Здесь автор приводит и сопоставляет классификацию смысловых изменений, даваемую Стерном и Ульманом. В четвертой главе исследуются причины изменения смысла, которые Гиро подразделяет на четыре основные группы: а) исторические, б) лингвистические, в) социальные и г) психологические. Пятая глава — краткий обзор различных направлений в области семантики, связанных с философией (семантическое поля Трика и его последователей), социологией и историей (лексикология Матора), с психологией (Шпербер) и т. д. В шестой главе дается характеристика трех семантических наук, выделяемых автором в вводной части работы и в «Заключении». Гиро излагает свое понимание соотношения лингвистики и лексикологии, лексикологии и семантики, семантики и этимологии, стилистики, а также места семантики в кругу смежных наук.

В своей книге П. Гиро исходит из понимания языка как системы, элементы которой определяются одновременно формой и функцией, взаимно обусловливающими друг друга. Морфо-функциональная субстанция языка, по Гиро, распадается на три группы: 1) звуки или фонемы, не являющиеся лингвистическими знаками, а лишь элементами более сложных лингвистических знаков; 2) слова или лексикологические знаки, образованные сочетанием фонем; 3) синтаксические конструкции, образованные сочетанием слов. Для каждой из этих групп характерна своя функция; при этом семантическая функция присуща лишь словам.

Наука о языке состоит, по Гиро, из трех больших разделов: 1) изучение звуков, или фонология, 2) изучение слов, или лексикология (включающая семантику), 3) изучение конструкций (аналитических или синтетических), или синтаксис.

Объектом семантики, по мнению П. Гиро, является изучение лишь ассоциативных значений, т. е. значений слов; если же расширить понимание объекта семантики и включить все значения, то семантика поглотит синтаксис. Место семантики и ее задачи показаны автором на следующей схеме.

	forme	*fonction*
sons		
mots		*sémantique*
constructions		

Традиционная морфология (формы словоизменения), по Гиро, относится к синтаксису, так как между корнем и флексией в таких формах, как, например, *je chanterai* или *liber Petri*, существует относительная связь (rapport relationel). Такая же связь существует и в аналитических формах, например *I shall sing* или *livre de Pierre*.

Лексикология, говорит Гиро, включает три дисциплины: 1) морфо-лексикологию — изучение формы слов независимо от функции; 2) семантику — изучение смысловой стороны слов и формы слова как носителей смысла; 3) лексико-стилистику — изучение экспрессивных и социо-контекстуальных элементов слова.

Общая (лингвистическая) семантика изучает «законы» значения, формы и причины изменения значения. Это теоретическая панхроническая наука, относящаяся к семиотике. Прикладная (французская, английская и т. д.) семантика изучает эти проблемы в данном языке. Прикладная семантика может быть аналитической или структуральной; и та и другая может быть статической (синхронической) или исторической (диахронической).

Если под этимологией понимать наблюдение над всеми изменениями слова, объясняющими его данное состояние, и описание этих изменений, то это и есть диахроническая или историческая семантика. Семасиология (изучение слов, исходя из значимой формы) и ономасиология (изучение слов, исходя из обозначаемой вещи) являются скорее двумя аспектами, а не двумя самостоятельными частями семантики. Стилистику трудно отграничить от семантики. Это две дополняющие друг друга и тесно связанные науки, отражающие взаимосвязь познавательной или семантической и экспрессивной функции языка.

Семантика связана с рядом других наук; достижения в области логики, экспериментальной психологии и семиологии, медицины, педагогики, теории информации и т. д. дают возможность расширить поле семантических наблюдений и выработать новые методы исследования. Семантика, однако, не может и не должна растворяться в этих науках и терять свою самостоятельность.

Р. С. Гиндбург

Kazimierz Nitsch. **Wybór pism z polonistycznych.** — Wrocław — Kraków, Wyd-wo Zakł. im. Ossolińskich. (T-wo miłośników języka polskiego): t. I — 1954. 284 стр., 1 л. портр.; t. II. Studia wyrazowe — 1955. 548 стр., с 3 картами; t. III. Pisma pomorzoznawcze — 1954. 438 стр. с 5 картами.

К 80-летию со дня рождения действительного члена Польской Академии наук и члена-корреспондента Академии наук СССР Казимежа Нитша Общество любителей польского языка выпустило его «Избранные сочинения по полонистике». Уже появившиеся первые три тома посвящены разным областям польского языкознания, в которых работал этот крупнейший ученый.

Первый том, включающий работы различного содержания, разделен на пять основных разделов: «Язык писателей», «Версификация», «Педагогика и орфография», «Описательная грамматика» и «История языка». Наибольший интерес представляет включенная в последний раздел статья «О соотношении народных говоров и литературного языка», написанная на тему, в различных вариациях отраженную во всех работах К. Нитша. Автор ставит два основных вопроса: 1) на какой основе сформировался современный польский литературный язык и 2) каким образом раз возникший литературный язык влияет на народные говоры. Нитш считает, что в XV—XVI вв., в эпоху расцвета польской литературы в Кракове, язык ее естественно обогащался за счет малопольских говоров. Он предполагает далее, что польский литературный язык формировался не только на основе малопольских и великопольских, но и мазовецких и даже, в какой-то мере, русских говоров.

Во второй том вошли исследования по лексике польских диалектов, объединенные общим заглавием «Из истории и географии польских слов». Автор дает общую характеристику польских диалектов и приводит ряд примеров распространения отдельных слов (названия животных, построек, инвентаря, сельскохозяйственных культур) в польских и мазовецких говорах.

В следующем отделе «Регионализмы (местные особенности) литературного языка» К. Нитш исследует лексические расхождения и варианты в литературном языке, обусловленные влиянием местного диалекта. Последняя часть второго тома содержит работы по топонимике и ономастике.

Третий том целиком посвящен исследованию современных говоров Поморья. В него входят монография о пограничных польских и кашубских говорах и ряд статей о взаимоотношении языков и говоров ляхетской группы западнославянских языков.

Изданию предпосылается полная библиография трудов К. Нитша с 1895 по 1953 г.

Н. Г. Левитская

A. Dostál. **Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v poltině.** («Sborník filologický», II, 1. Sekce jazyka a literatury Československ. Akad. věd.) — Praha, Nakład-ví Československ. Akad. věd, 1954. 96 стр.

На основе детального исследования двойственного числа в польских памятниках XIV, XV и XVI вв. и учета всего того, что сделано в этом отношении на материале славянских и других индоевропейских языков, А. Достал выдвигает несколько гипотез, связанных с историей двойственного числа в славянских языках.

По мнению автора, неполнота парадигмы двойственного числа, свойственная индоевропейским языкам, в том числе и тем славянским, для которых категория двойственного числа остается живой и в настоящее время (словенский, сербо-лужицкий), опровергает предположение, согласно которому формы двойственного числа занимали когда-то равноправное положение с формами других чисел.

А. Достал отвергает гипотезу Гумбольдта о том, что двойственное число древнее множественного и что развитие числа шло в языках от первоначального конкретного обозначения предметов в количестве одного, двух, трех и т. д. (ср. тройственное число в некоторых примитивных языках) к более абстрактному противопоставлению единичности множественности. Такое представление слишком упрощает картину языкового развития и не дает возможности учитывать первоначальное значение категории двойственного числа. Вскрыть это значение нельзя на материале сербо-лужицкого или

словенского языков, так как двойственное число в этих языках характеризуется рядом специфических черт, не свойственных древнейшему периоду.

Особенности двойственного числа в старославянском языке также не могут указывать на праязыковое состояние. Сам по себе характер двойственного числа старославянского языка противоречив: с одной стороны, можно наблюдать неполноту парадигмы форм двойственного числа, а с другой, двойственное число в старославянском языке отличается от подобного явления в прочих славянских языках наибольшей логической последовательностью в употреблении этих форм. Автор предполагает вторичную активизацию форм двойственного числа в старославянском языке.

Развитие двойственного числа в польском языке не отличается существенно от общей линии развития этого числа в большинстве славянских языков. Именно поэтому он был выбран основным объектом исследования. Выбор польского языка был определен также тем обстоятельством, что в нем формы двойственного числа сыграли большую роль в образовании особого склонения числительных.

Сравнение языкового материала старопольских памятников XIV—XVI вв. (Флорианская и Пулавская псалтыри, библия королевы Софьи, а также юридические акты и проза Рея, отражающие в большей степени разговорный язык) с древнечешскими, древнесловенскими, нижнелужицкими и старославянскими текстами убеждает, что уже с первых польских памятников двойственное число не было в языке живой категорией. Оставались лишь морфологические средства выражения этой категории, в использовании которых заметны как старые, так и новые особенности.

Положение о том, что категория числа основывается на противопоставлении единичности множественности, иллюстрируется автором многочисленными примерами чередования форм двойственного и множественного числа в тех случаях, когда следовало бы ожидать исключительно формы двойственного числа. Кроме того, Достал указывает на тот факт, что согласуемые с именем существительным в двойственном числе другие части речи обычно принимают форму множественного числа. Формы двойственного числа характерны для очень немногочисленной группы существительных, среди которых почти все употребляются для обозначения парных частей человеческого тела (*oko*, *ręka*, *ucho*). Так как эта особенность свойственна многим славянским языкам, можно предположить, что двойственное число было первоначально основано на понятии парности и уже потом могло распространяться на все случаи, когда речь идет о двух предметах, как мы это наблюдаем в старославянском, словенском и сербо-лужицком языках. Поэтому двойственное число никогда не могло быть так развито, как единственное или множественное.

Даже ограниченная этими рамками, категория двойственного числа была утрачена в доисторическую эпоху, когда число как категория, основанная на парности, было заменено числом, основанным на множественности. Однако морфологические средства выражения двойственного числа держались в языке еще целые столетия и использовались для образования форм множественного числа.

Проблема исчезновения двойственного числа представляется автору, таким образом, исключительно языковой проблемой; мнение же многих ученых (А. Кюни, А. Мейе, Г. Хирта, А. Леви-Брюля и др.) о том, что утрата двойственного числа связана с прогрессом культуры, не подтверждается данными истории многих индоевропейских языков. Старославянский, словенский и сербо-лужицкий языки, например, являются языками славянских народов, очень рано соприкасавшихся с передовыми культурами. Усиление категории двойственного числа в старославянском языке может быть связано с деятельностью нормализаторов, стремившихся приспособить народный язык к более четкой передаче мыслей, необходимой для языка письменного. Подобные же явления в словенском и сербо-лужицком языках объясняются защитной реакцией, направленной против иноязычного засилья и вызвавшей ложную архаизацию. Обилие форм двойственного числа в старославянском языке, возможно, воспринималось как исконно славянское явление.

М. А. Михайлов

Zs. Telegdi. **Beiträge zur historischen Grammatik des Neupersischen. Über die Partikelkomposition im Neupersischen.** — «Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae», t. V, fasc. 1—2. Budapest, 1955, стр. 67—183. (Резюме на русск. яз.).

Настоящая работа известного венгерского ираниста Ж. Телегди посвящена исследованию персидских приставочных глаголов. В первой части дается краткая характеристика общих процессов, происходивших в глагольной лексике новоперсидского языка. Среди значительных изменений здесь в первую очередь указывается на непрерывно прогрессирующий процесс образования составных глаголов типа *negahkärdän*, *vared šodän* (эти глаголы автор именует «синтагматическими»). Ж. Телегди обращает внимание читателя не только на процессы развивающиеся, но и на процессы, лишившиеся своего прошлого значения. Среди последних особое внимание автора привлекает

история приставочного глагольного словообразования. Автор ставит своей целью выявить характер этого типа словообразования, обнаружить его основные особенности и границы применения в современном персидском языке. Выделяя среди приставочных персидских глаголов две группы в зависимости от того, выступает ли в качестве превербa собственно приставка или знаменательное слово (наречие), Ж. Телегди тщательно анализирует обе эти группы глаголов.

Исследование начинается с анализа глаголов, содержащих в своем составе наречия *birun*, *piš*, *pās*, *bala*, *pain*. Число глаголов, сочетающихся с этими наречиями, сравнительно невелико в персидском языке. С точки зрения семантической это глаголы движения. Наречия присоединяются к глаголам движения в качестве определений, придающих глаголу значение направленности действия.

Круг глаголов, содержащих в своем составе собственно префиксы *bār*, *dār*, *foru*, *fāra*, *va*, наротив, очень широк. В эту группу входит самые разнообразные по семантике глаголы, а не только глаголы движения, хотя первоначально префиксы *bār*, *dār*, *foru*, *fāra*, *va* были также преимущественно выразителями направления.

Исследовав большое количество глаголов, содержащих в своем составе собственно приставки, автор подразделяет их на следующие две группы: глаголы, в которых из целого сочетания нельзя выделить значение превербa, и глаголы, общее значение которых совершенно не вытекает из значения их составных частей.

К первому типу относятся такие глаголы, как *bār gozidān* «выбирать», *dar gozāštān* «проходить, проезжать», *bār ašoftān* «рассердиться» и др. Значение этих приставочных глаголов равно значению соответствующих простых глаголов. Другую группу составляют такие глаголы, как *bār dāmidān* «гневаться», *vār rāftān* «заниматься пустяками», *dār gereftān* «вспыхивать» и др. Первоначальное значение этих глаголов было вытеснено другим, развившимся из первоначального, но ставшего самостоятельным по отношению к нему.

Ж. Телегди чрезвычайно тщательно анализирует каждый приставочный глагол. Для отдельных случаев приводится много примеров и из современного персидского языка, и из языка классических авторов. Автор широко пользуется также ссылками на различные словари, приводя при этом разнообразный фразеологический материал. В результате исследования автор приходит к выводу, что приставочные глаголы в ходе исторического развития превратились в семантически нерасчленимые слова. Таким образом, приставки *bār*, *dār*, *foru*, *fāra*, *va* в современном персидском языке, по мнению Ж. Телегди, не могут быть отнесены к живым продуктивным словообразовательным средствам.

Во второй части работы Ж. Телегди на материале произведений классической литературы прослеживается процесс утраты превербами их словообразовательной роли, намечаются основные этапы истории персидских превербов и выясняется место рассматриваемого явления в системе языка.

Автор показывает на большом материале, что в произведениях классической персидской литературы употребление превербов не связано с изменением семантики глаголов, с которыми они сочетались. Семантическую неразложимость Ж. Телегди считает характерной уже для среднеперсидских приставочных глаголов, в период же классический происходит потеря приставками продуктивности и процесс массового исчезновения приставочных глаголов. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что обеднение средств глагольного словообразования сопровождается в персидском языке развитием средств словообразования отыменного.

Основной тезис автора о непродуктивности приставок *bār*, *dār*, *foru*, *fāra*, *va* и об утрате ими словообразовательной роли отличается от их трактовки, содержащейся в «Кратком очерке грамматики персидского языка» В. С. Расторгуевой[1] и в других новейших грамматиках современного персидского языка, рассматривающих приставочные глаголы в системе словообразования, на что указывает в своей работе и сам Ж. Телегди.

Решение этого вопроса, предложенное Ж. Телегди, представляется несколько категоричным. Автор прав, говоря о процессе утраты глагольными приставками их словообразовательной роли. Сам этот процесс показан Ж. Телегди убедительно во всех подробностях. Но считать его законченным в современном языке, на наш взгляд, нельзя. Некоторые превербы и поныне сохраняют свое значение в составе почти всех глаголов, с которыми они сочетаются (например, *foru*), другие утратили его в сочетании с рядом глаголов, но сохранили при отдельных глаголах.

Тем не менее заслуга Ж. Телегди, исследовавшего один из вопросов исторической грамматики персидского языка, несомненно, велика. Вся работа в целом является тщательно выполненным интересным исследованием, дающим иранистам много новых фактов о персидских превербах и раскрывающим во всей сложности пути их развития.

Н. Д. Гарипова

[1] См. в кн.: Б. В. Миллер, Персидско-русский словарь, 2-е изд, М., 1953.

№ 1 1957

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В XVI томе «Записок» Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР (Саранск, 1955) помещена статья О. А. Яковлевой «Значение слов *палец* и *перст* в древней Руси».

При ознакомлении с этой статьей трудно не обратить внимание на те упреки, которые адресует филологам автор, историк по специальности; ср. на стр. 155: «Филологи наши — знатоки древнерусского языка — ни слова не говорят об этом в своих трудах». И несколько выше: «Филологи наши не разрешают вопроса: почему кольцо, надеваемое на большой палец руки, называлось *напалком*, а кольцо, надеваемое на любой из других пальцев руки, называлось *перстнем*».

Таким образом, тов. Яковлева утверждает, что выводы, к которым она пришла в своей работе и которые в общем не вызывают возражений, сделаны ею впервые. Существующую литературу она как бы совершенно игнорирует.

Так, например, тот факт, что основному для взятой ею темы вопросу о значениях слов *перст* и *палец* посвящена специальная статья, остается тов. Яковлевой, видимо, неизвестным (см. М. А. Соколова, Из истории слов основного словарного фонда русского языка, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», II, М., 1952). Не принят во внимание и тот материал, который дают нам по этому вопросу словари различных славянских языков, в которых имеется определенное, нередко значительное, исследование соответствующих материалов; не учитываются и другие имеющиеся источники.

Следует решительно возразить против такого подхода к исследованию того или иного вопроса, при котором исследователь не считает себя обязанным изучать и обобщать результаты предшествующих работ, хотя бы эти работы относились и к смежной области знания. Еще более недопустимо выступать при этом с необоснованными упреками. Между тем, с фактами этого рода приходится встречаться не только в работе О. А. Яковлевой, что и привело нас к мысли обратиться с специальным письмом по этому поводу в редакцию журнала «Вопросы языкознания».

М. А. Соколова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мне бы хотелось с помощью журнала «Вопросы языкознания» обратить внимание авторов учебных пособий по языкознанию на встречающиеся в их работах неправильные определения некоторых индийских языков. Вот что пишут об индийских языках:

«В центральную группу входят языки: собственно п е н д ж а б с к и й (16 млн. чел.), п а х а р с к и й, х и н д с к и й (западный — 42 млн. чел., восточный — 35 млн. чел.) и б и х а р и (36 млн. чел.).

Главным диалектом западного хиндского языка является х и н д у с т а н с к и й. На его основе созданы два литературных языка: у р д у — с арабским алфавитом (для индийцев-мусульман Пакистана) и х и н д и (в известной мере противополагающийся урду)» (А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. I, 2-е изд., М., 1953, стр. 201).

«Хиндуста́ни (или индуста́ни), 150 млн.; в двух литературных формах: у р д у́ — литературный язык Западного Пакистана, и х и н д и — литературный язык Индии; индусы-буддисты называют себя хинди и имеют письменность на основе староиндийского письма деванагари, индусы-мусульмане называют себя урду и имеют письменность арабскую» (А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 320).

Из этих примеров ясно виден разнобой в терминологии и неправильное употребление терминов, что в учебных пособиях недопустимо.

1. Целесообразнее всего давать собственные названия индийских языков, не переделывая их. Такие термины, как «хиндский» и «пахарский», неупотребительны в нашей индологии. Вместо них употребляются соответственно «хинди» и «пахари».

Диалект языка хинди, распространенный в западной части штата Уттар Прадеш, называется «хиндустани». Иногда это название распространяют и на весь язык. Носителем языка хинди является народ хиндустани, населяющий штаты Уттар Прадеш, Бихар, Виндхья Прадеш, Мадхья Прадеш и частично территорию пенджабских штатов. Язык этот имеет две литературно-конфессиональные формы: у хиндустани-мусульман — урду, пользующийся арабско-персидской графикой и строящий свою научную и общественно-политическую терминологию на базе арабских и персидских лексических элементов, у хиндустани-индусов — хинди, пользующийся собственной графикой — алфавитом деванагари и использующий для построения научной и общественно-политической терминологии богатейшие возможности санскрита.

2. Не соответствует подлинному положению дел и цитированное выше утверждение в книге А. А. Реформатского, поскольку урду для всего Пакистана (а не только для Западного) является государственным языком, так же как хинди — государственным языком Индии. Можно смело сказать, что урду и в Индии является литературным языком в не меньшей степени, чем в Пакистане. Кроме того, на каждом из языков народов Индии существует обширная литература, и, следовательно, нельзя говорить о едином литературном языке как применительно к Индии, так и применительно к Пакистану.

3. Термины «индусы-буддисты» и «индусы-мусульмане» ошибочны. В нашей науке, как, впрочем, и вообще в языке, слово *индус* укоренилось в значении «последователь индуизма», а не как «житель Индии». В значении «житель Индии» употребляется слово *индиец*. Термин «индус-мусульманин» может быть сопоставлен, таким образом, с «православным католиком» или «католиком-иудеем» и его неправомерность ясна сама собой. Буддисты в Индии в настоящее время представляют очень незначительную общину. «Хинди» является самоназванием большей части народа хиндустани, иногда может употребляться и в значении «житель Индии». «Урду» как самоназвание народа неупотребительно. Характерно, что такой поэт, как Икбал, в своем стихотворении «Хиндустан хамара» подчеркивает: «хинди хэйн хам», т. е. «мы — хинди», а не «мы — урду», хотя он и является крупнейшим *поэтом нового времени, писавшим* на урду.

В трудах наших крупнейших индологов — акад. А. П. Баранникова и других можно найти толкование всем приведенным выше терминам.

Кроме всего сказанного, хотелось бы выразить пожелание, чтобы индийские имена и термины, широко употребляющиеся ныне на страницах газет и журналов, писались в форме, наиболее близкой к их реальному звучанию в соответствующих национальных языках Индии.

И. Д. Серебряков

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ОБЗОРА

В связи со статьей Л. С. Бархударова «Журнал „Иностранные языки в школе“ в 1953—1954 гг. (Обзор статей по вопросам языкознания)», напечатанной в первом номере нашего журнала за 1956 г., редакция получила ряд писем читателей.

Отвечая на замечания Л. С. Бархударова (см. указ. обзор, стр. 138) по поводу статьи «О фразеологических сращениях в современном английском языке»[1], автор этой статьи А. В. Кунин (Москва) пишет, что в его статье критике подвергается не «невыводимость» значения целого из значений компонентов вообще, а невыводимость общего значения сращения из значений компонентов «без этимологического анализа как частей, так и целого в определенных исторических условиях его становления» (ср. стр. 29 статьи А. В. Кунина). «Таким образом,— пишет А. В. Кунин,— термины „немотивированность“ и „невыводимость“ вполне правомерны, если речь идет о современном этапе развития языка».

Л. С. Бархударов считает, что второй признак фразеологических сращений, выдвигаемый А. В. Куниным (синтаксическая неделимость), по существу приводит к порочному кругу: фразеологическое сращение определяется как синтаксически неделимое, однако решить вопрос о том, неделимо ли данное сочетание в синтаксическом плане, можно только установив, является ли оно фразеологическим сращением или нет (см. указ. обзор, стр. 138). Возражая против этого положения Л. С. Бархударова, А. В. Кунин пишет, что «рецензент был бы прав, если бы единственным признаком сращения, отличающим его от других типов фразеологических единиц, была бы синтаксическая

[1] «Ин. яз. в шк.», 1953, № 3.

неделимость». Однако, подчеркивает А. В. Кунин в письме, фразеологическое сращение определяется им как «немотивированное, т. е. семантически и синтаксически неразложимое образное словосочетание». На первое место в этом определении выдвигается лексическая неделимость, семантическая немотивированность с точки зрения современного сознания, против чего не возражает и сам рецензент. Синтаксическая же неделимость является результатом семантической немотивированности (см. стр. 32 статьи А. В. Кунина).

А. В. Кунин указывает, что при такой постановке вопроса замечание Л. С. Бархударова о якобы создающемся порочном круге является необоснованным. Далее он пишет, что Л. С. Бархударов допускает две ошибки при анализе сочетания *take place*. Во-первых, этот оборот — не сращение, так как он не обладает смысловой немотивированностью. Ввиду того, что значения обоих компонентов являются номинативно свободными, словосочетание *take place* следует считать фразеологическим единством. Во-вторых, признавая всю важность соображений структурно-синтаксического порядка, принципиально неверно сбрасывать со счетов семантику.

Возражая против положения Л. С. Бархударова о том, что в целом синтаксическая нечленимость не является обязательным признаком фразеологического сращения, А. В. Кунин, ссылаясь на замечания акад. В. В. Виноградова[1], утверждает, что «во фразеологическом сращении значение целого подавляет значение компонентов» и что «любое фразеологическое сращение синтаксически неделимо».

В письме И. С. Блиох (Иркутск) говорится, что Л. С. Бархударов неправильно подошел к критике ее статьи «Об употреблении глагольных временных форм в придаточных предложениях времени в английском языке»[2]. И. С. Блиох считает, что Л. С. Бархударов ошибочно приписывает ей мысль о том, что выбор глагольной формы определяется лексическим характером глагола (его предельностью или непредельностью). В действительности же в указанной статье И. С. Блиох сказано, что лексический характер глагола — это лишь один из факторов, влияющих на выбор глагольной формы в английском придаточном предложении времени.

Вторым фактором И. С. Блиох считает подчинительный союз с его собственной семантикой, о чем говорится в ее статье. Однако в целях более детального изучения проблемы И. С. Блиох рассматривает лишь первую ее сторону.

В отличие от Л. С. Бархударова, считающего, что в выражении предшествования союзы *as soon as* и *after* по существу однородны, И. С. Блиох усматривает принципиальное различие в семантике этих союзов. Как замечает И. С. Блиох, в противоположность союзу *after* союз *as soon as* вводит два различных вида временных придаточных предложений: 1) придаточное предложение, действие которого предшествует действию главного и завершается до его наступления. В этом виде придаточных предложений употребляется перфектная или индефинитная форма глагола, в зависимости от лексического «видоподобного» характера последнего; 2) придаточное предложение с действием, только начинающимся до действия главного предложения и происходящим одновременно с ним. В этом случае употребляются глаголы неопределенного лексического характера в индефинитной форме или длительная форма глагола. И. С. Блиох замечает, что, отрицая теорию лексического характера глагола, имеющую широкое признание в среде наших языковедов, Л. С. Бархударов ничем не обосновывает это положение.

И. С. Блиох считает неправильным и предложение Л. С. Бархударова о том, чтобы редакция журнала «Иностранные языки в школе» отказалась от практики «хождения на поводу у авторов» и использовала в работе лишь метод заказов, установив далеко идущее планирование тематики. «Это,— пишет И. С. Блиох,— неизбежно приведет к неоправданному сужению тематики журнала, поставит журнал под угрозу отстать от научной жизни и от требований преподавательской практики». В заключение И. С. Блиох, характеризуя обзор Л. С. Бархударова в целом, обращает особое внимание на «доктринерский тон» этого обзора.

Н. И. Лихошерст (Киев) выражает сомнение по поводу правильности интерпретации Л. С. Бархударовым некоторых вопросов в теории конверсии А. И. Смирницкого (см. указ. обзор, стр. 139—140) и просит дать на страницах журнала «Вопросы языкознания» краткую консультацию по следующим вопросам:

1. Соотношение между конверсией и чередованием звуков, а также между конверсией и нулевой аффиксацией, если такое соотношение вообще существует.
2. Возможность конверсии в пределах одной и той же части речи.
3. Возможность конверсии в системе неизменяемых частей речи (не имеющих парадигм).

---

[1] См. В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, в кн. «А. А. Шахматов. 1864—1920. Сб. статей и материалов», М.— Л., 1947, стр. 351.

[2] «Ин. яз. в шк.», 1954, № 1.

4. Сущность таких специфических для английского языка словарных соотношений, как *genius — genii* и *genius — geniuses*;

5. Соотношение между англ. *outlay* (глагол), *outlay* (существительное) и *lay out* (глагол).

6. Место конверсии среди других способов словопроизводства.

Редакция журнала «Вопросы языкознания» обратилась к канд. филол. наук В. В. Пассеку с просьбой разъяснить точку зрения А. И. Смирницкого и его учеников на вопросы конверсии в современном английском языке. Ниже публикуется консультация В. В. Пассека.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНВЕРСИИ

1

Проблема соотношения между конверсией и чередованием звуков, а также между конверсией и нулевой аффиксацией в современном английском языке вновь возникает в связи с обзором Л. С. Бархударова (см. ВЯ, 1956, № 1), в котором он критикует взгляды А. И. Смирницкого по вопросам конверсии.

«А. И. Смирницкий считает,— пишет Л. С. Бархударов,— что чередование звуков как в словоизменении, так и в словообразовании в английском языке всегда выступает как дополнительное, зависимое средство, сопровождающее другие, основные средства — аффиксацию, конверсию и т. д. В отношении случаев типа *house — to house, shelf-to shelve* и т. д. это, действительно, справедливо, как убедительно доказано в анализируемых статьях. Но так ли это во всех случаях? Если да, то мы вынуждены признать, что в таких случаях словообразования, как *to sing — song*, или словоизменения, как *to rise — rose* и т. д., чередование звуков есть лишь вспомогательное средство, а основным средством словообразования или словоизменения является аффиксация — нулевой аффикс. А. И. Смирницкий, по существу, приходит к такому выводу.

Однако, чтобы быть последовательным, нужно признать, что и в случаях типа *water—to water, love — to love* и т. д. основным средством является та же „нулевая аффиксация", а конверсия в этом случае тоже окажется не основным, а вспомогательным средством словообразования. Случаи же типа *house — to house* придется признать „нулевой аффиксацией", осложненной конверсией и чередованием звуков. Вряд ли все это выглядит убедительно. В самом деле — нулевой аффикс, в силу его специфики, не может служить основным средством различения слов и форм слов; поэтому в случаях типа *to rise — rose* основным средством формообразования, т. е. тем, что отличает разные формы слова друг от друга, является именно чередование звуков, а „нулевая аффиксация" выступает здесь именно как подчиненное, сопровождающее средство. То же самое относится и к случаям словообразования типа *to sing — song* и т. д.» (указ. обзор, стр. 139).

Так ли это? Чтобы разобраться в данном трудном и сложном вопросе, необходимо прежде всего исходить из самого определения существа конверсии, а именно из того, что «конверсия есть такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит т о л ь к о парадигма слова»[1]. Иначе говоря, специфика конверсии состоит в том, что слова, соотносящиеся по этому способу словообразования, различаются между собой л и ш ь парадигмой и н и ч е м больше. А это означает, что конверсия не может «сопровождаться» ни чередованием звуков, ни каким-либо другим средством (независимо от того, рассматривается ли это средство в качестве основного или вспомогательного). Таким образом, чередование звуков при конверсии отрицается А. И. Смирницким не только в качестве основного, но также и в качестве «сопровождающего» средства.

Какова же действительная роль чередования звуков при конверсии? Разберем хотя бы приведенный Л. С. Бархударовым глагол (*to*) *rise — rose — risen*, содержащий чередование звуков [ai] : [ou] : [i]. При сопоставлении таких форм этого глагола, как (*I*) *rise* и (*I*) *rose*, легко обнаруживается, что с точки зрения собственно лексического (вещественного) значения *rise* и *rose* равны друг другу (*rise = rose*): и та и другая словоформы обозначают совершенно то же реальное действие — «подниматься» и т. д. Таким образом, чередование [ai] : [ou] не связывается ни с каким лексическим различием. Наоборот, с грамматической точки зрения весьма существенно, имеем ли мы в данном конкретном случае *rise* (с дифтонгом [ai]) или *rose* (с дифтонгом [ou]): к тому же самому лексическому значению «подниматься» будет присоединяться раз-

[1] А. И. Смирницкий, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5, стр. 24.

личное дополнительное (грамматическое) значение — у словоформы *rise* значение отношения к настоящему времени, а у словоформы *rose* значение отношения к прошедшему времени. Тем самым обнаруживается, что чередование [aɪ] : [oʊ] используется в данном случае целиком грамматически. А это значит, что чередование вместе с выражаемым им значением входит в парадигму, является одним из компонентов ее.

Ведь необходимо учитывать, что парадигма может иметь различную конструктивную сложность. В таком случае, как *gay — gayer — gayest* «веселый», парадигма конструктивно проста: она представляет собой сумму окончаний (нулевого окончания -( ), окончания *-er* и окончания *-est*). Но уже в случае типа *ox — ox's — oxen — oxen's* «бык, вол» в парадигму, кроме окончаний, входит также словоизменительный суффикс *-en-*, занимающий промежуточное (между основой и окончанием) место. Тем самым парадигма конструктивно усложняется, поскольку в ней предполагаются не только наличие словоизменительных морфем как таковых, но и определенные правила их размещения по отношению друг к другу (ведь образование **ox'sen* с обратным порядком *-en-* и *-'s* является бессмысленным). Еще большая конструктивная сложность парадигмы наблюдается в словах типа *child — child's — children — children's* «ребенок». Здесь парадигма представляет собой совокупность словоизменительных морфем, правила их размещения по отношению друг к другу плюс определенное чередование звуков в основе (*child* [aɪ] — *children* [ɪ]).

Из сказанного следует, что в такой паре слов, как *rise* «подниматься» — *rise* «подъем», мы будем наблюдать обычную конверсию, не «сопровождаемую» ничем, поскольку *rise-* глагол отличается от *rise-* существительного только своей (глагольной) парадигмой, куда на правах одной из составных частей входит также и чередование звуков вместе с выражаемым им значением.

Другое дело — это вопрос о том, что в парадигме является наиболее важным. В частности, необходимо выяснить, принадлежит ли основная роль в парадигме чередованию звуков или словоизменительным суффиксам (хотя бы и нулевым). Вернемся к приводившимся выше словоформам (*I*) *rise* и (*I*) *rose*. Эти словоформы различаются между собой чередованием [aɪ] : [oʊ] и разными нулевыми суффиксами[1]. Решить, что является здесь более важным (чередование или нулевые суффиксы), не представляется возможным, если исходить только из этих словоформ. Необходимо обратиться к системе языка в целом. И тогда можно легко обнаружить, что основную роль в парадигме глагола *rise* играют именно суффиксы (в частности, нулевые). Прежде всего следует обратить внимание на то, что аффиксация в современном английском языке вообще является наиболее обычным и наиболее универсальным формообразующим и словообразующим средством[2]. Главное же состоит в том, что в современном английском языке тот же самый вариант основы (т. е. с той же ступенью чередования) может соединяться с самыми различными грамматическими значениями, что достаточно ясно указывает на отсутствие у него этих грамматических значений. Так, если предположить, что вариант основы *rise-* в (*I*) *rise* имеет значение настоящего времени, в отличие от варианта *rose-* в (*I*) *rose* со значением прошедшего времени, то как тогда объяснить существительное *rise*, содержащее тот же самый вариант основы (*rise-*), но не имеющее вообще никакого временно́го значения?

Соотношение (*I*) *rise* и (*the*) *rise* говорит о том, что значение настоящего времени заключено не в основе *rise-*, а в нулевом суффиксе, присоединяемом к ней. Что же касается чередования звуков, то оно лишь сопровождает выражение грамматических значений в суффиксах. Но это вовсе не означает, что оно (чередование звуков) сопровождает парадигму, а тем более конверсию, как об этом пишет Л. С. Бархударов. Как уже было сказано выше, оно не может сопровождать парадигму, потому что само является составной частью парадигмы.

Необходимо попутно заметить, что отрицать за нулевыми суффиксами основную роль в выражении грамматических значений, ссылаясь на то, что они внешне не отличимы друг от друга,— означает отрицать подобную роль у всех современных английских словоизменительных суффиксов вообще. Ведь достаточно общеизвестно, что в настоящее время в английском языке не существует ни одного словоизменительного суффикса, который не имел бы омонима, а такой суффикс, как глагольный суффикс *-s* (*takes, plays, goes*), например, имеет по крайней мере четыре омонима (ср. *the plays, boy's, hers, whose* и т. п.).

Что касается вопроса о соотношении конверсии и нулевых словообразовательных суффиксов, то, как правильно пишет в своем письме Н. И. Ли-

[1] Необходимо иметь в виду, что любая морфема — в том числе и суффикс — представляет собой не только одну внешнюю сторону, но также и внутреннюю (смысловую). Именно поэтому словоформы могут различаться между собой суффиксами с совершенно одинаковой внешней стороной; ср. (*the*) *pens* и (*he*) *pens*, где словоформы различаются значениями суффиксов *-s*. То же самое, естественно, относится и к нулевым суффиксам.

[2] Подробнее см. А. И. Смирницкий, По поводу конверсии в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1954, № 3.

хошерст, такого вопроса вообще не существует, как не существует самих нулевых словообразовательных суффиксов. В частности, слова (*to*) *water* и (*to*) *love*, приведенные у Л. С. Бархударова, членятся на основу *water-*, *love-* и на глагольную парадигму — нулевое окончание, окончания *-s*, *-ed*, *-ing* и т. д. Никакого нулевого словообразовательного суффикса в их составе не оказывается. И это потому, что при членении данных слов на основу и словоизменительную морфему в остатке не получается никакого значения, которое приходилось бы на нулевую словообразовательную морфему (так, значение *loves*, например, есть значение *love-*+значение *-s* и ничего больше). Таким образом, в результате членения остается ноль звучания и ноль значения, что дает просто ноль.

Другое дело — нулевые грамматические морфемы, правомерность выделения которых не подлежит сомнению. Так, при вычленении основы *water-* из таких словоформ, как (*I*) *water* «(*я*) поливаю», *water* (!) «поливай(!)», (*that he*) *water* «что бы (он) поливал», остается некоторый смысловой остаток — изъявительное наклонение, первое лицо и т. д., повелительное наклонение и т. д., сослагательное наклонение и т. д. Этот смысловой остаток, не укладывающийся в корневой морфеме, и приходится на долю нулевого словоизменительного суффикса. И только вследствие этого отсутствие звучания становится значащим.

Возражения Л. С. Бархударова по указанному пункту основаны на недоразумении. Л. С. Бархударов имеет в виду, очевидно, положение А. И. Смирницкого, согласно которому чередование звуков в случае типа (*to*) *sing* «петь» — *song* «песня» играет подчиненную роль по отношению к грамматической аффиксации, которая, как уже указывалось, является основной частью парадигмы. Иначе говоря, по мнению А. И. Смирницкого, слова *sing* и *song* различаются прежде всего системой словоизменительных суффиксов: *'s*, *-s*, с одной стороны, и *-s*, *-ing*, с другой. Что касается чередования, то их имеется здесь два. Одно из чередований ([ɪ] : [æ]) : [ʌ]) используется в качестве вспомогательного средства для выражения грамматических значений и тем самым входит в парадигму глагола; другое ([ɪ] | [æ]/[ʌ] : [ɔ]) служит для различения слов, выступает в качестве самостоятельного словообразовательного средства. Таким образом, эти слова исключаются из случаев конверсии. Однако самостоятельность словообразовательного средства не означает, что оно является основным.

В связи с этим нет никаких оснований утверждать, что будто бы соотношения типа (*to*) *water* — *water* или (*to*) *love* — *love* являются соотношениями по нулевой аффиксации, дополненной конверсией. Эти случаи представляют собой не что иное, как обычную конверсию.

2

Перейдем к вопросу о возможности конверсии в пределах одной и той же части речи. Н. И. Лихошерст совершенно правильно пишет в своем письме, что указываемый Л. С. Бархударовым «новый» момент («смена значения»)[1] в действительности не только не остается незамеченным в теории А. И. Смирницкого, но и выступает в качестве отграничения конверсии от «не конверсии». Согласно точке зрения А. И. Смирницкого[2], то или иное словообразовательное средство только тогда создает новое слово, если оно связывается с различием в собственно лексическом (вещественном) значении. Так, например, суффикс *-иц-* создает новое слово в случае *тигр* — *тигрица*, поскольку он соединяется со значением «самка», отсутствующим у слова *тигр*. Но тот же самый суффикс *-иц-* не создает нового слова в случае *лиса* — *лисица*, поскольку соединяющееся с ним значение «самка» уже имеется у слова *лиса*, и тем самым он ничего не прибавляет к значению этого слова. Следовательно, единицы *лиса* и *лисица* выступают в качестве вариантов того же самого слова. Подобным же образом следует подходить и к различию парадигм. В частности, единицы *супруг* — *супруга* являются разными словами, поскольку различие парадигм в них связано с различием в их вещественном значении, единицы же *рельс* — *рельса* представляют собой варианты одного и того же слова, поскольку то же самое различие в парадигмах не связывается ни с каким различием в собственно лексическом значении. То же самое, естественно, относится и к английским словам, различающимся парадигмой: (*to*) *lie* — (*to*) *lay*, имеющие различие в значении («лежать» — «класть»), являются разными словами, а (*to*) *learn* (*learned* — *learned*) — (*to*) *learn* (*learnt* — *learnt*), оба со значением «учиться» — это варианты одного слова.

Далее следует отметить полную неосновательность утверждения Л. С. Бархударова о том, что «в случаях типа *to fall* — *to fell*...смена парадигмы является результатом изменения значения слова». Это утверждение опровергается хотя бы тем обстоятельством, что «смена парадигм» в ряде случаев может не сопровождаться «сменой зна-

[1] См. ВЯ, 1956, № 1, стр. 139.

[2] Эта точка зрения изложена А. И. Смирницким в статье «К вопросу о слове. (Проблема „тождества слова“)» («Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954, стр. 20 и 30).

чений», а следовательно, никак не может быть результатом «смены значения»: ср. хотя бы приводившиеся выше *рельс — рельса*, *learn* (*learned*) — *learn* (*learnt*) и др. Изменения в парадигме происходят в истории языка в результате многочисленных и разнородных причин, и сводить все к изменению значения слова было бы в принципе неверно.

Также принципиально неверным является рассмотрение «смены значения» как самостоятельного словообразовательного средства. «Смена значения» представляет собой лишь одну, внутреннюю (смысловую) сторону, и словообразовательным средством она может стать только при соединении с другой, материальной стороной. А этой материальной стороной и является в случаях *супруг — супруга* и (*to*) *lie — (to) lay* п а р а д и г м а соотносящихся слов. Тем самым получается, что «смена значений» в подобных случаях не выступает самостоятельно, но представляет собой внутреннюю сторону словообразовательного средства. Поэтому и здесь слова различаются между собой т о л ь к о самой парадигмой и соотносятся друг с другом по конверсии.

Теперь нелишне было бы остановиться на том, каково действительное существо различия между случаями типа (*to*) *lie — (to) lay* и случаями типа *water — (to) water* с точки зрения их значения. Правильно, что пару *water — (to) water* отличает от пары (*to*) *lie — (to) lay* то, что в первой паре имеется различие в общем категориальном значении (эти слова противопоставляются как существительное и глагол). Но это не все. Кроме сдвига в категориальном значении, в случаях типа *water — (to) water* имеется также своеобразный сдвиг в индивидуальном лексическом значении, подобный сдвигу в паре типа (*to*) *lie — (to) lay*. Ведь с точки зрения сдвига в категориальном значении никак не мотивируется значение глагола (*to*) *water* — именно «обводнять, насыщать влагой», а не «добывать воду» (ср. *milk* «молоко» — *milk* «доить»), не «пить воду» (ср. *liquor* «напиток» — *liquor* «выпивать»), не «угощать водой» (ср. *brandy* «бренди» — *brandy* «угощать бренди»), не «совершать посадку на воду» (ср. *land* «земля» — *land* «приземляться») и т. д. Еще больше сдвиг в индивидуальном лексическом значении виден в таких случаях, как *Coventry* «Ковентри» и *coventry* «подвергнуть варварской бомбардировке». В итоге получается, что сдвиг в индивидуальном значении слова в равной мере может наблюдаться и при различии парадигм, относящихся к одной и той же части речи, и при различии парадигм, относящихся к разным частям речи. В последнем случае он просто менее заметен, поскольку сопровождается более значительным сдвигом — сдвигом в категориальном значении слова.

3

Перейдем к разбору конкретных случаев, которые интересуют Н. И. Лихоперст.

1. *genius — genii* и *genius — geniuses*. Прежде всего следует отметить, что эти две единицы являются двумя разными словами, поскольку они отличаются друг от друга как внешне (*genius — genii* и *genius — geniuses*), так и по своему значению (первое слово имеет значение «добрый или злой дух», а второе — «гений»). Далее, *необходимо со* всей решительностью вывести их из случаев конверсии, поскольку эти слова отличаются друг от друга не только парадигмой. Ведь при вычленении парадигмы у первого слова остается основа *geni-*, а у второго — основа *genius-*. Тем самым эти слова дополнительно различаются отрезком *-us-*. Решить, какой способ словопроизводства мы имеем в данном случае, можно лишь после того, как будет установлено, обладает ли отрезок *-us-* в слове *genius — geniuses* каким-либо значением. Если какое-либо значение будет обнаружено, отрезок *-us-* должен быть выделен в качестве специального словообразующего суффикса, а способ образования этого слова должен быть обозначен как способ словопроизводства путем аффиксации. Если же в данном случае имеет место опрощение, что очень возможно, то разбираемые слова следует рассматривать вообще в качестве разнокорневых образований.

Прямую противоположность случаям типа *genius — genii* и *genius — geniuses* представляют случаи типа *datum — data* и *date — dates*. Это — типичный случай конверсии. Данные слова имеют ту же самую основу — *dat(e)-*, но различаются лишь парадигмами: *-um, -a* и *-( ), -s*. Вместе с тем различие в парадигме служит средством выражения различия в лексическом значении: первое слово означает «данная величина», второе — «данный день, дата».

2. *goose —geese* и *goose — gooses*. Этот случай был бы в общем аналогичен случаю типа *datum — data* и *date — dates*, приведенному выше, и отличался бы от него только большей конструктивной сложностью парадигмы (наличием чередования в дополнение к грамматической аффиксации), если бы не большой разрыв в лексическом значении: вряд ли значения «гусь» и «портновский утюг» вообще связываются друг с другом. Всего вернее, пожалуй, было бы отнести эти слова к частичным лексическим омонимам, вовсе не принадлежащим к одному словообразовательному гнезду. Во всяком случае то, что Л. С. Бархударов в совершенно том же плане рассматривает *lie* «лежать»— *lay* «класть» и *goose* «гусь» — *goose* «портновский утюг», не может не вызвать недоумения.

3. *outlay* «тратить» — *outlay* «издержки»— *lay out* «выкладывать». Первые два слова представляют типичный случай конверсии и после всего сказанного не нуждают-

ся ни в каких комментариях. Что касается третьего языкового образования, то оно, являясь не цельным словом, а словосочетанием (сочетанием глагола *lay* и наречной частицы *out*), полностью выпадает из словообразования, а поэтому не может относиться ни к конверсии, ни к какому-либо другому способу словопроизводства или словосложения. Правда, высказывались и такие точки зрения, согласно которым единицы типа *lay out* классифицировались как с л о в а. Представляется, однако, что никаких серьезных оснований для этого не существует. Не имея возможности подымать здесь этот очень сложный вопрос, хочу обратить внимание лишь на следующее. Разрешение данного вопроса должно идти не только в плане глубокого и всестороннего изучения единиц типа *lay out* как таковых, но и в плане оценки взаимоотношений в системе английского языка в целом. При этом обнаружится, что если считать единицу типа *lay out* словом, надо допустить существование в английском языке внутренней флексии (ср. *lay out — lays out — laying out—laid out* и т. п.). Однако такое предположение вряд ли найдет опору в каких-либо фактах реального языка. Более того, даже в случаях, аналогичных *lay out*, при окончательном уплотнении двух компонентов в слово, флексия прибавляется не к первому, а ко второму компоненту: ср. *take-ins*, *lock-outs* и т. п.

Остальные интересующие Н. И. Лихоперст вопросы (возможность конверсии в системе неизменяемых частей речи и место конверсии среди других способов словопроизводства) освещаются в консультации В. В. Пассека и С. П. Сафроновой в журнале «Иностранные языки в школе» (1956, № 4).

В. В. Пассек

№ 1 1957

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛЬСКИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ К ЮБИЛЕЮ МИЦКЕВИЧА

Какими достижениями ознаменовало польское языкознание юбилей Мицкевича? Вопросам языка и стиля произведений Мицкевича было посвящено значительное число докладов, представленных на юбилейной сессии историков литературы и языка (сессия была организована Польской Академией наук и проходила в период с 5 по 8 декабря 1956 г. в Варшаве). Часть из этих докладов напечатана, другие известны нам только по информациям польской печати [1].

Работы, подготовленные к последнему юбилею Мицкевича [2], ставят кардинальные вопросы, связанные с языком его произведений. В большей части этих работ использованы новые материалы картотеки готовящегося к печати словаря Мицкевича [3].

---

[1] См. доклад З. Клеменсевича «Польское языкознание перед лицом научных задач юбилейного года Мицкевича» (Z. Klemensiewicz, Językoznawstwo polskie wobec naukowych zadań Roku Mickiewiczowskiego), прочитанный им на Международной сессии Польской Академии наук в апреле 1956 г., посвященной юбилею Мицкевича (доклад этот напечатан на правах рукописи); см. также информационную статью С. Урбанчика «Сессия историков литературы и языка, посвященная Мицкевичу» (St. Urbańczyk, Sesja Mickiewiczowska historyków literatury i języka, «Język polski» 1955, zesz. 5).

[2] Библиографию ранее вышедших исследований см. в статье: A. Siudut, Bibliografia artykułów dotyczących języka Mickiewicza drukowanych w Języku Polskim, t. I — XXXIV, «Język polski», 1955, zesz. 5.

[3] Об истории возникновения Словаря Мицкевича см.: K. Górski, Słownik Mickiewiczowski, «Nowa Kultura» (Warczawa) 20 III 55; его же, Z warsztatu słownika Mickiewiczowskiego (*dążać się*; *dodać*; *dotawiać się*), «Język polski», 1954, zesz. 5; его же, O słowniku Mickiewiczowskim, «Twórczość», 1955, № 11; M. R. Mayenowa, Czemu służy słownik Mickiewicza?, «Życie literackie» (Kraków—Stalinogród) 27 XI 55.

Проект инструкции к собиранию материалов для Словаря Мицкевича объединял установки двух инициаторов Словаря — С. Грабена и К. Гурского. Обсуждение проекта состоялось на общем заседании историко-литературной и языковой комиссий Польской Академии наук 15 февраля 1947 г. Инструкция была позднее напечатана в органе Польской Академии наук «Sprawozdania PAU» (t. XLVIII, 1947, № 2). При обсуждении вопроса о принципах подачи материала выявились две различные концепции. Большинство выступавших (Т. Лер-Сплавинский, К. Нитш, Я. Сафаревич и др.) указывали, что в Словаре должны найти свое отражение все случаи употребления данного слова поэтом (в форме полных цитат или указания мест, в которых эти слова выступают). Сторонники другой точки зрения предлагали давать только самые характерные цитаты без указания пропущенных мест. Организованная работа по собиранию лексического материала для Словаря началась с января 1950 г. В течение четырех лет был собран в основном материал по всем поэтическим и прозаическим произведениям Мицкевича, а также по его автографам. В 1954 г., ввиду перехода С. Грабеца на кафедру польского языка в Лодзи, часть работ была перенесена в этот город, тогда как раньше все работы сосредоточивались в Торуне. Вся картотека Словаря попрежнему находится в Торуне. В начале 1956 г. появился первый выпуск Словаря, содержащий вступление и обработку буквы А. Полное издание всех выпусков займет, вероятно, лет 10.

Словарь помещает слова со всеми цитатами, в которых они употреблены, даже если в печатных текстах и автографах они перечеркнуты или опущены в окончательной редакции. Количество цитат ограничивается только в отношении служебных слов (вспомогательный глагол *być*, союзы и предлоги). Объяснение значения слова дается только тогда, когда оно расходится с его современным употреблением. Объяснения даются в форме определений, а еще чаще — в форме синонимов из современного польского языка. Словарь дает все слова, встречающиеся в так называемых авторизованных изданиях, т. е. изданиях, печатавшихся при жизни

Предваряющий остальные доклады доклад С. Урбанчика «Польское языкознание первой половины XIX в.» (точнее, 1800 — 1863 гг.) (St. Urbańczyk, Językoznawstwo polskie 1. połowy XIX wieku), по свидетельству З. Клеменсевича, затрагивает важные и до сих пор еще не разработанные вопросы, связанные с начальным периодом развития польской лингвистики в качестве самостоятельной науки.

Вторым докладом общего характера был доклад З. Клеменсевича «Мицкевич в истории польского языка» (Z. Klemensiewicz, Mickiewicz w dziejach języka polskiego), в настоящее время опубликованный в виде статьи (см. ниже, стр. 152). Этот доклад характеризует роль Мицкевича в развитии польского литературного языка. Творчество Мицкевича впервые связывается с потребностями демократизации польского литературного языка, который обогащается не свойственными ему ранее разговорными и региональными элементами и получает широкое распространение среди различных общественных групп. Постоянный интерес к вопросам языка и языкознания, сказал докладчик, и прогрессивная позиция в отношении языковой жизни своей эпохи помогли Мицкевичу выполнить стоявшие перед ним задачи.

Ценность выводов ученого в том, что он отошел от ранее высказывавшегося положения, согласно которому роль Мицкевича в развитии польского литературного языка была незначительной[1]. З. Клеменсевич правильно считает, что роль Мицкевича нельзя оценивать по количеству и качеству сохранившихся в литературном языке грамматических или словарных особенностей, присущих его индивидуальному языку. Она определяется тем, что Мицкевич понял, почувствовал языковые потребности своего времени и открыл путь сознательному усвоению элементов разговорной речи широких масс.

Третьим наиболее широким по затрагиваемым вопросам докладом был доклад М. Р. Майеновой «Мицкевич и стилистические традиции» (M. R. Mayenowa, Mickiewicz a tradycje stylistyczne), также появившийся уже в печати[2]. Автор устанавливает существование в польском литературном языке первой четверти XIX в. двух стилистических образцов (как называет их автор, «моделей») — классического и романтического, тесно связанных с литературными вкусами, а опосредствованно—с идейными позициями их представителей и защитников. Мицкевич, говорит Майенова, не был представителем ни той, ни другой группы. От романтической группы его отдаляет присущий ей пуризм, вынуждающий заменять искусственными неологизмами уже укрепившиеся в языке слова иностранного происхождения. Как доказывает автор, манера письма у Мицкевича больше всего приближалась к той разновидности «романтической модели», которую представляла стилистика И. Лелевеля, боровшегося с книжным стилем и защищавшего права элементов разговорной речи в пределах литературного языка. Сравнительный анализ поэзии и прозы Мицкевича показывает, что именно в поэзии язык его наиболее сближается с разговорным языком.

Интересный вопрос поднимает Т. Скубалянка в своем докладе «Языковые новообразования Мицкевича в их отношении к теории и практике просвещения и романтизма» (T. Skubalanka, Nowotwory Mickiewicza wobec teorii i praktyki oświecenia i romantyzmu). В докладе показано, что Мицкевич создает неологизмы только в исключительных случаях и что во всем его творчестве они составляют незначительный слой (примерно 120 слов, из которых более 36% — шутливые новообразования). Неологизмы предпочитаются их общенародным соответствиям в тех случаях, когда они имеют особую стилистическую окраску. Некоторые неологизмы, не имеющие польских соответствий, выступают как сокращения слишком длинных фразеологических групп или как названия новых понятий, или, наконец, как стилистические украшения. Выводы автора, основанные на анализе конкретного языкового материала, собранного в картотеке словаря Мицкевича, подтверждают правильность положения З. Клеменсевича о том, что языковое новаторство Мицкевича состояло не в создании новых слов, новаторской была сама его языковая позиция, претворяемая им в творчестве.

Работой, которая также могла быть создана только на материале картотеки Словаря Мицкевича, является доклад Э. Пеповского «Словарь и фразеология

поэта. Если между этими изданиями есть расхождения, Словарь дает и тот и другой вариант, не решая вопроса об их правильности или ошибочности.

Уже начальная фаза работы над Словарем Мицкевича открыла большие возможности для точного определения семантики употребляемых Мицкевичем слов и для установления правильного текста его произведений.

[1] Ср., например, вывод К. Нитша: «ни на повседневном, ни на литературном языке второй половины XIX и начала XX века не отразилась в значительной степени ни грамматическая, ни словарная сторона языка Мицкевича» [K. Nitsch, Z zagadnień języka Mickiewicza, «Język polski», 1934, zesz. 5, стр. 138. Статья перепечатана в сб. «Kazimierz Nitsch. Wybór pism polonistycznych», t. I (Wrocław, 1954)].

[2] M. R. Mayenowa, Mickiewicz a tradycje stylistyczne, «Pamiętnik literacki», roczn. XLVII, zesz. specjalny—w setną rocznicę zgonu Adama Mickiewicza, Warszawa — Wrocław, 1956, стр. 269—316.

публицистики Мицкевича» (E. Pepłowksi, Słownictwo i frazeologia w publicystyce Mickiewicza). Анализ показывает, что общественно-политическая лексика и фразеология, употребляемая Мицкевичем, была свойственна и языку современной ему публицистики; она восходит к эпохе просвещения, а часто даже к XVI в. Новых слов, как правило, Мицкевич не создает, но заимствует слова из других языков или меняет значение существующих слов, а также переносит в политическую сферу слова и обороты религиозных жанров. Однако архаизмов в языке публицистики Мицкевича не наблюдается. Из двух синонимических элементов, различающихся возрастом, Мицкевич выбирает более новый, и в этом главное отличие его публицистического словаря от словаря эпохи просвещения.

Три доклада на сессии были посвящены языку поэмы «Пан Тадеуш». Из них два принадлежат Г. Турской. В докладе «Языковые провинциализмы „Пана Тадеуша“» (H. Turska, Prowincjonalizmy językowe Pana Tadeusza) показано, что провинциализмы употребляются автором безотносительно к содержанию текста и могут быть вложены в уста любого персонажа поэмы, т. е. что они не несут никакой стилистической функции и являются естественной составной частью языка поэта. Второй доклад Г. Турской «Словарь описаний природы в „Пане Тадеуше“ в его отношении к традициям просвещения и псевдоклассицизма» (Słownictwo opisów przyrody w Panu Tadeuszu wobec tradycji oświecenia i pseudoklasycyzmu) также содержит интересные выводы. Анализ показывает, что в поэме нет новообразований, мало введенных самим Мицкевичем архаизмов, заимствований и провинциализмов. Используя синонимы, поэт не выходит за границы синонимики разговорного языка или его провинциальных разновидностей. Он избегает метафор, нарушающих однозначность и выразительность высказывания. По выражению З. Клеменсевича, незаурядное искусство соединения этих очень заурядных лексических элементов создает очарование образов природы великой эпопеи.

Авторы доклада «Работа Мицкевича над языком „Пана Тадеуша“ по показаниям автографов» (H. Cieślakowa, H. Misz i T. Skubalanka, Praca Mickiewicza nad językiem Pana Tadeusza na podstawie autografów) молодые языковеды Г. Тесля кова, Г. Миш и Т. Скубалянка исследуют внесенные Мицкевичем в поэму изменения и поправки, касающиеся отдельных слов, фразеологии и синтаксиса. Эти поправки носят в основном стилистический характер и объясняются свойственным поэту стремлением к однозначности и точности высказывания.

Несколько по-иному подошел к подобной проблеме С. Грабец в докладе «Расхождения в языке рукописных и печатных текстов Мицкевича» (St. Hrabec, Różnice językowe między rękopisami a drukami Mickiewiczowskimi). Он исследует расхождения 10 автографов и соответствующих печатных изданий (среди них «Дзяды», ч. III, «Пан Тадеуш», «О варшавских критиках и рецензентах»). Сравнение показало, что опубликованные варианты больше соответствуют литературным нормам. Особенно показательна в этом отношении фонетика Мицкевича, в которой было больше всего отклонений от общепольской нормы. Часть расхождений автографа и печатных изданий в области флексий объясняется тем, что единая система флексий еще не установилась в литературном языке того времени. В печатном экземпляре исчезают лексические архаизмы и провинциализмы, лишенные стилистической ценности.

М. Длуская изложила в докладе «Мицкевич и традиции польского стихосложения» (M. Dłuska, Mickiewicz a polskie tradycje wersyfikacyjne) результаты своих версификационных исследований, первая часть которых под заглавием «О версификации Мицкевича» появилась в печати в 1955 г.[1], а вторая печатается в настоящее время. В стихосложении Мицкевича автор различает два этапа: ранний этап — стремление к псевдоклассическому совершенству и поздний этап, знаменующийся переходом от псевдоклассической манерности к естественному способу высказывания и наименьшему количеству застывших ритмических единиц. В исследовании М. Длуской польская наука впервые получила очерк истории польского свободного стиха.

В работах, подготовленных к декабрьской сессии, выяснены многие важные проблемы, связанные с ролью Мицкевича в истории польского литературного языка; вместе с тем определились и новые задачи, ожидающие своего разрешения.

*

Юбилею Мицкевича посвящены и два специальных выпуска научных польских журналов — № 5 журнала «Польский язык» за 1955 г.[2] и специальный выпуск журнала «Литературные записки» за 1956 г.[3].

[1] M. Dłuska, O wersyfikacji Mickiewicza. (Próba syntezy), [Warszawa], 1955.
[2] «Język polski», 1955, zesz. 5.
[3] «Pamiętnik literacki», roczn. XLVII, zesz. specjalny — w setną rocznicę zgonu Adama Mickiewicza.

Юбилейный номер журнала «Польский язык» открывается статьей З. Клеменсевича «Какую роль и благодаря чему сыграл Мицкевич в развитии польского языка», представляющей собой печатный вариант доклада, прочитанного на декабрьской сессии (Z. Klemensiewicz, Jaką rolę i dzięki czemu odegrał Mickiewicz w rozwoju języka polskiego, стр. 322—333).

Второй наиболее значительной статьей этого номера является статья З. Кавын-Кужовой «Язык группы филоматов» (Z. Kawyn-Kurzowa, Język grupy filomatów, стр. 333—360). Как известно, группа филоматов сыграла большую роль в формировании раннего творчества Мицкевича. Демократическими настроениями филоматов определялся их интерес к белорусскому языку и фольклору. Их поэтическая программа требовала широкого использования белорусских элементов в языке польской поэзии. Автор исследует особенности языка филоматов, проявляющиеся в фонетике, словообразовании, словоизменении и синтаксисе. Он отмечает черты виленских диалектизмов и белорусизмов в языке филоматов. Характерное для филоматов свободное создание неологизмов ярче всего проявляется в их словаре, где вместе с тем наиболее заметны и архаические элементы. Большая продуктивность некоторых словообразовательных морфем, тенденция к употреблению слов в иных значениях, чем в общелитературном языке, и явная склонность к созданию новых слов свидетельствуют, по мнению автора, о своеобразии языка филоматов.

Сравнение выводов этой интересной статьи с результатами других исследований, посвященных языку самого поэта, ясно показывает, что в области лексики он не продолжает линию филоматов на создание специального языка, насыщенного неологизмами, а пользуется средствами общелитературного языка (ср. выводы работ Т. Скубалянки, З. Клеменсевича).

Вторая статья З. Клеменсевича в том же номере журнала «Характерная синтаксическая конструкция „Пана Тадеуша“» (Z. Klemensiewicz, Znamienna struktura syntaktyczna Pana Tadeusza, стр. 364—371) интересна своим тонким анализом, в котором синтаксическая и версификационная форма связывается с жанровой и стилистической принадлежностью текста. Исследователь, специалист по польскому синтаксису, обращает внимание на часто встречающуюся в произведении синтаксическую конструкцию, которую он называет внутренне связанным высказыванием (wypowiedzenie wewnętrznie nawiązane), в отличие от обычного сложного предложения или законченных предложений, стоящих рядом в контексте. Как образец такой конструкции автор рассматривает известное пластическое изображение подкомория, ведущего полонез, в XII книге поэмы. Для «внутренне связанного высказывания» характерно наличие между его отрезками цезуры, более сильной, чем между отрезками сложного высказывания. Ее образуют более длинные паузы и более сильное падение интонации. Графическим показателем такой цезуры является чаще всего точка с запятой, может быть двоеточие, иногда тире или многоточие; они указывают на паузу, более долгую, чем краткая, обозначаемая запятой, и более краткую, чем долгая, обозначаемая точкой. Подобное построение издавна встречается в польских поэтических произведениях: в работе приводятся примеры из Я. Кохановского, Рея, П. Кохановского, Красицкого, Трембецкого. Мицкевич пользуется традиционной синтаксической конструкцией, но он не только употребляет ее значительно чаще, чем предшественники, но распространяет, усложняет ее в отношении числа отрезков и размера составляющих высказываний. Употребление Мицкевичем структуры «внутренне связанного высказывания» способствует, по мнению автора, созданию большей монолитности строфы и сближает синтаксис «Пана Тадеуша» с синтаксисом разговорной речи.

В номере помещено и несколько небольших статей, посвященных употреблению отдельных слов у Мицкевича.

Статья С. Грабеца (St. Hrabec, *Bursztynowy świerzop* w Panu Tadeuszu, стр. 373—381) представляет собой попытку истолковать значение употребленного в «Пане Тадеуше» выражения *bursztynowy świerzop*.

Статья Ф. Славского «Об одном русизме, введенном в литературный язык Мицкевичем» (Fr. Sławski, O jednym z rusycyzmów wprowadzonych do języka literackiego przez Mickiewicza, стр. 371—373) посвящена слову *ryży* «рыжий», которое не только вошло в литературный язык, но и проникло в язык народа. Автор считает, что источником этого восточнославянизма у Мицкевича является белорусский язык.

Статья К. Гурского «Мачтовые перья Птицы-Горы» (K. Górski, *Masztowe pióra* Ptaka-Góry, стр. 360—362) толкует выражение *masztowe pióra*, употребленное в одном из «Крымских сонетов» Мицкевича («Гора Кикинеиз»). Автор считает, что это выражение следует понимать как «рулевые перья хвоста», и высказывает предположение, что такое употребление существовало в древнепольской фразеологии.

В статье того же автора «Текстологические исправления» («Poprawki tekstologiczne: 2. *«Żagarki* czy *pagurki»*, стр. 362—364) речь идет о прочтении одного слова в автографе поэмы «Гражины». Гурский доказывает, что его надо читать как *pagurki* «холмы», а не как *żagarki* «кусты».

Кроме упомянутых статей, в журнале помещена рецензия А. Сюдута на

статьи К. Гурского и Ю. Трыпутько [A. Siudut, Z badań nad językiem Mickiewicza (K. Górski, J. Trypućko), стр. 385—389][1]. В одной из рецензируемых А. Сюдутом статей К. Гурского «Архаизмы Мицкевича» выясняются объем и роль языковых архаизмов в произведениях поэта. К. Гурский приходит к выводу, что употребление архаизмов Мицкевичем лишь в малой степени диктуется стилистическими соображениями и обычно отражает языковую традицию его родных сторон (т. е. Виленшины). Определенную роль сыграло здесь и влияние литературной программы Бродзинского и Боровского, призывавших искать «дух польской поэзии» именно у писателей «золотого века». Давая общую высокую оценку статье, А. Сюдут выражает сожаление, что автор не разграничил архаизмов с точки зрения современного языка и с точки зрения эпохи Мицкевича. Кроме того, рецензент замечает, что следовало бы отделить архаизмы, которые являются следствием влияния белорусского языка, от тех, которые вошли в язык поэта из старопольской литературы и были отражением его художественных симпатий.

Рецензент откликнулся еще на одну статью того же автора «Проблема исправления текстов Мицкевича», в которой К. Гурский показывает возможности правильного прочтения многих мест в произведениях Мицкевича.

С замечаниями К. Гурского перекликается содержание упомянутой статьи Ю. Трыпутько «Какого Мицкевича мы знаем? Несколько замечаний языковеда об отношении автографов Мицкевича к его печатным изданиям».

В заключение в рассматриваемом номере журнала дается библиография статей, касающихся языка Мицкевича и помещенных в журнале с I по XXXIV ежегодник включительно (см. ссылку на стр. 149).

Посвященный юбилею Мицкевича специальный выпуск журнала «Литературные записки» содержит, кроме статьи Р. Майеновой «Мицкевич и стилистические традиции» (см. выше, стр. 150), две языковедческие статьи.

В статье З. Докурно «О принадлежащих Мицкевичу переводах из Байрона» (Z. Dokurno, O Mickiewiczowskich przekładach z Byrona, стр. 317—348) рассматриваются переводы из Байрона, сделанные Мицкевичем в разные периоды его творчества. Как образец для каждого из периодов З. Докурно избирает произведения Байрона «Темнота», «Сон» и «Гяур». С точки зрения близости перевода к оригиналу автор делит переводы отдельных предложений на три основные группы: 1) дословный перевод — верно передающий мысль «теми же словами», 2) приближенный перевод — верно передающий мысль «другими словами», 3) «модифицирующий» перевод — меняющий мысль оригинала. З. Докурно сравнивает общее количество слов оригинала и перевода (учитывая при этом различия грамматического строя двух языков) и количество использованных лексических единиц (в каждом из текстов). Отдельно сравнивается количество употребленных существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Подвергнув такому анализу оригинал и перевод каждого из выбранных произведений и определив причины расхождений текстов перевода и оригинала, исследователь приходит к интересным выводам о методах переводческой работы Мицкевича.

В третьей языковедческой работе сборника — статье К. Будзыка «Рифма — чудовище: *osie — stało się*» (K. Budzyk, Rym-upiór: *osie-stało się*, стр. 261—268) — речь идет о рифмах типа *osie — stało się*; эта рифма трижды встречается в «Пане Тадеуше». Необычность рифмы в том, что возвратная форма *stało się* должна произноситься здесь с ударением на втором слоге от конца, а не на третьем (как того требуют нормы литературного языка). К. Будзык дает кратко историю вопроса о возможном происхождении подобного ударения и полемизирует с Г. Турской, которая в 1951 г. выступила с утверждением, что ударение такого типа является архаизмом, удержавшимся на периферии. К. Будзык полагает, что подобное явление следует объяснять исходя из особой стилистической окрашенности встречающихся в «Пане Тадеуше» примеров. Они носят характер восклицаний, чем объясняется их своеобразная акцентуация.

Обзор польских работ, посвященных языку Мицкевича, показывает, что за последние годы языковедами демократической Польши сделано очень много для решения кардинальных вопросов, связанных с языком Мицкевича. Можно не сомневаться, что подобная работа будет осуществляться и в дальнейшем.

Я. В. Маюсович

[1] K. Górski, Zagadnienie emendacji tekstów Mickiewicza, «Pamiętnik literacki», roczn. XLV, zesz. 3, 1954; e r o ż e, Staropolszczyzna Mickeiwicza, там же, roczn. XLVI, zesz. 1, 1955; J. Trypućko, Jakiego Mickiewicza znamy? Kilka uwag językoznawcy o stosunku Mickiewiczowskich autografów do drukowanych wydań, «Scando-Slavica», t. I, 1954.

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ВЕНГРИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ[1]

Славянское языкознание в Венгрии возникло в результате деятельности профессоров, ведавших кафедрой славяноведения, которая была создана в 1849 г. при Будапештском университете. Первым заведующим этой кафедрой был Ференц Ференц, за ним следовали Оскар Ашбот, далее Янош Мелих. В настоящее время кафедрой заведует акад. Иштван Книежа.

В своей статье я сообщаю лишь о работах, касающихся языкознания и филологической науки вообще. Исследования же в области смежных наук привлекаться не будут[2], хотя в некоторых случаях было бы желательно рассмотреть и их, ибо, например, работы по этнографии часто содержат в себе различные материалы, относящиеся к языкознанию. Ввиду того, что настоящая статья носит информационный характер, оценка трудов венгерских славистов не входила в мою задачу.

Исследования венгерских славистов за границей во многих случаях недостаточно известны. Это объясняется тем, что большая часть их работ была издана на венгерском языке. Именно поэтому мы с удовольствием используем случай информировать на страницах журнала «Вопросы языкознания» широкую славянскую общественность о нашей исследовательской работе в области славистики[3].

До 1945 г. венгерское славяноведение занималось главным образом вопросами, связанными с венгерской проблематикой. После 1945 г. был составлен пятилетний план лингвистических исследований и в его рамках — план научно-исследовательских работ в области славянского языкознания. План славистических исследований, разработанный в рамках пятилетнего плана венгерского языкознания, определил важнейшие задачи, требующие своего разрешения, обеспечил условия как для коллективного, так и для индивидуального труда, а благодаря созданию аспирантуры было положено начало планомерной подготовке научных работников. Наряду с этим произошел сдвиг и в тематике исследований в области славянского языкознания: если в прошлом внимание языковедов было сосредоточено преимущественно на вопросах, тесно связанных с венгерской проблематикой, то в последнее время круг интересов наших славистов значительно расширился.

При составлении плана мы исходили из следующих принципов: 1) учет прогрессивных традиций венгерской славистики и 2) использование достижений славяноведения за границей. В соответствии с этими принципами в план вошли следующие проблемы, которым до сих пор не уделялось достаточного внимания:

1. Исследование венгерско-славянских языковых связей с учетом исторических условий заимствований.

В связи с этой проблемой была намечена следующая тематика: а) славянские элементы в венгерском языке; б) венгерские элементы в славянских языках; в) прочие результаты венгерско-славянских связей.

2. Изучение отдельных славянских языков и их истории с привлечением прежде всего богатых материалов, находящихся в Венгрии.

Здесь были выдвинуты следующие темы: а) информация о результатах славистических исследований в Советском Союзе и в других странах; б) издание источников: описание, издание и анализ славянских языковых памятников, в первую очередь находящихся в Венгрии; в) изучение славянских языков и их истории; г) исследование славянских диалектов в Венгрии, издание лингвистических атласов.

3. Популяризация тех достижений славяноведения, которые могут быть предметом интереса широкой общественности; подготовка пособий, необходимых для изучения русского языка и других славянских языков.

При этом намечалось: а) составление учебников, грамматик и словарей; б) урегулирование транскрипции кириллических текстов.

Как видно, изложенный выше план определяет задачи и пути славянского языкознания в Венгрии не на пять лет, а на более продолжительное время. При этом план обеспечивает широкие возможности сотрудничества со славистикой соседних и более далеких стран.

Славянское языкознание в Венгрии за последние годы успешно развивается. Растет количество специалистов. В настоящее время в одном лишь Институте языкозна-

[1] При работе над этой статьей я использовал свою обзорную статью «Dix années d'études slaves en Hongrie (1945—1954)» («Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955) и реферат «Zehn Jahre slawischer Sprachwissenschaft in Ungarn (1945—1955)» (прочитан на международной конференции славистов в Белграде).

[2] Об этом см. статьи: C. Bor, Recherches sur l'histoire des littératures slaves pendant les années 1944—1954, «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 470—473; B. Gunda, Slawische ethnographische Forschungen in Ungarn zwischen 1945—1955, там же, стр. 467—470.

[3] Мы с большой радостью встретили обзорную статью И. Голенищева-Кутузова «Славяноведение в Венгрии» в журнале «Славяне» (1955, № 9).

ния работают четверо славистов, а языковедов, занимающихся научно-исследовательской работой в области славистики, во всей стране (включая сюда и самые молодые научные кадры) насчитывается примерно до 20, тогда как в прошлом в Венгрии работали всего 1—2 молодых специалиста при ведущих профессорах. Рассмотрим подробнее проделанную работу.

1

а) В истории исследования венгерско-славянских языковых связей значительным событием является труд акад. И. Книежа «Славянские заимствования в венгерском языке»[1], который завершает работу, начатую в этой области Ф. Миклошичем, О. Ашботом и Я. Мелихом. Пока вышла только первая, словарная часть книги И. Книежа, но мы надеемся, что в ближайшие годы выйдет и вторая, обобщающая, которая будет посвящена фонетике и словообразованию заимствованных славянских слов, вопросам их семантики, а также описанию тех общественно-исторических явлений, в условиях которых протекали процессы заимствования. В этой части будут содержаться и важные с точки зрения исторической фонетики венгерского языка выводы, которые могут быть сделаны на основе изучения заимствованных слов.

В первой части своей работы автор рассматривает этимологию заимствований, точнее, этимологию: 1) славянских заимствованных слов в общенародном разговорном языке, 2) диалектных слов славянского происхождения, отраженных в словарях, и 3) славянских заимствований, засвидетельствованных в старых памятниках венгерского языка. И. Книежа делит изученные слова на следующие три группы: 1) слова, имеющие несомненно славянское происхождение (всего 800 слов, из которых 460 фигурируют в словарном составе современного венгерского литературного языка; остальные являются областными словами); 2) слова, славянское происхождение которых является сомнительным (800 слов), и 3) слова неславянского происхождения, которые до сих пор ошибочно считали словами славянского происхождения (примерно 430 слов). Сомнение в славянском происхождении некоторых слов возникает потому, что, с одной стороны, неизвестно происхождение самих славянских слов, с другой, предполагаемое заимствованное слово иногда иностранного происхождения и не имеет несомненных славянских признаков. При работе над данной главой перед автором стояли серьезные трудности, связанные с тем, что в настоящее время еще нет вполне удовлетворительных исторических, этимологических и диалектологических словарей славянских языков и проблема заимствованных слов в славянских языках почти совсем не изучена.

При рассмотрении слов несомненно славянского происхождения И. Книежа использовал следующий метод: после заглавного слова дается первое историческое свидетельство о нем, потом следуют варианты в хронологическом порядке. В следующем абзаце приводятся значения слова; далее автор, разбирая славянское происхождение слова, указывает славянские соответствия. После этого следуют возможные замечания относительно венгерского слова. Выясняется вопрос о том, из какого славянского языка оно заимствовано, ибо общеизвестно, что в венгерский язык попали славянские заимствования примерно из девяти различных славянских языков. Наконец, словарная статья заканчивается библиографическими данными. Несомненно, что работа И. Книежа будет способствовать окончательному выяснению многих вопросов истории венгерского народа, связанных с историей славянских народов.

Из исследований, занимающихся той же проблематикой, можно указать на статьи Йожефа Эрдёди; в одной из них он разбирает вопрос о влиянии русского языка на венгерский, начиная с 1945 г.; в другой статье рассматриваются кальки славянского происхождения[2]. П. Кирай пишет о причинах возникновения и исчезновения приблизительно десяти значений слова *paraszt* «крестьянин» славянского происхождения, проводя сравнение с развитием значения слова *прост* в славянских языках. Из исследования становится ясным, что объяснение изменений значения этого слова следует искать в экономических и иных общественных факторах[3]. Ласло Гальди осветил один из моментов истории славяноведения в Венгрии в статье, посвященной некоторым пионерам в области объяснения слов славянского происхождения[4].

---

[1] I. Kniezsa, A magyar nyelv szláv jövevényszavai, kötet I, rész 1 и 2, Budapest, 1955; этому же вопросу посвящена другая работа того же автора — «Slawische Bestandteile der ungarischen staatlichen und juridischen Terminologie», «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 363 — 370.

[2] J. Erdődi, Az orosz nyelv hatása a magyar nyelvre 1945 után, «Magyar Nyelvőr», 1953—1954; его же, Szláv eredetű tükörszavakról, там же, 1952, szám 6, стр. 462—466.

[3] P. Király, Geschichte des ung. Wortes *paraszt* «Bauer», «Acta linguistica», t. III, fasc. 1—2, Budapest, 1953, стр. 63—123.

[4] L. Gáldi, Sur quelques pionniers des rapprochement étymologiques slavo-hongrois, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 5—28; его же, De Gyarmathi à Miklosich, там же, t. II, fasc. 1—4, 1956, стр. 289—329.

б) В других работах (большего или меньшего объема), как уже опубликованных, так и подготовляемых к печати, рассматривается влияние венгерского языка на соседние славянские. Так, Ласло Хадрович изучает венгерские элементы сербо-хорватского, Дьюла Дечи — болгарского [1], Эмиль Балецкий — украинского (в Венгрии) [2], П. Кирай — словацкого [3] и Бела Шулан и Д. Дечи — чешского [4] языков.

в) Кроме венгерско-славянских лексических взаимодействий были исследованы и общие элементы венгерского правописания и правописания у соседних славянских народов. Так, акад. И. Книежа изучает влияние чешского правописания на венгерское [5], а Ласло Хадрович устанавливает параллельные элементы в правописании хорватских протестантских печатных памятников XVI в. и в венгерском правописании [6].

Интересна статья Ласло Хадровича, в которой автор при помощи филологического анализа доказывает, что средневековые южнославянские романы о Трое возникли на основе западной, латинской культуры и что их источник надо искать в исчезнувшей венгерской средневековой легенде о Трое [7].

2

а) Неудовлетворительным является положение с информацией относительно достижений зарубежной славистики. Это объясняется тем, что до последнего времени у нас не было журнала по славяноведению. Важную роль играет выходящее с 1950 г. издание, печатаемое на ротаторе,— «A Nyelvtudományi Intézet Közleményei» («Известия Института языкознания»), которое публикует переводы важнейших работ по славяноведению, выполненные в СССР и странах народной демократии, а также сообщения о них. Кроме того, отдельные рецензии и статьи публикуются и в журнале «Magyar Nyelvőr» («Страж венгерского языка»). Они касаются вопросов чистоты и правильности различных славянских языков, проблематики славянских литературных языков, двуязычных словарей, транскрипции кириллических текстов, некоторых проблем перевода с русского языка на венгерский. Само собой разумеется, что это не может нас удовлетворить и мы должны использовать для указанных целей и другие журналы.

б) Одна из коллективных работ, которая ведется в Институте языкознания АН и в Институте славянских языков при Будапештском университете, имеет целью разыскание и издание памятников славянских языков, находящихся в Венгрии. Руководителем ее является И. Книежа. Как известно, в архивах Венгрии находится очень много материалов на различных славянских языках, прежде всего на словацком, хорватском и сербском; имеется также много материалов на чешском, польском и даже на закарпатско-украинском языках.

На первом этапе исследовательской работы были обследованы памятники чешского и словацкого языков (до 1700 г.), хранимые в Центральном государственном архиве, и составлен каталог найденных материалов. Часть из них, относящаяся к средневековью до 1526 г. (73 чешские грамоты, составленные в Словакии), была исследована и издана в качестве первого тома «Памятников славянских языков в Венгрии» [8]. Авторами тома являются историки Бела Ботло, Эрик Фюгеди, а из лингвистов И. Книежа и отчасти Петер Кирай. В своих комментариях И. Книежа объясняет распространение чешского языка среди словаков в качестве литературного языка влиянием нотариальных учреждений на письменность. По его мнению, чешская письмен-

---

[1] Д. Дечи, Венгерские слова в болгарском языке (готовится к печати).

[2] Э. Балецкий, К вопросу о значении и этимологии слова «дюг», «Études slaves et roumaines» (ÉSR), vol. I, fasc. 2, 1948, стр. 106—111; подготавливается к печати: «Венгерские заимствованные слова в языке жителей села Комлошка».

[3] P. Király, Chronologie des éléments hongrois dans la langue d'un village slovaque oriental, ÉSR, vol. I, fasc. 4, 1948, стр. 201—214; подготавливается к печати: «Венгерские элементы словацкого языка».

[4] Первой попыткой в этой области была статья: Gy. Décsy — B. Sulán, A cseh szókincs magyar elemeiből, «Magyar Nyelv», 1955, szám 4, стр. 453—463; 1956, szám 3, стр. 310—315.

[5] См. работы акад. И. Книежа: «Helyesírásunk története a könyvnyomtatás korától» и «A magyar helyesírás története» (Budapest, 1952).

[6] L. Hadrovics, A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása, «A Magyar Tudományos Akadémia. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei», kötet I, szám 2, 1951, стр. 163—172.

[7] L. Hadrovics, Az ómagyar Trója-regény a délszláv irodalomban, там же, kötet V, szám 1—4, 1954, стр. 79—175; см. перевод этой статьи: «Der südslawische Trojaroman und seine ungarische Vorlage», «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 49—135.

[8] «Stredoveké české listiny» («Slovanské jazykové pamiatky z Mad'arska», I), red. Št. Kniezsa, Budapest, 1952.

ность в Словакии распространялась не словаками, знавшими чешский язык, а была перенесена в Словакию чехами. После этого тома последуют другие издания памятников (вышел уже из печати том II).

Параллельно с изысканиями, проводимыми в Центральном государственном архиве, регистрируются рукописи на чешском, словацком и на других славянских языках в библиотеках Будапешта и других городов (этим занимаются Эмилия Урхеди, Петер Кирай, Дьюла Дечи и др.). Целью этой работы является учет материалов и издание своего рода библиографии с историческими, литературными и лингвистическими замечаниями. В настоящее время уже обнаружены некоторые памятники славянских языков. Наиболее древним является глаголический фрагмент XI—XII вв.; кроме этого, найдены два глаголических фрагмента угловатого типа XIV в. и три фрагмента XV в.; найдены кириллические фрагменты; обнаружен краткий хорватский текст XIV в., написанный латиницей; найдены три памятника чешского языка XIV в. с признаками моравско-словацкого влияния, в том числе неизвестный до сих пор фрагмент об Александре Македонском («Alexandreida»). В молитве конца XVII в. найден наиболее старый памятник, написанный в Венгрии на языке словенцев (вендов). В дополнениях к словенскому евангелию — переводу Хернца, появившемуся в 1613 г., сохранились словенские *молитвы и религиозные песни XVII в. О памятниках, находящихся* в будапештских архивах, мы имеем уже общее представление, чего нельзя сказать о материалах других хранилищ. В Будапеште находятся главным образом памятники чешского и словацкого языков; нам предстоит разыскать памятники и других славянских языков: церковнославянского, хорватского, сербского, словенского, закарпатско-украинского и др.

В 1954 г. мы приступили к осуществлению важнейшей задачи в области славистики — подготовке *Словаря памятников словацкого языка в Венгрии* (руководитель работы — И. Книежа). В ходе этой работы мы будем заниматься памятниками, относящимися ко времени до выступления Бернолака. В случае успешного завершения этого начинания мы дадим славяноведению первый исторический словарь словацкого языка.

в) С упомянутой выше работой тесно связано изучение памятников и вообще исследование отдельных проблем истории различных славянских языков. О проблемах церковнославянского языка была подготовлена только одна статья. Это статья Петера *Кирай о названном уже глаголическом фрагменте*[1]. *Фрагмент, состоящий из девяти* строк, относится к XI—XII вв., он похож на одну из частей легенды Макария и принадлежит к группе памятников с не вполне круглым почерком письма.

Бо́льшая часть статей была посвящена истории словацкого языка. Так, например, И. Книежа в двух статьях пишет о проблеме южнославянских элементов словацкого языка[2]; в докладе о языке славян Задунайских областей в период до завоевания венграми территории современной Венгрии он подвергает критическому разбору работу Яна Станислава «Slovenský juh v stredoveku» (1943)[3]. В противоположность Я. Станиславу, по мнению которого население Задунайского края в ту эпоху было словацким, И. Книежа считает несомненной его южнославянскую принадлежность. По мнению И. Книежа, на обоих берегах Дуная, следовательно, и за Дунаем, вдоль рек Ваг и Нитра, *жил один и тот же южнославянский народ, однако что это* был за народ — точно определить невозможно. Д. Дечи в двух работах рассматривает словакизмы — как в правописании, так и языковые, имеющиеся в памятниках чешского языка словацкого происхождения, а также в памятниках, которыми пользовались словаки[4]. Тот же автор в своей кандидатской диссертации (которая уже опубликована) подвергает изучению так называемую медицинскую книгу XVII в., содержащую много особенностей среднесловацкого диалекта[5]. Д. Дечи дает здесь образец метода исследования элементов словацкого диалекта в тексте, написанном

---

[1] P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment, «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 311—332.

[2] É. Kniezsa, Notes sur l'histoire des consonnes palatales du slovaque, ÉSR, vol. I, fasc. 1, 1948, стр. 2—6; его же, Zur Geschichte der Jugoslawismen im Mittelslowakischen, ÉSR, vol. I, fasc. 3, 1948, стр. 139—147.

[3] Его же, A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Dunántúlon, «MTA I Osztályának Közleményei», kötet II, szám 1—4, 1952, стр. 373—390; см. перевод этой статьи: «Die Sprache der alten Slawen Transdanubiens, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 29—47.

[4] Д. Дечи, Орфография древнейших памятников славацкого языка, «Acta linguistica», t. III, fasc. 3—4, Budapest, 1953, стр. 353—372 (см. « Corrigenda», там же, t. V, fasc. 1—2, 1955, стр. 263—264); его же, Čeština v středověkých Uhrách, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 278—287.

[5] Gy. Décsy, Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, Budapest, 1956. (Опубликована в Издательстве Академии наук в качестве второго тома «Памятников славянских языков в Венгрии».)

словакизирующей чешской нормой. Эту работу мы можем приветствовать как первую историческую монографию, которая посвящена изучению словацкого рукописного памятника значительного объема [1]. Готовится к изданию работа Э. Урхедьи, которая будет содержать словацкие протоколы XVII в. села Надашка. Эрик Фюгеди в своей интересной статье анализирует формирование словацкой письменности поместья В. Бытча [2]. П. Кирай посвятил две статьи изучению развития словацкого литературного языка. В одной из них он разбирает рукопись А. И. Хашко, появившуюся в 1788 г. Автор анализирует первое исправление рукописи лектором-цензором (чехизация текста) и второе исправление, сделанное автором (ресловакизация), и приходит к выводу о том, что в конце XVIII в. в Словакии была вполне подготовлена почва для кодификации литературного языка Бернолака [3]. В другой работе он рассматривает до сих пор мало известный первый словацкий (региональный) литературный язык, сохранившийся в реформатских церковных книгах, написанных на восточнословацком (земплинском) диалекте по правилам венгерского правописания и напечатанных в г. Дебрецен в 1750—1758 гг. По мнению П. Кирай, эти пять книжек можно считать и первыми более обширными памятниками словацкого языка, первыми печатными книгами, набранными латинским шрифтом на чистом словацком языке [4].

К области чешского языковедения относится работа Э. Урхедьи, в которой автор дает филологический разбор рукописи на чешском языке начала XVI в., найденной в Будапеште [5]. П. Кирай изучил древнечешский памятник XIV в. об Александре Македонском [6].

В области русского языкознания в конце XIX и в начале XX в. много сделал проф. Оскар Ашбот, создатель русистики в Венгрии [7], однако после его смерти (1920 г.) последовал почти полный застой. Работы по русистике стали вновь появляться в последние годы. Это статьи Л. Гальди [8], Б. Кальмана [9] и И. Эрдёди [10], в которых авторы исследуют французские, обско-угорские и венгерские элементы русского языка.

Отставание в области исследований по русистике частично объясняется тем, что в прошлом у нас было мало специалистов. В настоящее время имеются молодые кадры, которые или получили подготовку в СССР, или учились в аспирантуре в Венгрии. Часть их работает при кафедрах русского языка, основанных при некоторых университетах. Первые результаты уже налицо [11]. Появились статьи Иштвана Фодора о синтаксисе «Задонщины» [12] и Михая Петера об интонации русского вопросительного

---

[1] Из других его работ, посвященных описанию отдельных рукописей, см., например, Gy. Décsy, Slovenský karhací spev zo 17. storočia, «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 412—415.

[2] E. Füge di, K otázke užívania slovenského jazyka na panstvách v 17. storočí, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 179—226.

[3] П. Кирай, К вопросу о словакизации, «Acta linguistica», t. II, fasc. 1—2, 1952, стр. 189—201.

[4] P. Király, A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei, Budapest, 1953.

[5] E. Urhegyi, Budapešťský rukopis «Knijh o zarmutcenijch velikých Czýrkwe Swaté», «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 261—277.

[6] P. Király, Ostřihomský zlomek staročeské Alexandreidy, «Studia slavica», t. II, fasc. 1—4, 1956, стр. 157—184.

[7] О научной деятельности Ашбота см. статью: E. Angual, Asbóth Oszkár 1852—1920), «Magyar Nyelvőr», szám 6, 1952, стр. 407—419.

[8] L. Gáldi, Francia-orosz nyelvi kapcsolatok a XVIII. században, «Nyelvtudományi Közlemények», 1948, kötet LII, szám 1, стр. 31—39.

[9] B. Kálmán, Obi-ugor elemek az orosz nyelvben, там же, 1952, kötet LIII, szám 1—4, стр. 153—171; Б. Кальман, Русские заимствования из обско-угорских языков, «Acta linguistica», t. I, fasc. 2—4, Budapest, 1952, стр. 249—272. В других своих работах он занимается русскими заимствованными словами в языке манси. См. «Nordgrossrussische dialektische Eigenheiten im Spiegel der russischen Lehnwörter der Manschi-(wogulischen) Sprache («Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 418—421) и «Hangmegfelelések a manysi nyelv orosz jövevényszavaiban». См. «Nyelvtudományi Közlemények», kötet LVII, 1956, стр. 112—133.

[10] J. Erdődi, Magyar szavak az orosz nyelvben, «Magyar Nyelvőr», szám 3, 1952, стр. 224—228; его же, Tokaj, там же, szám 6, 1950, стр. 422—424; его же, Magyar eredetű vándorszavak az orosz nyelvben, там же, szám 1—2, 1953, стр. 125—129.

[11] См. Э. Балецкий, Русское языкознание в Венгрии, «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 457—467.

[12] И. Фодор, Синтаксические явления «Задонщины», «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 137—178; другие его работы: «Alanytalan mondatok a mai orosz nyelvben», «Nyelvtudományi Közlemények», 1956, kötet LVII, rész 1—4, стр. 160—203; «Категория рода в славянских языках» (канд. диссерт. на венг. яз.).

предложения[1]. Мы ждем дальнейших статей и от Ласло Дежё[2], Йожефа Юхаса[3], Лайоша Киша[4], Ференца Ковача[5], Нандора Мольнара[6], Надежды Орсаг[7], Ференца Папа[8] и др.

К сожалению, вопросами южнославянского языкознания до сих пор, по сути дела, никто, кроме Ласло Хадровича, не занимался. Поэтому перед нами стоит задача — преодолеть отставание в данной области путем быстрой подготовки кадров. В последнее время Д. Дечи написал две статьи, *касающиеся болгарского языка*[9]; Габор Ракоши написал статью об одном из македонских диалектов.

Слависты, вероятно, с большим интересом встретят библиографию венгерского славяноведения, которую подготавливает Э. Балецкий.

г) Вторая коллективная работа, которой руководят также И. Книежа и Л. Хадрович — это Лингвистический атлас славянских языков в Венгрии. В ней принимают участие Дьюла Дечи, Ференц Грегор, Петер Кирай, Иштван Шипош, Кальман Бор и Ференц Ботка.

В Венгрии имеются села, жители которых говорят на словацких, сербо-хорватских, словенских, закарпатско-украинских и польских диалектах, а также на смешанных украинско-восточнословацких говорах. Идея изучения славянских диалектов в Венгрии возникла еще в 1903 г., когда Комитет языкознания Академии наук запланировал их исследование. Но это начинание осуществилось тогда лишь частично, поскольку появилась только одна работа — Агошта Павела «О фонетике словенского диалекта села Вашхидегкут»[10]. Систематическое исследование славянских диалектов в Венгрии стало возможным лишь после реорганизации Венгерской Академии наук и после создания Института языкознания (в 1949 г.). Целью работы над Лингвистическим атласом является: представить картину состояния отдельных славянских диалектов, подготовить атлас диалектов и потом на основе этого написать ряд статей и монографий об истории диалектов.

На первом этапе работы были проведены так называемые ориентировочные исследования, цель которых — на основе кратких вопросников получить представление об отношениях, характере и составе славянских диалектов в Венгрии. В настоящее время исследовательская работа ограничивается рамками словацкой части Лингвистического атласа. Предварительные работы закончены в конце 1952 г. Намечены пункты, которые должны быть обследованы для словацкой части Лингвистического атласа; 3/4 работы уже проделано. Собирание материала проводится на основе диалектологического вопросника Словацкой Академии наук[11]. Для проверки материалов мы пользуемся магнитофоном Института языкознания.

Предварительное собирание материала в южнославянской части еще не кончилось, но, исходя из имеющихся уже материалов, можно установить, что, например, на сербохорватской территории представлены все три типа диалектов: штокавщина, кайкавщина, чакавщина.

Наряду с коллективными работами ведутся и индивидуальные исследования: Э. Балецкий изучает закарпатско-украинский диалект села Комлошка[12]; Ф. Грегор пишет очерк о западнословацком говоре села Пилишсанто; Л. Хадрович

---

[1] М. Петер, Мелодика вопросительного предложения в русском языке, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955, стр. 245—259.

[2] Л. Деже написал кандидатскую диссертацию «Материалы к развитию южномарамурешского укающего диалекта в XVI—XVIII вв.».

[3] Во II томе «Studia slavica» опубликована его статья «Форма сравнительной степени с приставкой *по* в современном русском литературном языке».

[4] Л. Киш готовит кандидатскую диссертацию на тему: «Бессуффиксные отглагольные имена существительные в русском языке».

[5] Ф. Ковач пишет кандидатскую диссертацию на тему: «История слов и выражений, связанных с мышлением, в русском языке».

[6] Н. Мольнар пишет диссертацию на тему: «Кальки в старославянских переводах библии».

[7] Н. Орсаг работает над диссертацией: «Глагольные виды в русском языке и их соответствия в венгерском языке».

[8] Ф. Папп подготовил кандидатскую диссертацию: «К некоторым вопросам определения в современном русском языке».

[9] Gy. Décsy, La vocalisation des *jers* en bulgare, «Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 371—388; его же, К вопросу об оценке Чергедских текстов, там же, t. II, fasc. 1—4, 1956, стр. 215—249+XVI.

[10] A. Pável, A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana, Budapest, 1909.

[11] См. E. Pauliny—J. Štolc, Dotazník pre výskum slovenských nárečí, Bratislava, 1947.

[12] Опубликована часть его работы: «О языковой принадлежности и заселении села Комлошка в Венгрии», «Studia slavica», t. II, fasc. 1—4, 1956, стр. 345—364.

занимается печатными памятниками хорватского языка XVIII и XIX вв. в Западной Венгрии (в Бургенланде); П. Кирай пишет статью о формировании среднесловацкого говора села Тоткомлош и о переходном восточнословацко-закарпатско-украинском диалекте; И. Шипош написал очерк о языке словацких сел в горах Бюк [1].

Я позволю себе коротко остановиться на характеристике кандидатской диссертации И. Шипоша. Автор на основе данных, относящихся к истории поселений, устанавливает, что поселенцы созданных в XVIII в. кузниц и чугунолитейных заводов в горах Бюк вербовались почти из всех комитатов современной Словакии, а кроме того, из Моравско-Валашской области. Процесс заселения продолжался почти до первой мировой войны. У этого населения, говорящего на разных языках и диалектах, развился диалект такого типа (с тремя вариантами), который как таковой не существует на территории Словакии. Шипош в процессе архивной работы нашел важные материалы, например записи, фиксирующие, кто и откуда переселился и на каком языке говорил. Опираясь на эти материалы и используя языковые факты, автор был в состоянии почти полностью восстановить процесс формирования единого языка поселений в горах Бюк.

История почти всех словацких поселений в Венгрии аналогична упомянутому случаю, так как большей частью мы имеем дело не с организованным переселением, а с самопроизвольным движением населения из разных мест, вследствие чего из языка поселенцев, говоривших на разных диалектах, во всех случаях возникли диалекты нового типа.

Изучение славянских диалектов в Венгрии важно во многих отношениях. Оно в значительной мере обогащает наши знания по славистике и по общему языкознанию. Благодаря тому, что изучаемые диалекты весьма различны, мы имеем возможность непосредственно изучать и сопоставлять почти все славянские языки и их диалекты. Изучение переходных диалектов дает возможность выяснить сложные вопросы их возникновения как новых типов диалектов, осветить явления двуязычия, венгерско-славянского языкового взаимовлияния и т. д.

3

В социалистическом обществе жизнь и наука теснейшим образом связаны между собой. Поднимающийся уровень культуры требует, чтобы в распоряжении населения были словари, грамматики, учебные пособия, стоящие на должном уровне. Ниже я коротко характеризую проделанную в этой области работу.

а) За последние десятилетия у нас не было хороших словарей и учебных пособий по славянским языкам. Венгерско-русские и русско-венгерские словари, достойные упоминания, были изданы в конце XIX в. и в 20-х годах XX в. [2]. Примерно в то же время появилась и грамматика русского языка [3]. Из недавно вышедших работ следует отметить изданные в последние годы словари Л. Хадровича и Л. Гальди [4]. Кроме этих, вышли еще и некоторые специальные словари. Среди грамматик русского языка выделяется работа Миклоша Сабо и Ференца Ковач [5]. Научные работники и педагоги с одинаковым интересом ждут появления русско-венгерского лингвистического терминологического словаря, подготавливаемого Йожефом Юхасом.

Усердная работа идет и в области других славянских языков. Вышла грамматика сербо-хорватского языка, автором которой является Л. Хадрович [6], и учебник чешского языка Иштвана Шипоша и Леопольда Бена [7]. Появился болгарско-венгерский словарь [8]. Кроме этого, подготавливаются к изданию большие словари чешского и польского языков.

---

[1] I. Sipos, A bükki Huták és Hámorok település- és nyelvjárástörténete. Канд. дисерт., 1955 (выйдет из печати в 1957 г.). Материалы диссертации легли в основу его статьи «Zo skúseností vyskuma slovenskych nárečí v Mad'arsku» («Studia slavica», t. I, fasc. 4, 1955, стр. 389—408).

[2] Я имею в виду словари Ласло Чопей (Ласлов Чопей, Русско-мадьярский словарь, Будапешт, 1883) и Шандора Митрака (Александр Митрак, Русско-мадьярский словарь, Унгвар, 1881—1884; его же, Мадьярско-русский словарь, Ужгород, 1922).

[3] Среди старых грамматик наиболее серьезной является работа Оскара Аубота: O. Åsbóth, Kurze russische Grammatik (3-e Aufl.—Leipzig, 1904); на венгерском языке она появилась в 1888 г. в Будапеште.

[4] L. Hadrovics—L. Gáldi:—Orosz-magyar szótár, Budapest, 1951;—Magyar-orosz szótár, Budapest, 1952; — Magyar-orosz kéziszótár, Budapest, 1953.

[5] M. Szabó—F. Kovács, Orosz nyelvtan, Budapest, 1955.

[6] L. Hadrovics, Grammatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje škole, Budapest, 1954.

[7] I. Sipos—L. Bena, Cseh nyelvkönyv, Budapest, 1956.

[8] «Bolgár-magyar szótár», szerk. Bödey József, Budapest, 1956.

б) До 1945 г. у нас не было отдельного журнала по славистике. Статьи в большинстве случаев помещались в журналах, издаваемых на венгерском языке, вследствие чего, как уже говорилось выше, такие работы, как правило, не доходили до зарубежных специалистов. *В 1948 г. венгерская славистика получила свой отдельный* журнал — «Études slaves et roumaines», выходивший под редакцией И. Книежа. К сожалению, этот журнал не оказался долговечным и просуществовал всего-навсего полтора года. *Тем не менее он сыграл важную роль, так как благодаря ему нам удалось установить связи* со славистами разных стран. В настоящее время, когда венгерские слависты имеют новый журнал «Studia slavica»[1], выходящий на иностранных языках, нам необходимо восстановить и укрепить наши связи со славистикой *других стран*.

*

Из сказанного можно сделать вывод об определенных успехах славянского языкознания в Венгрии. Конечно, работа, которая ведется в этой области в неславянской *стране, по своим масштабам не может сравниться с работой*, проводимой в славянских странах. Однако у нас имеются все возможности к расширению исследований, которые должны способствовать росту авторитета славистики. Путем обмена достигнутыми результатами мы стремимся укреплять связи с соседними и более далекими народами.

Петер Кирай

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В АКАДЕМИЯХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И В ФИЛИАЛАХ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ознакомление с планами и отчетами научно-исследовательских институтов, с их учеными записками и трудами, сборниками статей и отдельными монографиями показывает, что основные разделы науки о языке в академиях союзных республик и филиалах АН СССР *разрабатываются* неравномерно. Неравномерность эта зависит часто от реальных возможностей того или иного института, от степени обеспеченности квалифицированными кадрами, от недостаточной целенаправленности в планировании, что обусловлено стремлением удовлетворить текущие потребности.

Удельный вес общих проблем в тематике языковедческих институтов продолжает оставаться весьма незначительным: проблемы этого рода нашли свое отражение главным образом в работе институтов АН СССР, а также академий УССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР. Проблема закономерности исторического развития языка на разных этапах развития общества поставлена грузинскими языковедами. Взаимовлияние родственных и неродственных языков будет освещено в коллективном труде «Процессы взаимовлияния языков»; специальному вопросу — разбору существующих классификаций языков и принципов построения этих классификаций посвящена отдельная монография Т. С. Шарадзенидзе. В шестой пятилетке коллектив научных сотрудников грузинского Института языкознания предполагает подготовить труд, посвященный основным вопросам фонологии. Попутно следует сказать, что вопросы фонетики и фонологии очень слабо отражены в планах ближайшей *пятилетки, второстепенное положение занимают они и в появившихся уже трудах*.

*

Вопросы исторического развития отдельных языков в связи с развитием строя близко родственных языков *найдут отражение в двух дискуссиях*, планируемых украинским Институтом языковедения; одна из них (в 1958 г.) будет посвящена проблеме формирования языка украинской народности, другая (в 1960 г.) — вопросам взаимосвязи украинского языка с западнославянскими и южнославянскими языками. В Ар*мении над монографией* «Древнейший период истории армянского языка» работает Г. А. Капанцян; в процессе работы будут использованы данные малоазиатских языков — хурритского, урартского, хеттского, палайского, данные других индоевропейских, кавказских и семитических языков.

Исследование А. А. Мурвеляна охватывает развитие лексики армянского языка с древнейших времен в той ее части, которая связана с кавказскими

[1] «Studia slavica», adiuvantibus F. Baleczky, L. Hadrovics, red. St. Kniezsa, Budapest, Akadémiai Kiadó; выходит с 1955 г.

языками. В Узбекистане под руководством С. М. Муталибова готовится издание комментированного перевода на узбекский язык словаря Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-тюрк», который датируется XI веком и имеет исключительное значение для изучения истории тюркских языков. Переводом словаря Махмуда Кашгари на азербайджанский язык заняты языковеды Баку.

Топонимическая проблематика с давних пор успешно разрабатывается в Латвии. Под руководством Я. М. Эндзелина ежегодно проводились экспедиции по сбору топонимических названий Латвийской ССР. В результате долгого и упорного труда в 1956 г. опубликован первый том первой части этой коллективной работы, продолжающейся с 1946 г.; полностью работа будет закончена в ближайшие годы. Топонимикой левобережной Украины будут заняты в шестой пятилетке языковеды Института им. А. А. Потебни. В Казахстане в текущем пятилетии планируется исследование по вопросам казахской топонимики, в котором найдут свое место этимологии и лингвистический анализ топонимов. Само собой разумеется, что такая работа имеет значение не только для истории языка, но представляет также большой интерес для историков и географов. Абхазские лингвисты намерены изучать топонимику Гагрского района. Разработка литовской топонимики, осуществлявшаяся под руководством Ю. Ф. Бальчикониса, в настоящее время приостановлена, что особенно досадно, поскольку именно литовская топонимика, наряду с латышской, представляет также значительный интерес для топонимики восточных славян. Как явствует из сказанного, топонимические исследования нашли место лишь в четырех союзных академиях, между тем как в институтах других союзных республик им не уделяется должного внимания.

•

Приходится констатировать, что в работе союзных академий не занимает должного места сравнительно-историческое языкознание. Между тем именно сравнительно-историческое изучение родственных языков, их семей и групп должно быть одним из основных звеньев в системе такой науки, как языкознание. За прошлые годы в этой области сравнительно с общими итогами развития языкознания сделано очень мало. Кроме исследований в области индоевропейских языков, можно указать на опыт сравнительно-исторического изучения кавказских, тюркских и ближневосточных языков. Отставание особенно чувствуется в деле подготовки этимологических словарей. За последние сорок лет можно назвать единственный словарь подобного типа — «Историко-этимологический словарь осетинского языка» В. И. Абаева. Намечается в ближайшие годы подготовить, наконец, к изданию рукопись этимологического словаря славянских языков Г. А. Ильинского.

Проходившая в Москве в мае 1956 г. сессия Международного комитета славистов утвердила структуру IV Международного съезда славистов, его тематику и примерные вопросы. Это обязывает советских славистов к 1958 г. завершить ряд исследований, в том числе и по сравнительной грамматике славянских языков. Разработка тем этого круга осуществляется в Институте славяноведения АН СССР — под руководством С. Б. Бернштейна, в Институте языковедения АН УССР — под руководством Л. А. Булаховского. В Институте языковедения описанию отношения общеславянского вокализма к индоевропейскому посвящено исследование «Славянские чередования гласных», где подробно раскрывается механизм возникновения различных типов аблаута и критически рассматриваются различные теории индоевропейского вокализма. Началом подготовки труда по сравнительному синтаксису славянских языков является коллективная работа украинских славистов об организации сложного предложения в западнославянских языках; в шестой пятилетке намечено также подготовить монографии: «Введение в сравнительный синтаксис славянских языков», «Исследование в области грамматической индукции», «Словосложение в славянских языках», «Праславянский консонантизм».

Сравнительное изучение иранских языков ведется в Москве, Ленинграде и Сталинабаде. Иранисты Сталинабада, кроме таджикского языка, изучают язгулемский, наименее исследованный из группы памирских языков, и на основе собранных текстов намереваются дать грамматический очерк и словарь этого языка. Из завершенных ранее работ можно назвать «Ягнобский язык» М. Н. Боголюбова и «Ягнобские тексты и словарь» М. С. Андреева. Языковеды Таджикистана в содружестве с историками продолжат изучение и расшифровку архива столицы парфянского государства Нисы (I в. до н. э.). Изучение этого архива, содержащего около 1700 документов, имеет исключительное значение для сравнительной грамматики иранских языков, тем более, что письменные памятники этого периода до сих пор были совершенно неизвестны. Попутно надо сказать, что советская иранистика, имея значительные успехи в сравнительно-историческом изучении иранских языков, отстает в части изданий уникальных рукописей, находящихся в хранилищах Советского Союза.

Вопросы сравнительной фонетики ставятся в коллективном труде грузинских языковедов «Звуковые закономерности и звуковые соответствия в иберийско-кавказских

языках», который будет осуществлен под руководством К. В. Ломтатидзе в течение шестой пятилетки. Там же под руководством В. Т. Топурия коллектив научных работников составит «Сравнительную грамматику картвельских языков».

Изучение в сравнительном плане языков Кавказа ведется в Москве и Тбилиси. В планах Института языкознания АН СССР на текущее пятилетие намечены коллективные труды: «Исследование по сравнительной грамматике дагестанских языков», «Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков», а также составление сравнительной грамматики вейнахских (чечено-ингушских) языков. В грузинском языковедческом Институте под руководством А. С. Чикобава, возглавляющего разработку проблемы «Изучение структуры горских иберийско-кавказских языков», будут созданы сравнительные грамматики андийских, дидойских, вейнахских языков, даргинского и лакского языков, а также абхазо-адыгских языков. В Абхазском институте языка, литературы и истории будут созданы монографии об абхазо-мегрельских синтаксических параллелях, лексических встречах абхазского и грузинского языков и о взаимоотношениях картвельских языков с абхазским языком.

В Грузии успешно изучаются вопросы культурно-исторических связей иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии— шумерским, хеттским, урартским и хурритским. Эта проблематика находит отражение в работах Г. В. Церетели и его сотрудников. В работе Г. В. Церетели «К системе склонения в урартском языке» освещаются функции падежных окончаний и способы применения этих окончаний в именах существительных, прилагательных и числительных, а также устанавливаются аналогии с окончаниями глаголов. Лексика клинообразных урартских надписей VII в., наряду с эпиграфическими памятниками эпохи Ишпуини и Менуа, явилась предметом исследования В. А. Гвахариа, который в течение шестой пятилетки должен дать обобщающую работу по лексике урартского языка. Структурные вопросы урартского и хеттского языков также входят в план Грузинского Института языкознания на текущую пятилетку.

Сравнительно-историческое изучение тюркских языков сосредоточено главным образом в Институте языкознания АН СССР. В республиках работа в этой области не ведется.

По сравнительному изучению финно-угорских языков, кроме коллективной работы В. И. Лыткина и Б. А. Серебренникова «Сравнительно-историческая грамматика пермских языков», выполняемой в Институте языкознания АН СССР, следует указать на исследование П. А. Аристе «Падежи прямого объекта в эстонском и других прибалтийско-финских языках», которая заслуживает упоминания как первая работа по этой проблеме, выполненная Академией наук Эстонской ССР.

*

Исследования закономерностей развития фонетической, лексической и грамматической систем конкретных литературных языков, а также изучение вопросов нормализации современных литературных языков занимают значительное место в работе союзных академий.

В Институте языковедения АН УССР под руководством И. К. Белодеда подготавливается коллективный труд «Курс истории украинского литературного языка», в котором будут освещены вопросы формирования и исторического развития этого языка, его неразрывная историческая связь с русским языком, а также роль русского языка в развитии украинского. Украинские языковеды разрабатывают также темы: «Принципы редактирования языка произведений художественной литературы», «Язык сатирических персонажей в русской советской комедии» и «Суффиксальное словообразование имен существительных в памятниках русского языка XVI века». Наличие тем по русскому языку в плане Института им. А. А. Потебни заслуживает особого внимания, если учесть, что темы по украинскому языку Институтом языкознания АН СССР не разрабатываются. При широком участии преподавателей вузов подготавливается под руководством К. К. Целуйко «Историческая грамматика украинского языка».

В Институте языковедения им. А. А. Потебни заканчивается однотомный словарь языка Т. Г. Шевченко, который явится крупнейшим вкладом в украинскую речевую культуру и лингвистическую науку.

В разработке истории украинского литературного языка участвуют языковеды Львовского филиала АН УССР, которых возглавлял недавно скончавшийся И. С. Свенцицкий. На текущее пятилетие они взяли на себя подготовку тем: «Особенности литературного языка эпохи древней Руси и формирования украинской народности», «Редакции Галицко-Волынской летописи и их лексические и синтаксические особенности», «Вопрос словарного состава языка украинской народности XIV—XV вв.», «Язык украинских памятников XVI в.», «Процесс нормализации языка в западных областях УССР». Во Львове предполагается провести три дискуссии по вопросам развития и нормализации украинского литературного языка.

Языковеды Белоруссии сдали в печать «Очерки по исторической грамматике бело-

русского языка». Частью вышли в свет или сданы в печать труды Е. Ф. Карского под редакцией В. И. Борковского. В текущем пятилетии будет закончено исследование М. А. Жидович «Именное склонение в белорусском языке» и коллективная «Хрестоматия по истории белорусского языка». Объемистый «Исторический словарь белорусского языка», многолетний труд коллектива белорусских языковедов под руководством М. А. Жидович, явится ценным источником для специалистов по восточнославянским языкам.

В Академии наук Армянской ССР запланирована двухтомная «История армянского литературного языка». Две коллективные работы посвящены изучению языка и стиля, первая — армянских классических писателей (Раффи, Мурацан, Ширванзаде), а вторая — армянской поэзии и драматургии советского периода. Обе они являются как бы продолжением уже осуществленных работ по языку и стилю советской армянской прозы послевоенного периода (Р. О. Костанян) и армянской детской литературы (С. А. Багдасарян).

Коллектив азербайджанских лингвистов, кроме специальных монографий о лексике языка Физули и о языке сатиры Сабира, завершает исследование по истории азербайджанского литературного языка с начала XIX в. до советского периода. Сданы в печать материалы по исторической грамматике азербайджанского языка, подготовлены к опубликованию монографии: «Вопросы языка и стиля азербайджанской советской художественной литературы» и «Роль большевистской печати в развитии азербайджанского литературного языка».

В Грузинской ССР запланирована монография о языке грузинской художественной литературы XII в. и коллективная работа «Нормы современного грузинского литературного языка» под руководством И. М. Гигинейшвили. Подверглись монографическому обследованию язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и язык художественной прозы И. Чавчавадзе. Нельзя не отметить такие темы, как «Формирование грузинского литературного языка», при разработке которой будет дан анализ памятников грузинского языка с V в. по настоящее время, и «Развитие и обогащение грузинского литературного языка в период строительства социализма в нашей стране».

Эстонские языковеды завершили исследования о роли Ф. Р. Крейцвальда в формировании эстонского литературного языка и его орфографии, о развитии эстонского литературного языка в 1900—1917 гг. В ближайшее время будут завершены две работы: «О формировании национального литературного языка в связи с образованием эстонской нации» и «О диалектной основе современного эстонского языка».

В Литве под руководством Ю. Ф. Бальчиниониса должна быть закончена в 1956 г. работа на тему «Согласные современного литовского литературного языка». Это исследование основывается на экспериментальных данных фонетической лаборатории Ленинградского государственного университета. Под руководством И. Р. Круопаса разрабатывается коллективная тема «Обогащение лексики литовского литературного языка в годы советского строя».

В большом труде Ф. К. Камалова, посвященном современному узбекскому литературному языку, затрагиваются также вопросы формирования узбекского литературного языка, делается попытка наметить основные этапы в развитии этого языка, уделяется внимание роли русского языка в развитии и обогащении узбекского языка, а также описываются обусловленные историческим развитием языка изменения фонетической системы, словарного состава, изменения морфологической системы узбекского языка и процессы, ведущие к ее стабилизации, изменения некоторых типов синтаксических конструкций.

Казахские языковеды под руководством М. Б. Балакаева заканчивают систематический курс современного казахского литературного языка; языковеды Грузии намереваются к концу текущей пятилетки подготовить к изданию тексты древнегрузинского языка X в. Молдавские лингвисты в эту пятилетку закончат вторую часть курса современного молдавского литературного языка и под руководством Н. Г. Корлятяну составят сборник по вопросам периодизации и нормализации молдавского литературного языка[1].

*

Большое место в работах советских языковедческих научно-исследовательских учреждений занимают труды по описанию фонетического и грамматического строя языков и диалектов.

Белорусские языковеды подготовили курс современного белорусского языка. В шестой пятилетке будет написана первая часть («Морфология») «Описательной грам-

[1] Здесь следует упомянуть о совещании по вопросам развития молдавского литературного языка, которое состоялось в октябре 1955 г. в Кишиневе и в котором приняли участие языковеды Москвы, Киева, Черновиц (см. об этом ВЯ, 1956, № 2).

матики белорусского языка». Ведущаяся в республике с 1948 г. диалектологическая работа даст обширный, собранный в 1150 населенных пунктах материал для диалектологического атласа белорусского языка; атлас будет закончен в 1962 г. Монография «Система глагола в белорусских народных говорах и в литературном языке», подготовляемая под руководством Р. И. Аванесова, представит значительный интерес как для изучения восточнославянских языков, так и для сравнительной грамматики славянских языков; под руководством Р. И. Аванесова осуществляется также исследование о личных местоимениях в белорусских народных говорах.

В Украинской ССР в этой пятилетке разрабатываются план-проспект подготовки к изданию памятников украинского языка и, кроме того, исследование его этимологического состава, сборник по вопросам синтаксиса украинского языка и культуры речи. Диалектологи под руководством Ф. Т. Жилко подготовят атлас среднеднепровских и северных говоров украинского языка; для осуществления связи между диалектологами и координирования их работы в 1958 и 1960 гг. будут проведены диалектологические совещания (первое из них состоялось в 1956 г.). К настоящему времени описаны говоры Черниговщины, Киевщины, Переяслав-Хмельницкого района и др. Надо отметить, что в АН УССР под руководством Л. А. Булаховского будут разрабатываться темы «Вопросы грамматической индукции в русском языке XVI и последующих веков» и «Суффиксальное словообразование имен существительных в памятниках русского языка XVI века». Будет завершена также тема по истории заднеязычных в украинском языке.

В Латвийской республике в 1956 г. под руководством Я. М. Эндзелина подготовлен к печати первый том грамматики современного латышского литературного языка. В 1958 г. языковеды Латвии намерены закончить первый том диалектологического атласа. Подготовлены два сборника статей по диалектологии (см. Труды Института языка и литературы за 1955 и 1956 гг.). Следует упомянуть работу Т. Г. Порите о порядке слов в простом предложении современного латышского языка.

Литовскими лингвистами подготовлена к изданию «Grammatica lituanica» (1653 г.), начата расшифровка литовского перевода библии И. Бреткуная (1575—1590 гг.) и запланирована работа над польско-латинско-литовским словарем XVII в. К. Ширвидаса «Dictionarium trium linguarum». Под руководством Ю. Ф. Бальчикониса, К. М. Ульвидаса и И. И. Палиониса готовится грамматика современного литовского литературного языка. Под руководством Б. А. Ларина разрабатываются две темы частного характера — «Об употреблении местоименных форм имен прилагательных в современном литовском языке» и «О функциях глагольных приставок в современном литовском языке»; последняя тема ставит целью исследование семантических функций глагольных приставок, попутно будет освещен вопрос о способе выражения глагольных видов и о том, в какой степени глагольный вид находит свое выражение в глагольных приставках. По диалектологии в шестой пятилетке будут продолжены работы по атласу и подготовлены очерки по юго-западным аукштайтским диалектам (капсов и занавинов).

Эстонскими языковедами до 1956 г. осуществлены работы: «Номинативное и генитивное словосложение имен существительных в эстонском языке», «Пересказочное наклонение в современном эстонском литературном языке». На текущую пятилетку запланирован «Синтаксис эстонского языка» (руковод. А. Х. Каск). По диалектологии составлены монографии: «Отражение русско-эстонских отношений в лексике южноэстонских диалектов», «Средне-северные говоры эстонского языка». Намечено издать избранные тексты говоров, разработать тему «Глагольные словообразовательные суффиксы в эстонских диалектах», подготовить атлас эстонских говоров. Коллектив эстонских языковедов под руководством А. Я. Универе предполагает к концу текущей пятилетки завершить исследование по синтаксису средне-северных говоров эстонского языка.

Языковеды Казахстана запланировали на шестую пятилетку составление грамматики казахского языка под руководством М. Б. Балакаева. Х. Х. Махмудов и К. М. Сайкиев должны к 1961 г. завершить сопоставительную грамматику русского и казахского языков. К 1959 г. намечено подготовить большой орфографический словарь казахского языка. По истории языка будут разработаны 2 темы: «Образование языка казахской народности» и «История становления и развития казахского языка». К этому же времени будут закончены описания говоров Южно-Казахстанской, Семипалатинской и Западно-Казахстанской областей. Завершены к настоящему времени работы: «Систематический курс современного казахского языка», «Суффиксальное образование глаголов в современном казахском языке», «Вопросы изучения русского и казахского языков».

Языковеды Киргизии намечают исследовать в этой пятилетке язык памятников енисейской письменности V—VIII вв., в области изучения современного киргизского языка — вопросы грамматики: категорию вида и наклонения, систему залогов, служебные слова; в области диалектологии предполагается составить описание джалал-абадских говоров, а также описать говоры киргизского языка Чуйской долины, Тяньшанской области и районов, не входящих в состав Киргизской ССР.

В Таджикской ССР будет издана первая часть «Грамматики современного таджикского языка» («Фонетика», «Морфология») и составлена ее вторая часть — «Синтаксис».

Созданы работы по диалектологии Канибадама, Чуста, Варзоба, Куляба. После изучения матчинских говоров, говоров Дарваза, Каратеноса и района р. Зеравшана, а также таджикских говоров Самаркандской и Бухарской областей Узбекской ССР таджикские языковеды предполагают приступить к составлению диалектологического атласа.

Языковеды Туркменской ССР должны написать ряд разделов грамматики, а именно — разделы, посвященные имени числительному, местоимению, категории наречия, глаголу, синтаксису простого предложения и др., а также «Очерки истории туркменского языка VIII—XVII вв.». Под руководством М. Я. Хамзаева должны быть изучены западные говоры йомудского диалекта туркменского языка.

В Узбекской ССР под руководством В. В. Решетова в шестой пятилетке будет выполнен коллективный труд «Диалекты узбекского языка и их место в современном литературном языке», в котором найдут освещение вопросы об опорных говорах, о диалектной основе узбекского национального языка, о классификации говоров и об отношениях узбекского литературного языка с джекающими и огузскими говорами. Будет написана монография «Словосочетание в современном узбекском языке». Закончены работы «Профессиональная лексика узбекского языка ферганских говоров» и «Современный узбекский язык» (ч. I, II). В виде брошюр изданы отдельные главы синтаксиса; выпущены в свет также брошюры, посвященные вопросам фразеологии, пунктуации, орфографии.

В Азербайджанской ССР в течение шестой пятилетки будет составлен синтаксис диалектов и говоров азербайджанского языка, запланированы исследования по темам: «Диалекты и говоры западной группы азербайджанского языка (казахский, акстафинский, таузский)», «Особенности диалектов и говоров Нахичеванской группы», а также грамматика азербайджанского языка (ч. I — «Морфология» будет закончена в 1957 г., ч. II — «Синтаксис»— в 1962 г.) и его фонетика. Закончены уже работы Р. А. Рустамова-А. Г. Велиева по диалектологии, А. М. Джавадова о безличном предложении в современном азербайджанском языке, Г. А. Байрамова о сложносочиненном предложении, Ш. Саадиева «Очерки грамматики крызского языка», «Ханутский диалект крызского языка».

В Армении в шестой пятилетке намечено продолжить изучение диалектов армянского языка: будут обследованы араратский, шабин-гарансарский, карчеванский диалекты и подготовлена коллективная работа по армянским диалектам под руководством А. С. Гарибяна. В 1957 г. предполагается завершить монографическое исследование по синтаксису армянского языка, а к 1960 г.— нормативную грамматику современного языка. К ранее опубликованным по теме «Научная грамматика современного армянского языка» разделам фонетики и словообразования в настоящее время присоединяется раздел морфологии, законченный в 1955 г. Наряду с такой темой, как «Формирование армянского национального языка», закончены исследования: «Употребление современных армянских падежей и падежных связей», «Фонетика современного армянского языка» и «Мушский диалект». Заслуживают внимания разрабатываемые темы: «Имена и склонения в современном армянском языке»,«Функции глагольных категорий в синтаксисе современного армянского языка», «Сложное и простое предложение».

Грузинские языковеды в шестой пятилетке будут работать над созданием грамматики грузинского языка (фонетика, морфология, синтаксис), а также над следующими темами: состав и виды простого предложения в древнегрузинском языке, джавахско-месхский диалект грузинского языка, рачейский и горский диалекты грузинского языка, сванский язык, а также каратинский и табасаранский языки. Заслуживают внимания темы по языкам Ближнего Востока (среднеазиатские арабские диалекты, структура арабского корня, основные вопросы фонетики современных арабских диалектов, ударение в арабском языке, современные ассирийские диалекты, восточноанатолийский диалект турецкого языка), которые разрабатываются здесь под руководством Г. В. Церетели.

Завершена работа над темами: «Грамматический анализ андийского языка (соответственно — тиндийского, гинухского и табасаранского языков)», «Образование отглагольных имен в современных ассирийских диалектах» и «Очерки сравнительной фонетики современных ассирийских диалектов» (К. Г. Церетели), «Капучинско-гунзинский язык» (Э. А. Ломтадзе), «Кахетинский диалект грузинского языка» (А. Г. Мартиросова и Г. М. Имнайшвили).

Абхазские лингвисты планируют исследования по темам: имя существительное и имя прилагательное в абхазском языке, глагол в абжуйском диалекте абхазского языка, возникновение и развитие абхазской письменности, грамматика абхазского языка в гальский говор абхазского языка.Завершена разработка темы «Словарный состав бзыбского диалекта абхазского языка» (Х. С. Бгажба).

В филиалах АН СССР в шестой пятилетке намечается разработка следующих тем: а) в Башкирском филиале — синтаксис сложного предложения, башкирская диалектология (особенности восточного и южного диалектов башкирского языка); б) в Дагестанском филиале — сравнительное исследование лакских диалектов, диалекты лезгинского языка, диалекты даргинского языка, синтаксис лакского языка; в) в Казанском филиале — очерки по историческому синтаксису татарского языка, подготовка атласа

среднего диалекта татарского языка; г) в Коми филиале — учебник по синтаксису коми языка, подготовка сборника диалектных текстов; д) в Карельском филиале — исследования по карельскому, вепсскому, саамскому и ингерманландскому языкам (сюда войдут исследования внешнеместных и внутриместных падежей, морфологии ловозерского говора, истории развития лексики вепсского языка), составление и издание сборников диалектных текстов; е) в Молдавском филиале — монография «Современный молдавский язык с элементами его истории и диалектологии» (ч. II — Синтаксис); вопросы фонетики и лексики молдавских диалектов, атлас молдавских диалектов; ж) в Якутском филиале — основные грамматические категории глагола, первичные аффиксы непродуктивных имен в якутском языке, говоры якутского языка, основные вопросы литературного произношения, диалекты и говоры эвенов Якутской АССР.

•

Важное место в языкознании занимают вопросы описательной и исторической лексикологии и общей теории лексикографии. Без исчерпывающего и систематического научного описания лексического состава отдельных языков как части системы данного языка нельзя заложить основы лексикологии. Более быстрый темп развития лексики по сравнению с развитием грамматики и звукового состава языка придает исключительную важность исторической лексикологии.

Из работ по общим вопросам лексики надо указать на исследования А. М. Демирчизаде «О развитии словарного состава азербайджанского языка» и А. Асланова «Обогащение словарного состава азербайджанского языка в советский период». В этой области можно отметить и труды, законченные армянскими лингвистами: «Словарный состав армянского языка» А. А. Мурваляна и «Современный армянский язык и роль русского языка в обогащении и развитии армянского языка» С. К. Казаряна.

Успешно осуществляется в некоторых институтах союзных академий издание толковых словарей.

В Белоруссии в этой пятилетке запланировано продолжение работы по толковому словарю белорусского литературного языка, который имеет также значение для общего славяноведения: будет закончено расписывание карточек, подготовлена инструкция для составления словаря и начата разработка примерных словарных статей.

В пятилетний план лингвистов Киева включен десятитомный толковый словарь украинского языка; его подготовка и издание потребует много времени и труда; в 1957 г. предполагается обсудить проспект этого начинания.

В шестой пятилетке намечено сдать в печать первый том словаря современного латышского языка под руководством Я. М. Эндзелина. Под его же руководством в 1958 г. начнется работа над полным словарем латышского языка, который будет собранием лексического и фразеологического богатства этого языка; словарь намереваются завершить в 1970 г.

Литовские лексикографы издали в 1954 г. однотомный толковый словарь литовского языка. В этой пятилетке продолжается работа по словарю литовского языка: III и IV тома должны выйти из печати, а V и VI тома намечено закончить составлением и редактированием. Приставочные и бесприставочные глаголы, образование устойчивых словосочетаний и последовательность подачи их в словаре и другие неразрешенные еще вопросы (например, правила транслитерации непереводимых литовских слов средствами русской графики) вызывают трудности в работе литовских языковедов. Представляемые отраслевыми институтами термины рассматривает терминологическая комиссия, которая учреждена при Институте литовского языка и литературы.

В Эстонии под руководством А. Я. Универе в секторе диалектологии продолжается составление картотеки, которая явится базой для нормативного словаря эстонского народного языка. Из общего объема картотеки (около миллиона карточек) собрано 600 тысяч. Коллектив настойчиво совершенствует и продолжает свой многолетний труд. В 1953 г. был издан малый нормативный орфографический словарь эстонского языка с орфоэпическими указаниями и элементами толкований. В течение пятилетки выйдут из печати большой нормативный словарь и второе издание малого словаря, а также начнутся подготовительные работы по составлению толкового словаря.

Снабженный теоретическим обоснованием четырехтомный толковый словарь азербайджанского языка будет подготовлен коллективом языковедов Баку. По плану в словарь должна войти лексика литературного азербайджанского языка, книжного и разговорного.

В течение шестой пятилетки в Академии наук Армянской ССР будут закончены два первых тома толкового словаря современного армянского языка.

Грузинскими языковедами под руководством А. С. Чикобава осуществляется многолетний объемистый труд — словарь современного литературного грузинского языка. Все восемь томов словаря должны быть закончены к 1960 г. Этим же коллективом будет выпущен в свет однотомный словарь грузинского литературного языка для широкого пользования.

Под руководством С. К. Кенесбаева в шестой пятилетке будет закончен двухтомный толковый словарь казахского языка, а также будет продолжена работа над многотомным толковым словарем (к 1960 г. должна быть составлена картотека численностью в 1 млн. карточек). Среди других работ по лексикологии надо отметить завершенные к настоящему времени «Материалы к словарю областной лексики казахского языка».

В начале будущей пятилетки завершится работа по составлению толковых словарей киргизского, таджикского, туркменского, узбекского и *татарского языков*.

Якутский филиал АН СССР подготовил толковый словарь терминов и заимствованных слов в якутском языке.

Благодаря настойчивой работе Издательства иностранных и национальных словарей выпущен целый ряд двуязычных словарей. В Белоруссии издан русско-белорусский словарь, в 1959 г. будет закончен под руководством К. К. Атраховича белорусско-русский словарь. В Украинской ССР запланировано новое, переработанное и дополненное издание «Русско-украинского словаря» и окончание 4-томного украинско-русского словаря, второй том которого будет обсуждаться в 1957 г. Кроме того, в 1959 г. будет издан однотомный русско-украинский словарь для широкого пользования. Постановление ЦК КП Украины «О подготовке и издании словарей» от 22/VII 1955 г. и специальное решение Бюро Президиума АН Украинской ССР от 22/VIII 1955 г. свидетельствуют о том большом значении, которое придается лексикографической работе на Украине. В 1956 г. завершено издание пятитомного русско-узбекского словаря под общей редакцией М. Т. Айбека и А. К. Боровкова. Азербайджанские лексикографы уже закончили составление двухтомного русско-азербайджанского словаря. Языковеды Армении в течение этой пятилетки завершат издание четырехтомного русско-*армянского и армянско-русского словарей*. Среди законченных работ следует назвать два многоязычных словаря, составленных Р.Ф. Абрамяном: «Пехлевийско-персидско-армяно-русско-английский пятиязычный словарь» и «Персидско-армяно-русский трехязычный словарь».

В Грузии составлен бацбийско-русско-грузинский словарь и запланировано составление свано-грузино-русского словаря. Со значительным опозданием по сравнению с другими республиками, в 1956 г. выйдет из печати второй том двухтомного русско-грузинского словаря под руководством К. В. Ломтатидзе. В Абхазии готовятся абхазо-русский и русско-абхазский словари.

В шестой пятилетке будут подготовлены также: в Казахстане — первый том четырехтомного русско-казахского словаря (под руководством Г.Г. Мусабаева); в Киргизии — полный русско-киргизский словарь (под руководством К. К. Юдахина) и *школьные* русско-дунганский и дунгано-русский словари; в Таджикистане — большой русско-таджикский словарь (по типу русско-таджикского, ранее выпущенного в Издательстве национальных словарей); в Туркмении — русско-туркменский словарь (под общей редакцией Н. А. Баскакова и М. Я. Хамзаева); в Узбекистане — однотомный узбекско-русский словарь (под руководством В. В. Решетова); в Башкирии — башкирско-русский и *русско-башкирский словари*; в Дагестане — лезгино-русский, аварско-русский и кумыкско-русский словари; в Коми АССР — русско-коми словарь; в Татарской АССР — четырехтомный русско-татарский и однотомный татарско-русский словари (60 тыс. слов); в Молдавии завершается подготовка молдавско-русского словаря.

Терминологическая работа нашла свое выражение в издании терминологических словарей. В Белоруссии под руководством М. Р. Судника разрабатывается словарь терминов обществоведческих наук. Составление картотеки численностью в 40—50 тыс. слов, изучение структуры терминов, их систематизация — таковы предварительные этапы этой важной работы. В Украинской ССР выйдут в шестой пятилетке словари технической и сельскохозяйственной терминологии; находится в печати «Словарь грамматической терминологии». Достигнуты *известные успехи в разработке* литовской терминологии: в 1954 г. издан юридический терминологический словарь, в настоящее время сданы в печать словари терминов по геологии и физической географии, подготавливаются терминологические словари по химии, элементарной математике и экономическим наукам. В Эстонии в 1955 г. издан словарь политических и экономических терминов, содержащий около 13 тыс. терминов. В Азербайджане *изданы терминологические* словари по литературоведению и языкознанию. В Грузии под руководством Р. Б. Гамбашидзе будет разработана терминология по механизации сельского хозяйства, философии, архитектуре, языкознанию и литературоведению. Намечено также издание орфографического словаря грузинского языка и разработано руководство по правописанию для работников издательств и редакций. В Абхазии намечены и осуществляются абхазо-грузинско-русские словари по пчеловодству и народной медицине под руководством Б. П. Джанашиа. Под руководством М. Б. Балакаева в Казахстане к 1960 г. будет разработана терминология по биологии, медицине, астрономии, математике, технике, горному делу, юридической и другим общественным наукам. В 1954 г. Т. Джанузаков закончил краткий нормативный русско-казахский словарь лингвистических терминов. В Таджикской ССР будут составлены терминологические словари по физике, химии, *математике, юридическим* наукам. Два русско-таджикских

терминологических словаря — по лингвистике и по хлопководству — были подготовлены по плану 1954 г. В Туркмении завершены русско-туркменский словарь строительных терминов и латинско-русско-туркменский словарь медицинских терминов, изданы терминологические словари по химии и географии. Узбекские языковеды должны сдать в этой пятилетке «Словарь лингвистических терминов», в приложении к которому дается перечень языков мира (свыше 1000 названий). В этом словаре будет учтена лингвистическая терминология начиная с времен М. В. Ломоносова вплоть до наших дней.

Во Львове запланировано составление краткого словаря украинских синонимов. Для решения спорных вопросов львовские языковеды намерены провести в 1959 г. дискуссию о закономерности изменения семантики слов. В Армянской ССР в 1957—1960 гг. также должен быть подготовлен словарь синонимов. В те же сроки в Казахской республике намечена систематизация литературных источников, использованных при разработке коллективной темы «Материалы синонимического словаря». В шестой пятилетке в Таджикской АН под руководством Е. Э. Бертельса выполняется работа «Развитие таджикской лексикографии XI—XVI вв.».

*

Приведенный выше материал не исчерпывает полностью круг тем по языкознанию, которые исполнены или запланированы языковедческими институтами. Тем не менее ознакомление с работой научно-исследовательских институтов союзных академий и филиалов АН СССР позволяет утверждать, что лингвистические исследования все еще не в полной мере связаны с разработкой основных теоретических вопросов и преимущественно ограничиваются решением учебно-педагогических, практических задач.

Немалым препятствием в развитии языковедческой науки является недостаточная оснащенность и отсутствие оперативности в работе полиграфических предприятий и местных издательств. Все еще задерживает издание важных трудов прохождение готовых рукописей через многочисленные административные и редакционные инстанции. В ряде АН союзных республик назрел вопрос об издании журналов по языкознанию.

Не полезно ли было бы организовать общества по изучению родного языка с обширной корреспондентской сетью, как это имеет место в Прибалтике?

Д. Е. Михальчи

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

I

Очередное координационное совещание по лексикографическим проблемам, проходившее в Институте языкознания АН СССР с 19 по 21 июня 1956 г., было посвящено, в основном, обсуждению двуязычных словарей.

В работе совещания, помимо научных сотрудников Института языкознания АН СССР, приняли участие представители академий наук большинства союзных республик и филиалов АН СССР, представители научно-исследовательских институтов языка и литературы автономных республик РСФСР, работники издательств и высших учебных заведений Москвы и Ленинграда. На совещании были заслушаны и обсуждены доклады ст. научн. сотр. Института языкознания О. С. Ахмановой «О природе языкового значения», члена-корр. Арм. ССР А. С. Гарибяна «Принципы составления четырехтомного русско-армянского словаря», члена-корр. АН Туркм. ССР З. Б. Мухаммедовой «Основные особенности работы над однотомным русско-туркменским словарем», ст. научн. сотр. АН Каз. ССР Х. Махмудова и Г. Мусабаева «Принципы составления казахско-русского словаря», ст. научн. сотр. АН УССР В. С. Ильина «Перспективы работы над словарями в Институте языковедения АН УССР», информации главного редактора Государственного издательства иностранных и национальных словарей К. А. Марцишевской «О пятилетнем плане Государственного издательства иностранных и национальных словарей» и редактора того же издательства И. С. Рабиновича «Современная индийская лексикография».

Обсуждению проблем, связанных с составлением двуязычных (русско-национальных и национально-русских) словарей предшествовал вступительный доклад О. С. Ахмановой «О природе языкового значения». Не выдвигая даже частич-

ного решения затронутых в докладе проблем и опираясь на различные точки зрения как, в основном, зарубежных языковедов последнего времени, так и наших отечественных лингвистов, О. С. Ахманова поставила своей задачей бегло осветить весь комплекс наиболее важных вопросов, связанных с природой языкового значения. Сюда вошли вопросы соотношения значения и языковой единицы, отношения между понятием и значением слова, соотношения языковых и психологических единиц, вопрос о грамматическом значении слова. В заключительной части своего сообщения О. С. Ахманова остановилась на способах определения значения слова в разных школах буржуазного языкознания (методы «семантического дифференциала», «семантического поля» и др.).

Выступившие в прениях действ. член АН Груз. ССР А. С. Чикобава, доктор филол. наук Н. С. Поспелов и канд. филол. наук А. С. Бабкин приветствовали факт постановки теоретического доклада, а в самом докладе ту часть его, где О. С. Ахманова информировала о новых приемах исследования языка в зарубежном языкознании. Однако и А. С. Чикобава, и Н. С. Поспелов указали на отсутствие в докладе позитивных положений и на неясность отношения автора к сообщаемым им фактам. Указывая на неточность термина «традиционное языкознание», примененного в докладе, А. С. Чикобава отстаивал значение сравнительно-исторического метода изучения языка на современном этапе развития языкознания.

Доклады, посвященные составлению двуязычных словарей, а также доклад В. С. Ильина «Перспективы работы над словарями в Институте языковедения АН УССР» носили, в основном, информационный характер. Материал докладов показал, что республиканские институты не всегда имеют условия, необходимые для выполнения поставленных перед ними задач (Институт языковедения АН УССР, Институт языка АН Арм. ССР и др.). Основными трудностями являются, во-первых, отсутствие должного количества штатных единиц для укомплектования словарных секторов специальными кадрами, во-вторых, отсутствие систематической помощи со стороны опытных специалистов по русскому языку и, в-третьих, недостаточно квалифицированное собирание лексики, составляющее первый и важнейший этап в подготовке национально-русских словарей (ИЯЛ АН Каз. ССР).

Перед составителями двуязычных словарей встают зачастую одни и те же проблемы и трудности. К таковым можно отнести: принципы отбора слов для двуязычных словарей разного типа, перевод русских фразеологических единиц в русско-национальном словаре, постановка стилистических помет в русско-национальных и национально-русских словарях, перевод относительных прилагательных в русско-национальных словарях, передача видов русского глагола и др. Все эти вопросы, а также и некоторые другие, были подвергнуты широкому обсуждению в прениях. В прениях приняли активное участие: О. С. Ахманова, А. М. Бабкин, Т. Г. Баишев, А. Т. Борщ, Т. Г. Брянцева, Р. С. Газизов, А. С. Гарибян, А. П. Евгеньева, Т. В. Зайцева, М. В. Лазова, Х. Лемхенас, А. Б. Лоховиц, И. Ф. Мовчан, З. Б. Мухаммедова, Э. Ю. Нурм, С. И. Ожегов, Н. А. Сыромятников, К. М. Черемисов, А. С. Чикобава.

Прения по вопросам двуязычных словарей открылись обсуждением словника в русско-национальных словарях разного типа. В своем докладе А. С. Гарибян поставил вопрос о необходимости создания русскими лексикографами единого словника для русско-национальных словарей, что, несомненно, облегчило бы работу словарников в национальных республиках. Это мнение было поддержано и в выступлениях других товарищей (З. Б. Мухаммедовой, Х. Лемхенаса). Против него выступил доц. А. Т. Борщ. По его мнению, подобный словник обезличил бы словари различных национальных республик, сковал бы инициативу лексикографов на местах. В каждой национальной республике имеется ряд часто употребляемых русских слов, которые не получили широкого распространения в общенациональном русском литературном языке (например, в Молдавии — названия сортов винограда, сортов вин, топонимы и т. п.). Отобрать подобные слова в словарь могут лишь лексикографы данных мест. С мнением А. Т. Борща согласились С. И. Ожегов, А. Б. Лоховиц, А. П. Евгеньева, прибавив при этом, что составители русско-национальных словарей должны создавать у себя на местах также картотеку словаря русских писателей. О необходимости создания такой картотеки говорила и О. С. Ахманова.

Интересные наблюдения по вопросу перевода русской фразеологии на туркменский язык были сделаны З. Б. Мухаммедовой в докладе, насыщенном богатым фактическим материалом[1]. Очень часто русские идиомы при переводе на другой язык теряют свою образность ввиду того, что самый источник возникновения их в национальном языке отсутствует. Поэтому составители русско-туркменского словаря при переводе идиоматичных выражений вынуждены либо подбирать адекватный образ в туркменском языке (*дышать на ладан— демини санап ятмак*, т. е. буквально: «лежать, считая дыхание свое»), либо давать смысловой перевод их (по смыслу переведены: *бить баклуши*, *остаться на бобах*, *из огня да в полымя* и др.).

[1] Отдельные вопросы этого доклада были затронуты в статье З. Б. Мухаммедовой «Из наблюдений над составлением русско-туркменского словаря» (ВЯ, 1954, № 2).

Недостатком перевода русских слов и фразеологических сочетаний на национальные языки была посвящена большая часть выступления редактора Словарного издательства М. В. Лазовой. Ошибки, которые встречаются в рукописях русско-национальных словарей, поступающих в издательство, объясняются тем, что составители словарей либо недостаточно хорошо знают русский язык, либо небрежно относятся к своей работе. Так, в рукописях встречались переводы: *барчук* «сын барса», *бабье лето* «лето бабы» (русско-туркменский словарь); *львиная доля* «часть льва», *задать баню* «помыть кого-нибудь в бане», *смазливая девчонка* «грязная девчонка» (русско-казахский словарь).

Работе над национально-русским словарем был посвящен доклад Х. Махмудова и Г. Мусабаева (прочитан Г. Г. Мусабаевым) о большом казахско-русском словаре. Постановка данного доклада была очень своевременна, так как во многих национальных республиках приступили к созданию национально-русских словарей. Известно, что эта работа, методы которой еще недостаточно разработаны, представляет собой уже более высокий этап в лексикографической практике по сравнению с работой над русско-национальными словарями. В основу большого казахско-русского словаря (100 тыс. слов), как говорится в докладе, положена лексика произведений дореволюционных и современных казахских писателей, а также данные устного народного творчества. В своей лексикографической работе составители словаря опираются на малый казахско-русский словарь (18 тыс. слов)[1] и на различные казахско-русские и русско-казахские справочники.

К сожалению, многие вопросы этой сложной лексикографической работы так и остались не освещенными в докладе. В частности, не затронут первоначальный и важный этап этой работы — отбор лексики из общенационального языка (об этом и о других недостатках доклада очень убедительно говорили в прениях Т. Г. Брянцева и Р. С. Газизов).

С большим вниманием и интересом был заслушан доклад В. С. Ильина о перспективном плане работы Словарного отдела Института языковедения АН УССР. Хотя объем работы Словарного отдела Института очень велик (заканчивается редактирование 2-го, 3-го, 4-го томов украинско-русского словаря, составляется однотомный украинско-русский словарь, создаются специальные русско-украинские терминологические словари — технический и сельскохозяйственный, продолжается работа над «Словарем Т. Г. Шевченко», ведутся подготовительные работы для составления толкового словаря украинского языка), состояние словарной работы в целом еще не соответствует все возрастающим культурным потребностям населения. Именно этим и было вызвано постановление ЦК компартии Украины от 29 июля 1955 г., определившее основные задачи Словарного отдела Института языковедения АН УССР на шестую пятилетку.

Выступавшие в прениях по докладу (А. П. Евгеньева, Ф. П. Филин, А. М. Бабкин, З. Б. Мухаммедова, Н. А. Сыромятников, К. М. Черемисов) особенно приветствовали начавшуюся работу над составлением толкового словаря украинского языка. Активное обсуждение вызвало сообщение В. С. Ильина о работе по созданию в Институте языковедения АН УССР терминологических словарей. А. П. Евгеньева и Ф. П. Филин выступили против идеи составления терминологических словарей в рамках языковедческих институтов. Создание терминологических словарей по различным специальностям — дело, выходящее за пределы компетенции даже самого культурного языковеда, поэтому для осуществления этой работы и создан специальный Комитет технической терминологии АН СССР. В защиту возможности создания терминологических словарей в языковедческих институтах выступили переводчик И. Ф. Мовчан, ст. научн. сотр. АН Эст. ССР Э. Ю. Нурм, проф. А. С. Чикобава, подчеркнувшие, что участие языковедов-лексикографов особенно необходимо при составлении переводных терминологических словарей.

На заключительном заседании были заслушаны информации К. А. Марцишевской «О пятилетнем плане Государственного издательства иностранных и национальных словарей» и И. С. Рабиновича «Современная индийская лексикография».

И. С. Рабинович информировал собравшихся о лексикографической работе в Индии, остановившись подробно на трудах видного индийского лексикографа Рамчандры Вармы. Лексикографическая традиция хиндустани продолжается свыше ста *пятидесяти лет*. Существуют словари, охватывающие лексику языка во всем ее объеме, т. е. словари, включающие в свой состав устно-разговорную, письменно-книжную лексику, характерную для двух его литературных форм (хинди и урду). В начале XX в. группа ученых, в числе которых находился и Рамчандра Варма, приступила к созданию первого большого толкового словаря хинди. Подготовка и выпуск этого словаря потребовали почти 25 лет напряженной работы. Этот словарь «Hindi shabda sagara»

[1] Х. Махмудов и Г. Мусабаев, Казахско-русский словарь, Алма-Ата, 1954.

(«Океан слов хинди») сохраняет все свое значение и по сей день. Достижение Индией независимости и провозглашение хинди государственным языком значительно оживило лексикографическую работу индийских языковедов и поставило перед ними новые очень серьезные задачи. Количество словарей хинди, вышедших за последние десять лет, превышает всю лексикографическую продукцию за целое столетие.

И. С. Рабинович подробно характеризует новую работу Рамчандры Вамры о составленных им макетах пяти типов словарей хинди[1]. Рамчандра Варма считает, что лексикографы хинди должны сосредоточить свои усилия на подготовке следующих словарей: толковых — краткого (30 тыс. слов) и полного (на 100 тыс. слов), словаря синонимов (на 5 тыс. слов), англо-хинди и хинди-английского (на 50 тыс. слов). Краткий словарь, по мысли Вармы, должен быть нормативным, так как все без исключения предшествующие словари хинди включают в свой состав значительное количество диалектизмов, историзмов, слов, употребляющихся в классической поэзии хинди, и т. п. Как полагает автор, выпуск краткого нормативного словаря хинди поможет развитию лексики и, в частности, становлению новой терминологии в других языках Индии. Второй словарь (полный) должен явиться значительно переработанным и дополненным изданием словаря «Океан слов хинди». В словарь будет включено несколько десятков тысяч новых слов. Словарь синонимов имеет для хинди в настоящее время гораздо большее значение, чем, например, для европейских языков, так как в связи со значительным расширением сферы применения хинди значителен и процесс словотворчества в сфере синонимики. При обилии синонимов, особенно в области терминологической, словарь явится важной вехой лексикографии хинди. Значение двуязычных словарей англо-хинди и хинди-английского не требует особого разъяснения.

В итоге совещания была принята резолюция и намечены сроки и повестка дня очередного координационного совещания. В резолюции говорится о необходимости более эффективной помощи составителям двуязычных словарей со стороны русских лексикографов. В частности, необходимо развернуть работу над русскими словниками для национальных словарей разного объема, популяризировать опыт подготовки словника для национально-русского и толкового словаря, имеющийся уже в отдельных республиках. Резолюция обращает особое внимание на отставание в разработке теории лексикографии, в связи с чем совещание обязало редколлегию «Лексикографического сборника» обеспечить квалифицированное освещение этих вопросов в сборнике.

Т. С. Коготкова

II

22 июня 1956 г. в Ленинграде на заседании лексикографической секции Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялось обсуждение книги А. А. Реформатского «Введение в языкознание».

Заседание открыл зам. директора Института доктор филол. наук В. А. Аврорин. В кратком вступительном слове старш. научн. сотр. Института А. А. Реформатский рассказал об истории создания книги, в которой автор обобщил свой многолетний опыт преподавания соответствующего курса в различных вузах Москвы, и отметил, что при подготовке нового издания существенной переработке должны будут подвергнуться в первую очередь вводная и заключительная главы книги, а также глава о классификации языков, содержащая особенно большое количество ошибок и опечаток.

В обсуждении книги приняли участие канд. филол. наук М. И. Матусевич (ЛГУ), доктора филол. наук Ф. П. Филин, К. А. Тимофеев, А. В. Десницкая и В. А. Аврорин, кандидаты филол. наук Г. А. Меновщиков, А. М. Щербак, О. П. Суник и Л. С. Ковтун (Ин-т языкознания АН СССР), Л. В. Малаховский (Ленингр. гос. пед. ин-т).

Выступившая первой М. И. Матусевич высказала в общей форме свое несогласие со «структуралистской» точкой зрения автора в области фонологии и далее критиковала главу «Фонетика», оценив ее как самый неудачный раздел книги. По мнению М. И. Матусевич, никак нельзя согласиться с использованием в книге «устаревшей уже теории В. А. Богородицкого» о согласных как ртосмыкателях и гласных как ртораскрывателях, а также с делением согласных по способу образования только на две группы (фрикативные и смычные), с отнесением звуков *л* и *р* к группе смычных согласных, с утверждениями автора относительно того, что при образовании гласных переднего ряда действует передняя часть языка (а не средняя часть его спинки) и что при произнесении гласных кончик языка не играет никакой роли. Отметив, что в главе ничего не говорится о дифтонгоидах и что много замечаний вызывают помещенные в ней таблицы гласных и согласных, М. И. Матусевич подвергла критике также непоследовательность применяемой автором транскрипции и высказала пожелание, чтобы параграфы «Классификация звуков речи», «Согласные» и «Гласные» были переработаны при переиздании

[1] Рамчандра Варма, Хиндӣ кош-рачнā (Лексикография хинди), Бенарес, 1954 (г. 2011 эры самват).

книги и чтобы при этом в ней нашло более полное отражение учение Л. В. Щербы по фонетическим вопросам.

Взявший затем слово Ф. П. Филин подчеркнул, что обсуждаемая книга в целом выгодно отличается от учебника по «Введению в языкознание» А. С. Чикобава, где особенно сильно, по его мнению, обнаруживается влияние культа личности. Отметив, что книгаА. А. Реформатского написана живо и интересно, Ф. П. Филин поддержал намерение автора существенно переработать *ряд глав учебника* и сказал, что в главе «Лексикология» переработке прежде всего следовало бы подвергнуть параграфы об основном словарном фонде и словарном составе языка, содержащие интересные примеры, но *посвященные* такой «проблеме», которая «вызывает только величайшую путаницу». Ф. П. Филин критиковал точку зрения автора по вопросу о соотношении слова и понятия, согласно которой местоимения и междометия понятий не выражают, а морфемы — выражают, и в связи с этим указал также на нечеткое освещение в книге вопроса о *понятии и значении слова*, отметив, кроме того, несколько частных фактических ошибок.

К. А. Тимофеев, посвятивший свое выступление разбору главы «Грамматика», высказал несогласие с широко распространившейся за последние годы (принятой и в книге А. А. Реформатского) характеристикой грамматики как совокупности п р а в и л, определяющих применение и соединение слов. Лучше было бы, заметил он, говорить о закономерном использовании, функционировании элементов языка; лишь в том случае, если происходит сознательная нормализация их употребления, мы имеем дело с *правилами*. К. А. Тимофеев указал на следующую неудачную формулировку: «грамматику как таковую воспринимать нельзя,— она сама по себе не материальна...» (стр. 194), которая, будучи вырванной из контекста, может привести студентов к *неправильным* выводам. В целом положительно оценив главу, К. А. Тимофеев сделал много конкретных замечаний по отдельным ее параграфам. Так, по его мнению, недостаточно четко выражена в книге мысль о том, что грамматические формы всегда соотносительны; следовало бы особо оговорить, что исторические чередования в области *словообразования значительно более устойчивы, чем в словоизменении; вопреки* утверждению автора, служебные слова далеко не всегда освобождают знаменательные от «выражения грамматики»; в отдельных случаях в книге недостаточно разграничены *понятия* грамматической формы и грамматической категории; приводимый автором пример: *Кентавр выпил круглый квадрат* — не опровергает того факта, что модальность является неотъемлемым признаком всякого предложения.

Представленное в учебнике понимание частей речи как грамматических, а не лексико-грамматических разрядов слов, сказал К. А. Тимофеев, *хочется всячески* поддержать, хотя соответствующий параграф, как и многие другие в этой главе, изложен слишком сжато. Что же касается понятия синтагмы, положенного в основу раздела о синтаксисе, то оно получает у А. А. Реформатского настолько широкий смысл, что фактически приводит к недостаточному учету специфики языковых элементов и отношений между ними. Это отразилось, например, на анализе сложных слов и односоставных предложений. Очень громоздкими оказались у автора определения таких понятий, как *согласование, управление и примыкание*.

А. В. Десницкая, согласившись с общей положительной оценкой книги, данной в выступлении Ф. П. Филина, отметила, что достоинством учебника является его индивидуальность, свежесть в подаче материала. В то же время она привела много примеров фактических ошибок и неудачных формулировок в двух последних главах (гл. VI—«Классификация языков» и гл. VII —«Происхождение языка. Образование и историческое развитие языков»), а также сделала несколько замечаний методического характера. Как и другие выступавшие, А. В. Десницкая указала на трудность изложения отдельных параграфов учебника.

Ряд критических замечаний по различным разделам книги высказали и другие участники обсуждения: Л. В. Малаховский (говоривший об освещении в учебнике вопросов семасиологии), в частности, подверг критике такую формулировку автора: «...вопрос о полисемии — это прежде всего вопрос номинации, т. е. перемены вещей при тождестве слова» (стр. 49) — и обратил внимание на недостатки редактирования книги; Г. А. Меновщиков указал на ошибочность *применения к эскимосскому* и алеутскому языкам термина «американоидные»; А. М. Щербак, между прочим, отметил некоторые упущения в главе «Письмо», где ничего не говорится о согдийском письме, о рунах, о криптографии; О. П. Суник критиковал используемую в учебнике «фонематическую транскрипцию» и предложил провести обсуждение переработанного текста книги. Интересным было выступление Л. С. Ковтун, которая подробно разобрала главу «Лексикология». Она возражала против принятой автором точки зрения на омонимы и на соотношение между словом, его значением и понятием.

В. А. Аврорин отметил, что обсуждение учебника А. А. Реформатского прошло в обстановке свободного обмена мнениями. Высказанные замечания, несомненно, помогут автору устранить некоторые недостатки книги, которая в целом, как отмечали все выступавшие, производит благоприятное впечатление. Одним из общих недостатков учебника, по мнению В. А. Аврорина, является неравномерная разработка отдельных

глав: тщательно разработаны вопросы лексикологии и фонетики, менее подробно — грамматика и особенно раздел о происхождении и развитии языка. Недостаток другого рода представляют собой наблюдающиеся в учебнике внутренние противоречия, например «противоречие между материальным и чисто функциональным пониманием фонемы». В. А. Аврорин высказал также некоторые замечания по поводу принятого в книге взгляда на грамматические категории, присоединился к критике К. А. Тимофеевым раздела о синтагме и подчеркнул неправомерность понятия «родовые языки».

В заключительном слове А. А. Реформатский, ответив на ряд сделанных замечаний и указав на свое несогласие с фонологической и фонетической концепцией Л. В. Щербы, поблагодарил участников обсуждения за дружескую критику и отметил, что она во многом поможет ему в дальнейшей работе над книгой.

В. П. Григорьев

СОДЕРЖАНИЕ

В. Г. Орлова (Москва). Типы употребления аффрикат как различительный признак русских народных говоров 3

А. М. Щербак (Ленинград). Способы выражения грамматических значений в тюркских языках 18

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. Микуш (Любляна). Обсуждение вопросов структурализма и синтагматическая теория 27

М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград). Несколько замечаний о структурализме 35

К. А. Левковская (Москва). О принципах структурно-семантического анализа языковых единиц (На материале немецкого языка) 41

Г. П. Щедровицкий (Москва). «Языковое мышление» и его анализ 56

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. Р. Зиндер (Ленинград). О звуковых изменениях 69

Ст. Стойков (София). Социальные диалекты (На материале болгарского языка) 78

Н. Ю. Шведова (Москва). Междометия как грамматически значимый элемент предложения в русской разговорной речи 85

В. Махек (Брно). Славянская клеть и ее название 96

ОПЫТЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Т. Н. Молошная, В. А. Пуртo, И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг (Москва). Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода 107

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О. С. Ахманова (Москва). *А. А. Реформатский*. Введение в языкознание 114

А. М. Ицкоз, Г. Н. Эйхбаум (Ленинград) и Н. П. Фомина (Псков). *В. Г. Адмони*. Введение в синтаксис современного немецкого языка . . . 119

Н. А. Слюсарева (Москва). *Ch. F. Hockett*. A manual of phonology 126

Л. С. Пейсиков (Москва). Новые работы профессора М. Моина 132

Аннотации: *P. Guiraud*. La sémantique (Р. С. Гинзбург); *K. Nitsch*. Wybór pism polonistycznych (Н. Г. Левитская); *A. Dostál*. Vývoj dualu v slovanských jazycích, zvláště v polštině (М. А. Михайлов); *Zs. Telegdi*. Beiträge zur historischen Grammatik des Neupersischen. Über die Partikelkomposition im Neupersischen (Н. Д. Гарипова) 136

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ И КОНСУЛЬТАЦИИ

М. А. Соколова (Ленинград). Письмо в редакцию 141

И. Д. Серебряков (Москва). Письмо в редакцию 141

По поводу одного обзора 142

В. В. Пассек (Москва). Некоторые вопросы конверсии 144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Я. В. Мацюсович (Ленинград). Польские языковеды к юбилею Мицкевича 149

П. Кирай (Будапешт). Славянское языкознание в Венгрии за последние десять лет 154

Д. Е. Михальчи (Москва). Языкознание в академиях союзных республик и в филиалах Академии наук СССР 161

Т. С. Коготкова, В. П. Григорьев (Москва). В Институте языкознания АН СССР 169

Sommaire

Articles: V. G. Orlova (Moscou). Types d'application d'affricates en tant qu'une marque distinctive des parlers populaires russes; A. M. Tscherbak (Leningrad). Les moyens d'exprimer les valeurs grammaticales en langues turcques; **Discussions**: F. Mikus (Ljubljana). La discussion sur le structuralisme et la théorie syntagmatique; M. I. Stebline-Kamenski (Leningrad). Quelques remarques sur le structuralisme; K. A. Levkovskaïa (Moscou). A propos des principes d'analyse sémantique et structurale des unités linguistiques (fondé sur les faits de la langue allemande); G. P. Stchedrovitski (Moscou). La rélation de la pensée à la langue et son analyse; **Communications et notices**: L. R. Zinder (Leningrad). A propos des changements phonétiques; S. Stoïkov (Sofia). Les dialectes sociaux (fondé sur les faits de la langue bulgare); N. J. Chvedova (Moscou). Les interjections comme élements de signification grammaticale de la proposition en russe parlé; V. Machek (Brno). Klet' et son nom en slave; **Essais de traduction mécanique**: T. N. Molochnaya, V. A. Pourto, I. I. Revsine (Moscou). Quelques problèmes linguistiques de la traduction mécanique; **Critique et bibliographie; Comptes-rendus; Lettres à la rédaction et consultations; Vie scientifique**: J. V. Maciusowicz (Leningrad). Les travaux des linguistes polonais pour le jubilée de Mickewicz; P. Király (Budapest). Dix ans de linguistique slave en Hongrie; D. E. Mikhaltchi (Moscou). Linguistique aux Académies des républiques fédérées et aux filiales de l'Académie des Sciences de l'URSS; T. S. Kogotkova, V. P. Grigoriyev (Moscou). A l'institut de la linguistique.

Contents

Articles: V. G. Orlova (Moscow). The different ways of using affricates: as a distinguishing mark of Russian dialects; A. M. Shcherbak (Leningrad). The means of expressing grammatical meaning in the Turc languages; **Discussions:** F. Mikus (Ljubljana). The discussion of structuralism and the syntagmatic theory; M. I. Steblin-Kamensky (Leningrad). Notes on structuralism; K. A. Levkovskaya (Moscow). Concerning the principles of structural-semantic analysis; G. P. Shchedrovitsky (Moscow). The relation of thought to language and its analysis; **Notes and queries:** L. R. Zinder (Leningrad). Concerning phonetic changes; S. Stoykov (Sofia). Social dialects (with facts from the Bulgarian); N. J. Shvedova (Moscow). Interjections as grammatically significant elements of the sentence in colloqual Russian; V. Machek (Brno). Klet' and its name in Slavonic; **Experiments in machine translation:** T. N. Moloshnaya, V. A. Poorto, I. I. Revsin, V. J. Rosenzweig (Moscow). Some linguistic problems of machine translation; **Reviews; Abstracts; Letters to the editors and consultations; Reports on scientific activities:** J. V. Maciusowicz (Leningrad). The work of Polish linguists for Mickewicz's jubilee; P. Király (Budapest). Ten years of Slavonic linguistics in Hungary; D. E. Mikhalchi (Moscow). Linguistics in the Academies of the Union republics and branches of the Academy of Sciences of the USSR; T. S. Kogotkova, V. P. Grigoryev (Moscow). At the institute of linguistics.

Т — 00088. Подписано к печати 13/II 1957 г. Формат бум. $70 \times 108^1/_{16}$ Бум. л. $5^1/_2$. Печ. л. 15,07 + 1 вклейка. Уч.-изд. листов 17,2. Заказ 1028. Тираж 10150

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва Шубинский пер., 10